

Министерство образования Российской Федерации  
Российский государственный педагогический университет  
имени А.И.Герцена  
Поморский государственный университет имени М.В.Ломоносова

А.А. ХУДЯКОВ

## **СЕМИОЗИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

Монография

Архангельск  
Поморский государственный университет  
имени М.В.Ломоносова  
2000

**УДК 43+415**  
**ББК 81.432.1 - 2 + 81.02**  
**X 982**

**Рецензенты:** доктор филологических наук, профессор кафедры английского языка РГПУ имени А.И. Герцена  
**Н.А Кобрина;**  
доктор филологических наук, профессор кафедры французского языка РГПУ имени А.И. Герцена  
**Л.М. Скредина;**  
доктор филологических наук, профессор кафедры германской филологии РГПУ имени А.И. Герцена  
**Л.В. Шишкова**

Печатается по решению редакционно-издательского совета Поморского государственного университета имени М.В. Ломоносова

**Худяков А.А.**

**X 982** Семиозис простого предложения: Монография. – Архангельск: Поморский государственный университет, 2000. – 272 с.  
**ISBN 5-88086-236-4**

Монография посвящена рассмотрению процесса семиозиса простого предложения как языкового знака и формы речевого высказывания. Исследование осуществляется с когнитивно-прагматических позиций с применением методики векторного анализа и схематической репрезентации акта семиозиса. Иллюстративный материал представлен примерами из английского языка.

Монография предназначена для лингвистов, аспирантов и студентов старших курсов языковых вузов и факультетов. Материалы монографии могут быть использованы для чтения курсов общего языкознания, теоретической грамматики, лексикологии и спецкурсов по когнитивной лингвистике и прагмалингвистике.

**УДК 43+415**

**ББК 81.432.1-2 + 81.02**

**ISBN 5-88086-236-4**

© Худяков А.А., 2000

© Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2000

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая монография представляет собой исследование простого предложения как языкового знака и речевого высказывания с точки зрения мыслительных процессов, ведущих к его построению. Автор делает попытку вскрыть и описать с точки зрения и в терминах когнитивного и прагматического подходов ментальные процессы, задействованные при конструировании предложения. Таким образом, традиционный объект лингвистики – предложение – рассматривается под углом зрения его генерирования в ходе речемыслительного процесса, который в таком случае определяется как процесс семиозиса сентенционального знака. Как показано в работе, семиозис предполагает формирование предложения как в пространстве мысли и в пространстве языка (первичный семиозис), так и его адаптацию к осуществлению коммуникативно-прагматических нужд человека при переводе в план речевого высказывания (вторичный семиозис). Соответственно строится и структура монографии.

Книга состоит из трёх глав. Первая глава представляет собой аналитический реферат трактовок предложения в различных лингвистических школах начиная с появления первых грамматик национальных языков в Европе в XVI веке и до наших дней. При этом акцент делается на обзор концепций предложения в лингвистических парадигмах XX столетия, вызывающих наибольший теоретический интерес. Не будучи в состоянии осветить все синтаксические традиции во всех европейских школах, автор счёл возможным ограничить их круг англистикой и русистикой. Основная цель, которую ставил перед собой автор при написании первой главы, – показать множественность и вариативность концепций предложения в современной лингвистике, выявить их слабые стороны и обосновать правомерность обращения к феномену предложения уже с новых теоретических позиций. Основным недостатком существующих концепций предложения полагается его статическая интерпретация, не позволяющая вскрыть динамики его мыслительного конструирования. На преодоление этого недостатка и нацелены вторая и третья главы книги.

Вторая глава посвящена семиозису предложения как языкового знака. Структурно глава разбивается на две основные части. В первой части автор обосновывает правомерность последовательно менталистского взгляда на язык и определяет основной терминологический инструментарий, необходимый для последующего изложения концепций семиозиса. Вторая часть второй главы эксплицирует понятие семиозиса, предлагает общую теорию семиозиса, как она видится автору, и описывает семиозис предложения как языкового знака. При этом подвергаются анализу релевантные для процесса семиозиса факторы пространства и времени, а при графическом представлении семиозиса эксплуатируются возможности аналитической геометрии. Глава заканчивается подробным анализом семантического компонента сентенциального знака как такового, который непосредственно обеспечивает формирование речевого смысла предложения-высказывания.

Третья глава открывается подробным рассмотрением феномена смысла и его первичного носителя – высказывания. Так как смысл полагается принадлежащим сфере речевой деятельности, далее рассматриваются вопросы прагматики высказывания и теории речевых актов, определяется соотношение речевого акта и речевого смысла, иллокутивной силы высказывания и смысла. Завершается глава применением теории шифтирования к порождению узуального смысла высказывания с выделением групп смыслопорождающих операторов на материале современного английского языка.

Заключение по работе содержит те основные выводы, к которым позволяет прийти материал книги.

Монография рассчитана на специалистов в области теоретической и прикладной лингвистики, преподавателей и аспирантов языковых вузов и факультетов, а также студентов-филологов старших курсов. Её материалы могут быть использованы в курсах по общему языкознанию и истории лингвистических учений, теоретической грамматики и лексикологии, а также в спецкурсах по семиологии, когнитивной лингвистике и прагмалингвистике, при написании дипломных и диссертационных работ лингвистического плана.

Автор выражает искреннюю признательность и благодарность рецензентам монографии доктору филологических наук, профессо-

ру Н.А. Кобриной, доктору филологических наук, профессору Л.М. Скрединой и доктору филологических наук, профессору Л.В. Шишковой за советы и замечания, высказанные ими при ознакомлении с рукописью книги, а также кандидату филологических наук, доценту Т.А. Клепиковой, оказавшей неоценимую помощь при подготовке рукописи к печати.

## ГЛАВА 1

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Настоящая глава представляет собой краткий очерк истории трактовки предложения в различных лингвистических школах, который призван служить двуединой цели: показать, какой вклад каждое из направлений лингвистической мысли внесло в интерпретацию одного из центральных и сложнейших феноменов – предложения, и, с другой стороны, выяснить, почему ни одно из них не предложило удовлетворительной во всех отношениях трактовки данного объекта и почему, следовательно, является правомерным наше обращение к нему в данной работе.

В качестве исходного примем предложенное Л.С. Бархударовым в работе 1976 года условное деление синтаксической теории на три этапа: синтаксис традиционный, структурный и порождающий (генеративный) [Бархударов 1976 б]. В последующем набрал силу и в значительной степени отошел в прошлое, реализовав свои методологические установки, семантический синтаксис. Именно эти четыре ступени развития синтаксической теории мы подвергнем анализу в качестве предтеч современной “постгенеративной” когнитивно-прагматической парадигмы в языкознании.

#### 1.1. Теория предложения в английских грамматиках доструктурного периода (XVI-XX вв.)

Синтаксические теории, условно обозначаемые как “традиционные”, определяли лицо грамматической науки в течение нескольких сотен лет (со времени возникновения в Европе первых описаний национальных языков вплоть до тридцатых годов двадцатого столетия). Так, принято считать, что история английских грамматик берет начало в 1585 году, со времени появления работы Уильяма Буллокара “Bref Grammar for English”, во многом следовавшей традициям грамматик латинского языка, но нацеленной на

описание современного автору английского. Период с 1585 года и до второй половины XVIII века был, как справедливо отмечают Л.Л. Иофик, Л.П. Чахоян и А.Г. Поспелова [Иофик, Чахоян, Поспелова 1981], периодом донормативных грамматик, характеризовавшихся сильным влиянием латинской грамматической традиции, недифференцированностью логических и грамматических категорий, рассмотрением предложения нередко в рамках описания правил пунктуации и в разделах, посвященных риторике. Со второй половины XVIII века превалирующий стиль английских грамматик можно определить как прескриптивный, то есть не только описывающий систему языка, но и предписывающий нормативное употребление форм, считающихся правильными. Прескриптивные грамматики сыграли большую позитивную роль в кодификации и систематизации английского языка, создании единой литературной нормы. Фиксация узуса в сфере орфографии, орфоэпии, морфологии и синтаксиса имела огромное значение и была чрезвычайно актуальной задачей для формирования английского языка, так как языковое “наследие” французско-английского периода характеризовалось излишней вариативностью на всех уровнях языковой системы. Как отмечает Т.А. Расторгуева [Расторгуева 1983: 156], в течение длительного времени после нормандского завоевания в 1066 году на территории Англии существовали два письменных языка, причем оба иностранных для населения страны – латынь и французский. Разрыв с французско-английской письменной традицией, произошедший после 1066 года, привел не просто к изменению написания, а к изрядной путанице в области орфографии. При замене некоторых ирландских или древне-английских знаков французскими твердой нормы не существовало [Бруннер 1955: 148-149]. “Англо-нормандские писцы, внося в написание английских слов навыки своей орфографии, часто путали буквы, особенно когда они встречались с незнакомыми им древнеанглийскими буквами. ... Поэтому написания этих букв иногда так непонятны, что приходится угадывать, что имели в виду писцы” [Бруннер 1955: 149]. Как следствие одно и то же слово еще в XVI веке могло иметь несколько вариантов, например, “книга” писалась booke, boke, boc, bocke, bock, book [Аракин 1955: 41].

Вариативными были также правила чтения, нормы морфологии и синтаксиса. Появление на этом фоне прескриптивных грам-

матик таких авторов, как Р. Лоут, Л. Муррей, Дж. Гринвуд и других, явилось важнейшим фактором стабилизации языковой нормы. Считается, что лучшими и, скорее всего, последними из ряда прескриптивных грамматик были работы Мэйсона (1858) и Бейна (1863) [Июфик, Чахоян, Поспелова 1981: 18].

Последняя из названных [Bain 1904] содержит не только богатый фактологический материал по системе языка, включая лексику и пунктуацию, но и некоторые весьма, впрочем, немногочисленные попытки теоретизирования относительно этого материала. Так, например, делается попытка разграничить слово, словосочетание и предложение на основе критерия значения [Bain 1904: 8], предлагается ввести термин (с многочисленными отсылками к историческим источникам языковых явлений и межъязыковым параллелям) ‘Universal tense’ для видовременной формы Present Indefinite, обозначающей вневременные истины [Bain 1904: 185] и другие. Не будет поэтому преувеличением сказать, что грамматика А. Бейна вплотную подошла к уровню классических научных английских грамматик, появившихся на рубеже XIX и XX веков.

Некий “маргинальный” тип грамматик знаменует собой редко упоминаемая в трудах по истории английских грамматик работа “Элементы английской грамматики” А.С. Уэста [West 1910], впервые опубликованная в 1893 году. Будучи в целом грамматикой описательного типа, она отличается гораздо более высоким уровнем теоретического осмысления материала, чем, например, упомянутая выше грамматика А. Бейна; теоретизирование осуществляется при этом за счет исключения сведений из истории языка, что противоречило принятой в то время традиции подачи грамматического материала. Исторические сведения приводятся лишь там, где это абсолютно необходимо для понимания современного автору грамматического строя. Теория предложения излагается непоследовательно и в значительной мере бессистемно. Впервые понятие предложения вводится в главе “Этимология”, посвященной классификации слов, их деривации и изменению; при этом их происхождение и историческое развитие, то есть этимология в современном смысле слова, даже не упоминаются. Уэст группирует слова в классы в соответствии с их разнообразными функциями в предложении, выделяя восемь частей речи [West 1910: 63] и предвосхищая таким образом методологический примат синтаксиса над мор-

фологией, столь характерный для представителей структуралистских, генеративистских и семантико-синтаксических теорий XX века.

Последующая трактовка предложения осуществляется в разделе, посвященном союзам, где рассматриваются сочинительные и подчинительные союзы и соответствующие типы сложных предложений [West 1910: 192-197], а когда автор подходит к главе, название которой дает основание думать, что в ней-то и будет дан анализ собственно предложения (глава 22), то оказывается, что вся теория была уже в основном изложена в разделах по этимологии и союзам. Тем не менее в главе 22 мы находим сведения о коммуникативных типах предложения (каковых насчитывается четыре), о субъекте и предикате, трактуемых с логических позиций, о complemente как необходимом элементе заполнения глагольной валентности (эта терминология, разумеется, не употребляется), об эллиптических предложениях и др. [West 1910: 209-216]. Не являясь еще в полном смысле слова научным описанием языка, грамматика Уэста была востребована как хорошее пособие для учащихся и выдержала в период с 1893 по 1910 годы 12 изданий.

К числу грамматик в целом прескриптивного типа, но обнаруживающих и черты теоретических, можно отнести и работу Дж. Несфилда [Nesfield 1944], впервые вышедшую в 1898 году, неоднократно переиздававшуюся в различных редакциях и оказавшую заметное влияние на грамматические штудии XX века.

Первой же истинно научной английской грамматикой, в которой задача описания и таксономизации материала была подчинена задаче его теоретической интерпретации, был вышедший в двух томах труд Г. Суита “A New English Grammar, Logical and Historical”. Первый том впервые увидел свет в 1891 году [Sweet 1955], а второй – в 1898 году [Sweet 1958]. В предисловии к первому тому Суит пишет, что его задача – восполнить потребность в научной грамматике, которая основывалась бы на критическом обзоре новейших результатов лингвистических исследований в области английского языка и, в частности, не ограничиваться описанием частей речи, а уделить внимание таким основным грамматическим категориям, как слово, флексия, предложение и другие [Sweet 1955: 5]. Особо показателен в этом отношении вводный раздел “Грамматика и язык”, где автор останавливается на важнейших методоло-

гических вопросах: определение грамматики, ее объекта, формы и значения, грамматических и логических категорий и тому подобное [Sweet 1955: 1-48]. Трактовка Суитом предложения содержит ряд инноваций. Так, он разграничивает ‘общее’ (‘general’) предложение и специальное (‘special’), подразумевая под последним фразеологизированные клише типа *How do you do? I cannot help it* и подобные; полное предложение (‘full’) и пустое (‘empty’), трактуя второй вид как структуру, не содержащую семантически важной информации (в приводимом примере *is it me (that) you want?* первая часть – *is it me* – является, по мнению Суита, пустым предложением, так как логически является излишней и поэтому может быть легко опущена, будучи замененной объектом после глагола “полного” предложения: *do you want me?*). Говорится также об одночленных предложениях, о синтагматическом членении предложения с помощью интонации, о взаимосвязях между предложениями и частями сложного предложения и т.д. [Sweet 1955: 155-161].

Можно сказать, что грамматика Суита положила начало эре научных английских грамматик XX века, ориентированных на объяснение описываемых явлений. К такого рода трудам можно отнести грамматики Анионза [Onions 1965] (первое издание – 1904 год), Крейзинги [Kruisinga 1932] (первое издание – 1909 год), Керма [Curme 1966] (первое издание – 1931 год), Есперсена [Jespersen 1933] и другие. Так, в сравнительно небольшом по объему труде Анионза по английскому синтаксису, пожалуй, впервые вводятся термины ‘паратаксис’ и ‘гипотаксис’ вместо привычно употреблявшихся до тех пор латинских терминов ‘координация’ и ‘субординация’ при описании соответственно сложносочиненного и сложноподчиненного предложений [Onions 1965: 153]. Особо стоит отметить впервые вышедшую в 1924 году “Философию грамматики” О. Есперсена – работу, в которой автор рассматривает вопросы не только теории английского языка, но и многие общезыковые проблемы [Jespersen 1925]. Что касается предложения, то наиболее эксплицитно его понимание Есперсеном изложено в работе 1933 года: предложение есть (относительно) законченная и независимая единица коммуникации [Jespersen 1933: 106]. В отличие от Есперсена Э. Крейзинга воздерживается от определения предложения, сознавая всю сложность этого явления и считая, что никому еще не удавалось дать удовлетворительное его определение и вряд ли уда-

стся [Kruisinga 1932]. К числу наиболее известных английских грамматик первой трети XX века следует отнести и работы Х. Пoutsма, в которых автор обсуждает члены предложения и типы простого предложения [Poutsma 1928], а также подробно описывает английское сложное предложение [Poutsma 1929].

В целом, следует отметить, что к концу первой трети XX столетия английской грамматической традиции удалось сделать ряд весьма интересных наблюдений над предложением, накопить большой опыт по описанию его природы и продемонстрировать способность к эволюции в соответствии с меняющимися взглядами на язык и общественными запросами. Вместе с тем, как и для всей лингвистики дoструктурного периода, для английской синтаксической теории того времени было характерно отсутствие строгих процедур анализа предложения, размытость критериев его вычленения и описания, отсутствие среди исследователей некоего минимума согласованных позиций, с которых следовало подходить к выявлению его свойств.

## **1.2. Теория предложения в русской грамматической традиции дoструктурного периода (XVIII-XX вв.)**

Разработку теории предложения в русской “традиционной” лингвистике также можно рассматривать как прошедшую ряд стадий. По мнению В.В. Виноградова, “понятие предложения в русской грамматике XVIII века и начала XIX века оставалось собственно за пределами описания языковой системы” [Виноградов 1958: 116], что позволило Виноградову охарактеризовать принципы изучения предложения в тот период как множественные и несогласованные [Виноградов 1958]. Анализируя грамматики М.В. Ломоносова и А.А. Барсова, Виноградов пишет: “... уже у Ломоносова логическая точка зрения на предложение сочетается со структурно-грамматической. Правда, грамматическая характеристика предложения является как бы отраженной и дополнительной. Но Ломоносов рассматривает предложение как словесное выражение суждения...” [Виноградов 1958: 117]. “В “обстоятельной” грамматике А.А. Барсова логический и структурно-грамматический анализы предложения сочетаются и – вместе с тем – разграничиваются

гораздо более четко, чем у Ломоносова ...” [Виноградов 1958: 118]. И резюме: “Таким образом, у одного и того же грамматиста переплетаются логические, семантико-синтаксические и морфологические подходы к предложению. Учение о предложении как составной части русского синтаксиса развивается комплексно и в значительной степени “неграмматично” [Виноградов 1958: 118].

Начало XIX века знаменуется появлением ряда грамматических трудов (И. Рижского, А. Никольского, Н. Язвицкого, Л. Якоба и других), закладывающих основы логического подхода к синтаксису, позднее получившего законченное оформление в учении Ф.И. Буслаева. Предложение определяется Буслаевым как суждение, выраженное словами и состоящее из подлежащего и сказуемого [Буслаев 1959: 269], при этом обосновывается тезис об обязательном наличии сказуемого в предложении [Буслаев 1959: 258], а сложное предложение трактуется соответственно как языковое выражение сочетания суждений [Буслаев 1959: 263]. Интересно, однако, заметить, что даже в таком гипертрофированно логическом учении как буслаевское содержится некая уступка творческому началу в языке: “Во всей точности выражения логического отношения, язык, сверх того, каждую мысль передает наглядно, облекая ее в звуки для того, чтобы одно лицо могло сообщить ее другому в разговоре”. И далее: “Язык есть выражение мысли с помощью членораздельных звуков; потому, сверх законов мысли, определяемых в логике, подчиняется он еще законам самого выражения, то есть законам сочетания членораздельных звуков” [Буслаев 1959: 263]. К этому творческому началу Буслаев относится весьма неодобрительно, считая его чертой языка на ранней ступени его развития; по мере эволюционирования язык приобретает все большую логическую строгость и непротиворечивость: “С течением времени язык более и более теряет свои первоначальные свойства, состоящие в художественном и разговорном характере и отличающие его от свойств логического и отвлеченного мышления, а, вследствие того, становится собранием условно принятых знаков, выражающих в своем сочетании только понятия и суждения” [Буслаев 1959: 265-266]. Действуя по принципу “если факты языка не укладываются в прокрустово ложе предуготовленных для них априорных логических схем, то тем хуже для фактов языка”, Буслаев все предложения, в том числе и безличные, рассматривает как двусоставные,

центром предложения мыслит сказуемое, выраженное обязательно глаголом, и к этому типу пытается свести все другие типы предложений, характеризуя их как восходящие к глагольным и получившиеся в результате сокращения или опущения глагола. Думается, не будет ошибочным сказать, что в целом Ф.И. Буслаев неинтересен, так как неоригинален. Его лингвистическое учение – венец логицизма русского языкознания XIX века, представленного такими именами, как Н.И. Греч, А.Х. Востоков, К.С. Аксаков и И.И. Давыдов. Четыре издания буслаевской грамматики, вышедшие с 1858 по 1869 годы, подвели черту под безоговорочным господством логико-центрического взгляда на язык в русской лингвистике и положили начало интенсивной работе по определению языковых свойств предложения и его типов, что особенно ярко проявляется в трудах Н.П. Некрасова и В. Сланского. Впрочем, этим авторам также не удалось в полной мере преодолеть грамматический логицизм и стать на собственно лингвистические позиции. В. Сланский ограничился постановкой и разъяснением общего вопроса о соотношении логических и грамматических элементов в предложении. Исходным пунктом грамматического анализа предложения продолжало быть объяснение его логического содержания и логического построения. Общий путь, указываемый В. Сланским для создания новой синтаксической теории, был далек от всё более укреплявшегося тогда принципа историзма в языкознании [Виноградов 1958: 329].

Первым, кому вполне удалось отказаться от логической парадигмы в анализе языковой системы и стать на путь подлинно лингвистического исследования, является А.А. Потебня. Именно Потебня со всей определенностью заявляет: “Слово не одним присутствием звуковой формы, но всем своим содержанием отлично от понятия и не может быть его эквивалентом или выражением уже потому, что в ходе развития мысли предшествует понятию” [Потебня 1958: 68]. “Грамматическое предложение вовсе не тождественно и не параллельно с логическим суждением” [Потебня 1958: 68]. Наконец: “Логическая грамматика не может постигнуть мысли, составляющей основу современного языкознания и добытой наблюдением, именно, что языки различны между собой не одной звуковой формой, но всем строем мысли, выразившимся в них, и всем своим влиянием на последующее развитие народов. Индивидуальные различия языков не могут быть понятны логической

грамматике, потому что логические категории, навязываемые ею языку, народных различий не имеют” [Потебня 1958: 69]. Очевидно, что понятие у Потебни выражает то же, что и “строй мысли”, т.е. ментальный субстрат высказывания.

В области синтаксиса Потебня воздерживается от определения предложения, ограничиваясь предупреждением о том, что, отвергнув логический подход к предложению, было бы в равной степени ошибочным впасть в другую крайность, рассматривая предложение как явление чисто психологическое [Потебня 1958: 83]. Таким образом, потебнианская синтаксическая концепция, отвергая умозрительные логические и синтаксические теории, закладывала основы исторического взгляда на природу предложения, звала к изучению сущности его грамматических категорий в каждый конкретный момент развития языка и считала приоритетным анализ языка и мышления в их взаимодействии.

Одной из крупнейших фигур в русской лингвистике конца XIX века был Ф.Ф. Фортунатов. Чрезвычайно много и плодотворно работавший в области общего языкознания, индоевропеистики и теории русского языка, в области синтаксиса Фортунатов внёс значительный вклад в развитие теории словосочетания [Фортунатов 1956]. В области же учения о предложении, по справедливому замечанию М.Н. Петерсена, он был мало оригинален [Петерсен 1956: 14].

Этого никак нельзя отнести к другому видному представителю российской лингвистической мысли конца XIX – начала XX веков А.А. Шахматову, который признал именно предложение центральной, всё объединяющей категорией коммуникативной речи, а отношения между словосочетаниями и предложениями представлял в диаметрально противоположном виде тому, чему учил Ф.Ф. Фортунатов: теория словосочетания есть лишь раздел основной области синтаксиса – учения о предложении [см. мнение Виноградова 1958: 391]. Склоняясь к психологической интерпретации сущности предложения и, шире, языка, Шахматов писал: “Предложение – это единица речи, воспринимаемая говорящим и слушающим как грамматическое целое и служащая для словесного выражения единицы мышления. Психологической основой нашего мышления является тот запас представлений, который дал наш предшествующий опыт и который увеличивается текущими нашими переживаниями; психологической же основой предложения является соче-

тание этих представлений в том особом акте мышления, который имеет целью сообщение другим людям состоявшегося в мышлении сочетания представлений; этот акт мы назовем коммуникацией” [Шахматов 1941: 19]. И ниже еще одно интересное и симптоматичное для синтаксической концепции Шахматова пояснение: “Субъект, предикат, объект и так далее – это понятия психологические; подлежащее, сказуемое, дополнение – понятия грамматические. Термин коммуникация предпочитаю термину пропозиция, ибо пропозиция – термин логики, не покрывающий собою вообще всех видов коммуникаций и соответствующий только тому их виду, который содержит утверждение или отрицание чего-нибудь (суждения)” [Шахматов 1941].

В.В. Виноградов следующим образом оценил синтаксические воззрения Шахматова: “ ‘Синтаксис русского языка’ А.А. Шахматова является до сих пор самым полным и самым глубоким описанием типов простого предложения в русском языке” [Виноградов 1950: 75]. Однако ниже он добавляет: “ ‘Синтаксис русского языка’ А.А.Шахматова не разрешил и не мог разрешить проблемы предложения. В нем нельзя найти ни законченной и стройной теории предложения, хотя бы только применительно к современному русскому языку, ни последовательного разграничения основных видов и типов предложения в современном русском языке. Шахматовское учение о двусоставных и односоставных предложениях не свободно от многих неясностей и противоречий. <...> Тем не менее значение синтаксических работ А.А. Шахматова в истории русского языкознания очень велико” [Виноградов 1950: 125].

В целом, русский синтаксис деструктурного периода, особенно в лице своих лучших представителей – А.А. Потебни и А.А. Шахматова, пытался (не всегда, впрочем, успешно) разграничить логическое суждение и предложение, рассмотреть предложение с собственно лингвистических позиций, создать его всестороннее и комплексное описание. Вместе с тем в связи с недостаточной разработанностью смежных разделов лингвистики, логики и психологии не всегда удавалось провести четкие разграничительные линии между различными аспектами рассмотрения предложения, что порой приводило к крену в чистый психологизм, к гипертрофированию стихии индивидуального речевого высказывания и недооценке роли общих закономерностей структурирования

предложения. Попыткой преодоления этих и других методологических трудностей традиционной лингвистики стало создание Ф. де Соссюром в начале XX века структуральной теории языка, нацеленной на разработку объективных, формальных, унифицированных критериев подхода к языку [Соссюр 1977]\*. Но лишь с появлением в 1933 году работы Л. Блумфильда “Язык” структурализм стал на два с лишним десятка лет доминирующим направлением в мировом языкознании. Как пишет Р. Робинс, в момент расцвета этой теории казалось, что лингвистика наконец достигла некой стабильности и выработала фундаментальные принципы и понятия, пересмотр которых в будущем был маловероятен [Robins 1976: 274].

### 1.3. Теория предложения в структурной лингвистике

При попытке дать общую характеристику структурализму Т. Виноград прибегает к метафоре “лингвистика как химия”. Он пишет, что структуральный лингвистический анализ строился в соответствии с позитивистской философией, характерной для представителей естественных наук, которые придавали особое значение экспериментальной работе с целью установления жестких структурных особенностей исследуемого материала. Химик проводит эксперименты с целью определения набора молекул, из которых состоит сложное вещество, и далее анализирует молекулы как в свою очередь состоящие из более простых элементов. Выдающимся достижением химии стало определение ограниченного набора базовых элементов, различные комбинации которых представляют собой всё огромное разнообразие природных веществ. Язык, состоящий из предложений, составленных из слов, которые, в свою очередь, составлены из звуков, подлежал в структурализме подобного же рода анализу [Winograd 1983: 10-11].

Помимо других отличительных черт структурализм обладал двумя особо интересующими нас в контексте рассматриваемой проблематики характеристиками: а) центральной единицей лингвистического анализа впервые было объявлено предложение и б) интерпретировать предложение предлагалось в сугубо формальных

---

\* Подробную критику теории Соссюра см., в частности, [Слюсарева 1975].

терминах, а основными аналитическими процедурами его исследования становились опять-таки формальные трансформации разного рода (деление по непосредственно составляющим, субституция, элиминация и т.п.). Эта последняя черта определила и другое название рассматриваемого направления – дескриптивизм, так как в задачу исследования не входили вопросы порождения предложения, а главной целью полагалось описание его структурных свойств.

Здесь надлежит сделать одну существенную оговорку. Дело в том, что структурализм не представлял из себя монолитной лингвистической школы\*, а уже изначально воплощался по крайней мере в двух достаточно несхожих концептуальных парадигмах. Первую олицетворяли собой американская и копенгагенская школы, вторую – пражские лингвисты.\*\* В недрах первой из упомянутых со временем развилась теория С. Лэма, которую он назвал “стратификационной грамматикой” и которая, отрицая лингвистические взгляды Блумфильда, основывалась на учении Соссюра и копенгагенской глоссематики [Лэм 1977]. У Соссюра Лэм и его последователь Д. Локвуд заимствовали представление о языке как о системе значимостей, в которой ценность каждого отдельного элемента определяется его соотношениями с другими элементами. С глоссематикой стратификационную грамматику роднит прежде всего, как замечает Локвуд, признание автономности языковых

---

\* Заметим, что копенгагенцы, усвоив философию родоначальников метода – американцев, довели его до самых радикальных форм: “Пожалуй, наиболее последовательное (и тем самым, доведённое до предела) понимание структуры было выражено в “Пролегоменах к теории языка” Луи Ельмслева...” [Степанов 1995: 15]. Ср. также мнение Ю.М. Скребнева о том, что “развиваемое датской школой утверждение Ф. де Соссюра, что язык представляет собой систему чистых отношений, безразличную к манифестирующей ее материальной субстанции, делает принципы глоссематики неприемлемыми для целей конкретного исследования. Глоссематика, в сущности, занимается общей теорией знака, интерпретацией системы отношений внутри системы абстрактных лингвистических понятий, но не стремится к тому, чтобы стать экономной теорией описания языкового материала” [Скребнев 1985: 103] (см. также [Звегинцев 1960 а; Мельничук 1976]).

\*\* Следует отметить, что внутри каждой из этих школ также наблюдались некоторые различия в подходах к языковому материалу. Например, такой дескриптивист как Л. Блумфильд в конкретной исследовательской практике несколько отличается от такого дескриптивиста как Ч. Фриз [Fries 1952].

уровней [Lockwood 1972: 260]. Вместе с тем стратификационная лингвистика была отчасти генеративной теорией (о генеративизме см. ниже), что заставляет рассматривать ее как стоящую в стороне от “столбовой дороги” структурализма.

Типичной трактовкой предложения структуралистами-дескриптивистами, так сказать, “в чистом виде” является понимание его как независимой лингвистической формы, не включённой посредством какой-либо грамматической конструкции в какую-либо большую грамматическую форму [Блумфильд 1968]. Именно структуралистам данного направления адресует свой упрёк Р. Лонгакр, когда пишет, что самый большой недостаток анализа по непосредственно составляющим – это сегментация *ad hoc* отдельных предложений без попыток привести результаты такого анализа в систему и, таким образом, анализ по непосредственно составляющим не в состоянии дать связную картину грамматической структуры языка [Longacre 1970: 174]. Недостаток был в том, что исключался синтез, без которого невозможно понять сущность связей и отношений и потому невозможно описать устройство и механизмы структуры. К характеристике именно этого направления в структурализме приложимы слова П. Постала о том, что структурная, или дескриптивная, лингвистика всегда характеризовалась отсутствием интереса и враждебным настроением к универсальной грамматике. По его мнению, в некоторых своих крайних проявлениях дескриптивизм заходит так далеко, что отрицает её существование [Postal 1970: 113].

Гораздо более интересной, на наш взгляд, и давшей более плодотворные результаты является интерпретация предложения пражскими структуралистами, определявшими своё учение о языке не как просто структурное, а как функционально-структурное. Компонент “функциональный” не был, как мы постараемся показать ниже, пустым “довеском” к термину “структурализм”, а весьма существенным образом разворачивал движение научной мысли в ином направлении, нежели предписываемом ортодоксальными структуралистами типа Л. Блумфильда, Л. Ельмслева и др.

Так, Ф. Данеш считает, что самой характерной чертой пражских структуралистов, в отличие от других структуральных школ, является функциональный подход, который есть результат признания инструментального характера языка и проявляется в постоян-

ном интересе к проблемам значения, к лингвистике речи, к стилистике, к анализу текста [Daneš 1970: 133]. Комментируя то содержание, которое пражские лингвисты вкладывают в термин “функция”, Ф. Данеш считает нужным обратиться к дискуссиям, вызванным “Пролегоменами” Л. Ельмслева. Данеш показывает, что пражане и копенгагенцы в термин “функция” вкладывают прямо противоположный смысл: если датские лингвисты употребляют этот термин в логико-алгебраическом смысле, то чешские учёные понимают под “функцией” те задачи или цели, для выполнения которых служат язык или его компоненты [Daneš 1987: 4-5].

Один из наиболее видных функционалистов XX века С. Дик характеризует функциональное направление как такое, которое исходит из предположения, что языковые выражения не являются произвольными формальными объектами, а, напротив, их свойства чувствительны к прагматическим факторам человеческого вербального взаимодействия и определяются ими. Структура языка, как и вообще любого инструмента, полагается хотя бы частично объяснимой условиями, в которых он используется, и целями, для которых он предназначен. В функциональной парадигме синтаксис не считается автономным по отношению к семантике, но скорее рассматривается как средство для создания значимых выражений, а система языка в целом не может полагаться автономной от прагматики [Dik 1987: 82]. Целью функциональной грамматики С. Дик полагает развитие общей теории синтаксической и семантической организации естественных языков на основе функциональной перспективы в отношении природы естественного языка. Под функциональной перспективой понимается то, что язык прежде всего интерпретируется как инструмент коммуникативного вербального взаимодействия между говорящими и слушающими, и то, что семантико-синтаксическая организация языка считается подчинённой этой прагматической цели. При этом С. Дик формулирует следующие три требования функционально ориентированной теории: функциональная грамматика должна быть прагматически адекватной, т.е. она должна быть способна к интеграции в более широкую модель; она должна быть психологически адекватной, т.е. совместимой с реалистичными психологическими моделями языковой обработки; она должна быть типологически адекватной, т.е. способной объяснить различную семантико-синтаксическую органи-

зацию в терминах одинаковых принципов, правил, конвенций [Dik 1983: 121-122]. В отношении рассматриваемого объекта – предложения – представляется важным разграничение С. Диком трёх различных типов, или “слоёв”, функций: семантической функции (агенса, цель, реципиент, бенефициант и т.д.), синтаксической функции (субъект, объект и т.д.) и прагматической функции (топик, фокус и т.д.). Эти различные функции могут быть приписаны составляющим предикации на различных ступенях её развития, так как один и тот же конституент может быть охарактеризован комбинацией функций на трёх уровнях. Предполагается, что каждый слой функций вносит свой вклад в окончательное информационное содержание выражения, а также, благодаря способности приводить в действие правила выражения, в совместное определение формы, в которой будет реализована глубинная предикация [Dik 1982: 123].

Что касается пражцев, то их подход к предложению основывается на сосюрловской дихотомии язык/речь: имя “предложение” означает, с одной стороны, некую синтаксическую форму, т.е. абстрактный образец, который представляет одну из нескольких формальных грамматических единиц данной лингвистической системы, и, с другой стороны, конкретные высказывания, которые являются реализациями предложений-образцов в коммуникативном акте. В отличие от абстрактной модели предложения высказывание относится к некоторому кусочку реальности, к определенной актуализации и является органичной составной частью текста. Разумеется, эта дистинкция применима также к словам как единицам лексической системы, с одной стороны, и как к членам особого высказывания – с другой. Но было бы ошибкой думать, что высказывание и дискурс полностью относятся лишь к сфере речи, что разница между высказыванием и лежащей в его основе грамматической структурой предложения носит лишь индивидуальный и случайный характер и, таким образом, не допускает никакого научного описания и интерпретации. Напротив, утверждает Данеш, даже высказывание как таковое обнаруживает некие социальные, т.е. неиндивидуальные и неслучайные свойства. Речь контролируется некими нормами как лингвистической, так и нелингвистической природы [Daneš 1970: 133-134].

В поддержку этого мнения Данеша высказывается и П. Луеллдорф, который, указывая, что возникновение пражского структура-

лизма было реакцией на атомизм младограмматиков XIX века, вслед за П. Сталлом говорит о следующих трёх его основных чертах:

- а) акцент делается преимущественно на семантико-прагматические функции единиц различных уровней языковой системы;
- б) считается, что внутри отдельного уровня элементарные единицы функционируют как части сложных, занимая определённое положение в их структуре;
- в) функция (прежде всего в коммуникации), для выполнения которой язык приспособлен, полагается подверженной вариативности и, таким образом, соответственно меняющейся цели использования языка изменяется и ракурс его рассмотрения.

Пражцы, делает вывод Луелсдорф, сформулировали комплексный подход к изучению языковой системы, не теряя из поля зрения вопросы использования языка, его функции в коммуникации (и в других отношениях), т.е. моделей дискурса, психологической реальности языка (интериоризованные модели, используемые отдельными говорящими) и взаимоотношения языка и мышления [Luelsdorf 1994: 1-4].

Неудивительно поэтому, что структурализм в его функциональной разновидности надолго пережил дескриптивный структурализм американского образца и не ушёл далеко на задний план подобно последнему при появлении резко альтернативного ему течения в лингвистике – трансформационно-порождающей грамматики.

#### **1.4. Теория предложения в трансформационно-порождающей грамматике**

Генеративная теория, заявившая о себе во весь голос после публикации Н. Хомским в 1957 году работы “Синтаксические структуры” [Хомский 1962], подобно структуральным теориям в центр исследования ставила предложение, однако трактовала его принципиально иначе, чем дескриптивизм. Реальные предложения языка объявлялись поверхностными структурами, произведёнными от соответствующих глубинных структур посредством определённых трансформационных правил. Всей лингвистической теории,

таким образом, как полагал Хомский, был задан некий динамизм, резко контрастировавший со статичной философией дескриптивизма. Философской основой нового учения была объявлена картезианская рационалистическая концепция, а его суть виделась Хомскому в последовательном ментализме.

Подходящей метафорой для трансформационно-порождающей грамматики является, по мнению Т. Винограда, выражение “лингвистика как математика”, поскольку используемое Хомским понятие языковой компетенции очень напоминает доказательство в математике. Математику можно трактовать как своего рода “язык” формул, а задачу математика – как объяснение, какие комбинации символов представляют собой истинные суждения. При этом математика не интересует, как люди “изобретают” такие суждения, а также что происходит в их сознании, когда они читают или доказывают их. Целью математики является установление набора правил и формальных механизмов, которые однозначно определяют истинность того или иного суждения. Трансформационно-порождающая грамматика рассматривает язык как математический объект и строит теории, весьма схожие с набором аксиом и правил вывода в математике. Предложение является грамматичным, если существует определённая трансформация, которая демонстрирует, что его структура находится в соответствии с набором правил, наподобие того, как доказательство демонстрирует истинность математического выражения [Winograd 1983: 12]. Огромный резонанс, который получила трансформационно-порождающая грамматика, и несомненное влияние, оказанное ею на лингвистические штудии второй половины XX века, заставляют нас остановиться на её достоинствах и недостатках более подробно.

Начнём с того, что, как указывалось в литературе, дистинкция глубинных и поверхностных структур постулируется ещё со времен античной древности и характерна для всех менталистских концепций языка, отличительной чертой которых является, в частности, признание языковых универсалий. Таким образом, истоки рассматриваемой дистинкции следует искать во взглядах Аристотеля, Платона, грамматистов Пор-Рояля и В. фон Гумбольдта. При этом Хомский неправильно называет грамматику Пор-Рояля картезианской, т.к. нет никаких свидетельств того, что А. Арно и К. Лансло построили свою лингвистическую теорию на взглядах Р. Декарта;

напротив, сами они указывают, что во многом обязаны некоему Санктиусу, преподавателю латыни времён испанского Ренессанса, который выдвинул понятие “логического языка”, содержащего элементы, не обнаруживаемые в реально употребляемом “нелогическом” языке [Mišeska-Tomić 1986: 75-76].

Несомненно интересной и заслуживающей всяческого одобрения была попытка Н. Хомского преодолеть бихевиористскую концепцию языка приверженцев дескриптивизма, полагавших правильным трактовать речевую деятельность как реакцию на внешний стимул-раздражитель. Следует высоко оценить, на наш взгляд, и такие выделяемые Е.С. Кубряковой черты трансформационно-порождающей грамматики, как провозглашение приоритета гипотетико-дедуктивного подхода к языку взамен чисто эмпирического, индуктивного; положение о творческом, креативном характере деятельности и необходимости изучать именно эту сторону деятельности говорящих; признание семантического компонента в качестве неотъемлемого компонента грамматики и грамматического описания языка; рассмотрение языка как феномена ментального, феномена психики человека [Кубрякова 1995: 175]. Вместо наблюдения над языками с детальным описанием их грамматических механизмов Хомский в основу своего подхода положил наблюдение над языком вообще как родом ментальной деятельности человека, что было призвано вскрыть языковые и психические закономерности универсального характера. Но, несмотря на все эти положительные моменты, Хомскому, как представляется, не удалось создать адекватной во всех отношениях теории центральной единицы анализа генеративной грамматики – предложения, ибо некоторые изначальные посылы всей концепции основывались на ложных представлениях о природе объекта исследования.

Так, Л.С. Бархударов, отмечая, что генеративная грамматика была первой серьезной попыткой описания диалектически противоречивого отношения между формой предложения и его семантикой в терминах глубинных и поверхностных структур, говорит и об одном ее серьёзном недостатке: глубинная структура предложения в трактовке Хомского и его последователей является по сути дела не фактом структуры языка, а принадлежностью лингвистической теории, некоей абстрактной схемой – метаязыком для описания семантической структуры предложения. Между тем, считает Бар-

ударов, если глубинная структура предложения действительно определяет его семантику, то она должна включать в себя лишь семантически релевантные показатели и абстрагироваться от всех сугубо формальных, семантически нерелевантных моментов, вплоть до такого формального свойства предложения, как его линейность, навязанного языку природой его звуковой материи и не имеющего семантической мотивированности [Бархударов 1976 а: 9].

С точки зрения В.А. Звегинцева (также отмечавшего и положительными сторонами учения Хомского, в частности, то, что оно концентрируется вокруг не отдельных единиц, явлений или фактов конкретных языков, а такой универсальной категории, как предложение, в которой и находит своё первичное выражение движение мысли), основную претензию генеративизму можно предъявить за то, что он проходит мимо отношений языка к опыту и, хотя в качестве более далёкой своей установки нацелен на познание мысли и выражение её объявляет основной функцией языка, в действительности элиминирует мысль из своих методических процедур. Отталкиваясь в конечном счёте от поверхностных структур, порождающие модели замыкаются пределами языка как такового, и это последнее обстоятельство особенно ослабляет теоретическую значимость такого рода исследований. Как справедливо настаивает Звегинцев, невозможно познать суть языка, оставаясь лишь в пределах языка, как это делает Хомский, который, таким образом, идёт на сознательный редукционизм, способный представить изучаемый объект в совершенно искажённом виде. “И если строится теория (как это имеет место у Н.Хомского), с ориентацией лишь на лингвистическую компетенцию, являющуюся идеализированной (т.е. фактически редукционистской) моделью говорящего-слушающего, в свою очередь, помещённую в идеализированную модель языковой общности, то уже по своим предпосылкам такую теорию следует оценивать как слишком слабую и неспособную справиться со своей задачей” [Звегинцев 1986: 30-31].

Необходимо отметить, что трансформационно-порождающая грамматика, неоднократно обновляемая и корректируемая своим создателем Хомским, за почти полувековой период своего существования прошла длинный эволюционный путь. (Попутно заметим, что было бы трудно ожидать внутренней монолитности трансформационно-порождающей грамматики как учения, принимая во

внимание ее многолетний “стаж” в лингвистической науке. И действительно, она оказывается представленной несколькими версиями, одна из которых получила разработку в трудах Ф. Лифринка и вошла в лингвистический обиход под названием “семантико-синтаксис”. Ф.Лифринк – один из тех трансформационно-генеративных лингвистов, которые считают, что глубинный синтаксис и семантика – одно и то же. Он демонстрирует, что конституентные категории, такие как “именная группа” и “глагольная группа”, являются чисто поверхностно-синтаксическими и не могут быть использованы для описания семантико-синтаксиса. Ф. Лифринк предлагает описать семантико-синтаксис в терминах признаковых (feature) категорий, которые прямо коррелируют с их проявлениями в поверхностном синтаксисе [Liefrink 1973]). Однако и в конце XX столетия аналитики языка не считают, что трансформационно-генеративной грамматике удалось избавиться от существенных недостатков, вызванных изначально неверными посылками и гипотезами.

Так, положив в основу метода сравнение глубинных (ядерных) и поверхностных структур, Хомский считал правомерным последовательное сопоставление целостной поверхностной структуры реального предложения с целостной глубинной структурой, в которой в силу того, что она уже структурирована, задаются структурное значение и ролевые характеристики каждого компонента. Но при такой процедуре, как полагает Н.А. Кобрина, сложное сравнивалось с очень простым, примитивным, “букварным” по структуре и смыслу. Отсюда и ограниченные возможности метода: все структуры, которые были несводимы к ядерным структурам, оказались за пределами рассматриваемого объекта, в частности приложения, обособления, уточнения, присоединения, вставные элементы, неполные предложения, то есть всё то, что не обеспечивало внутренней повсеместной связанности; с другой стороны, не годились для этого метода структуры сложные, в которых целое состоит из частей разной степени законченности и самостоятельности – сложные предложения, предложения с комплексами, с герундиальными, причастными, инфинитивными оборотами и др. “В этом, конечно, большая уязвимость метода, так же как и сравнение с простейшей структурой, являющейся ещё одним промежуточным звеном в процедуре сравнения и тем самым увеличивающей степень относительной точности получаемых данных. Особенно наивно звучит

интерпретация семантики сложного предложения как складывающейся из семантики двух простых” [Кобрина 1998 б: 102].

Вполне оправданной критике подвергается и понимание Хомским языковой способности человека, которое не даёт ключа к решению проблемы способности человека осуществлять коммуникативную деятельность. “Языковая способность, по Хомскому, – это способность говорящего-слушающего порождать грамматически правильные предложения. У Н. Хомского представление о языковой способности – это также представление об одном из возможных способов структурного описания языковой системы, понятое его критиками как функциональная модель психического механизма продуцирования и восприятия речи. Очевидно, что для речевого общения недостаточно владеть только правилами порождения грамматически правильных предложений, необходимо, кроме того, адекватно задачам общения строить свое воздействие на собеседника и в соответствии с этим, т.е уместно, употреблять речевые высказывания” [Общение. Текст. Высказывание 1989: 15]. И.В. Поляков также отмечает, что расхождение между поверхностной и глубинной структурами предложений объяснимо в свете того, что в генеративной лингвистике глубинной структуре придаётся независимая от коммуникативных факторов и условий форма, в то время как зависимость структуры предложения от условий его формирования и коммуникативного намерения говорящих убедительно продемонстрирована многими лингвистическими исследованиями [Поляков 1987: 182]. Следовательно, узкие рамки, которыми Хомский ограничивает языковую способность, оказываются слишком тесными для понимания того, каким же образом язык приспособлен для выполнения конечной своей функции – быть средством коммуникации.

При рассмотрении трансформационно-порождающей грамматики необходимо обратить внимание и на тот факт, что компонент “порождающая” в её названии является в определенной степени вводящим в заблуждение, так как даёт основание думать, что вся концепция ориентирована на исследование мыслительных основ генерирования высказываний. На самом деле, как отмечает Т. Виноград, развивая свою метафору “лингвистика как математика” в применении к генеративизму, механизмы порождения речи интересуют лингвиста-генеративиста не больше, чем математика интере-

сует то, каким образом он генерирует математические выражения [Winograd 1983: 13].

С серьёзными трудностями сталкивается трансформационно-порождающая грамматика при попытке применить ее методы к анализу реального речевого материала во всём его богатстве и разнообразии. Как известно, реальные речевые построения весьма часто характеризуются отходом от строгих синтаксических норм, использованием иррегулярных конструкций и неканонизированных синтаксических моделей. При этом следует помнить, что, как отмечает Дж. Лакофф, “нерегулярности” в грамматике нормальны и порождены природой самой грамматики [Lakoff 1970]. Рассматривая данную проблему более широко, Т. Тэйлор и Д. Камерон отмечают, что при наличии аграмматичных построений в речи слушающий и говорящий могут на них не отреагировать, могут их даже не заметить. Если их основной заботой является успешность коммуникации, нет причины думать, почему они должны это заметить. Вообще, как отмечают авторы, стандарт грамматичности, который приложим к письменной речи, неприменим к повседневной разговорной речи. Если принять это заключение, то можно увидеть, что в условиях речевой ситуации некоторая аграмматичность, бессвязность, эллипсисы, самокоррекции, “мычания” и т.д. совершенно естественны и не вызывают коммуникативных проблем. Очень важно понимание того, что не целесообразно ставить в один ряд следующие два вопроса: а) как пользователи языка должны структурировать высказывание с тем, чтобы сделать его грамматичным?; б) как пользователи языка должны структурировать высказывание с тем, чтобы сделать его коммуникативно пригодным? Когда главной заботой говорящих является не грамматическая правильность высказывания, а его коммуникативная пригодность, первый вопрос нерелевантен или, по крайней мере, нерелевантен до тех пор, пока кто-то не решает сделать его нарочито релевантным [Taylor, Cameron 1987: 152-154]. По справедливому замечанию В.В. Богданова, при спонтанном диалогическом общении стороны обычно мало контролируют или вообще не контролируют грамматической отмеченности высказываний, поэтому спектр отклонений от грамматической правильности в таких случаях довольно велик [Богданов 1996 а: 270].

В свете вышеизложенного становится не вполне понятным, как “работают” трансформационные правила Хомского при преобразовании глубинной структуры в поверхностную: неясно, дают ли они сбой при порождении говорящим нерегулярных, аграмматичных синтаксических структур или при этом происходит применение каких-то иных трансформационных правил, не совпадающих с правилами “правильных” трансформаций.

Таким образом, трансформационно-порождающая грамматика, не справившись с выявлением сущности центрального своего объекта – предложения, не сумела и сформулировать адекватной концепции языка в целом, на что она открыто претендовала. Мы вполне разделяем мнение Ю.С. Степанова, что “в американской лингвистике, охваченной “бумом генеративизма”, не было сформулировано ни одного сколько-нибудь значительного понимания языка. Напротив, облик языка, подобно изображению в фасетчатом глазу стрекозы, все более дробится на различные “фасетки”, типа “Язык как функциональная система”, “Язык как активность” и т.д. и т.п.” [Степанов 1995: 29].

### **1.5. Теория предложения в отечественном языкознании во второй трети XX века**

Обратим теперь свой взгляд на развитие синтаксической теории в отечественной лингвистике во второй трети XX века. Структурально-дескриптивное направление, как и позже генеративизм, не получили у нас того господствующего положения и широкого распространения, как на Западе, несмотря на довольно большую русскоязычную литературу, написанную в русле данных лингвистических концепций. Превалирующей представляется тенденция толковать предложение в лучших традициях русской лингвистической мысли, идя по пути уточнения, обогащения и корректировки уже утвердившихся представлений синтаксистов о предложении, а не отвергая их как антинаучные и несоответствующие никаким реалиям языка. Так, В.В. Виноградов сформулировал в работе 1955 года следующее определение предложения: “Предложение – это грамматически оформленная по законам данного языка целостная (т.е. неделимая далее на речевые единицы с теми же основными

структурными признаками) единица речи, являющаяся главным средством формирования, выражения и сообщения мысли” [Виноградов 1975: 254]. Совершенно очевидно, что эта дефиниция и отдаленно ничем не напоминает дескриптивистское теоретизирование в духе Блумфильда или Ельмслева.

Были в указанный период и отдельные попытки вернуться к трактовке предложения с позиций логической теории. Так, Е.М. Галкина-Федорук, подробно рассматривая проблему соотношения логики и грамматики и столь же подробно освещая логические категории – представления, понятия, суждения, трактует предложение в тесной связи с суждением и через него, в конечном итоге приходя к выводу об обусловленности свойств предложения свойствами его логического субстрата – суждения. Неоднократно подчеркивая нетождественность предложения и суждения, грамматики и логики, Галкина-Федорук фактически тем не менее устанавливает между ними столь тесную взаимосвязь, что никакие апелляции к “диалектическому единству” не помогают – интерпретация предложения в основе своей остается логической. Закономерен поэтому и вывод автора, что мышление может осуществляться исключительно в языковой форме [Галкина-Федорук 1958].

### **1.6. Теория предложения в тагмемике и лингвистической концепции М.А.К. Хэллдея**

Стоит отметить, что и на Западе даже во время господства генеративизма (каковой отличался необычайно агрессивным типом поведения по отношению к своим оппонентам) плодотворно работали ученые, исповедовавшие точку зрения на язык, альтернативную генеративистской. Одной из таких теорий была тагмемика. Как пишет Р. Робинс, центральным аналитическим и описательным понятием теории является тагмема. Тагмема есть место в структуре (синтаксической и морфологической) вместе с формальным классом элементов, занимающих это место. Для обозначения места (позиции) в структуре используется термин ‘slot’, а для обозначения заполняющего его элемента – термин ‘filler’. Существуют тагмемы уровня предложения, уровня части сложного предложения, уровня словосочетания, уровня слова [Robins 1976: 288-289]. Тагмемика,

как указывает Э. Хэмп, призвана смягчить некоторую ригидность стратификационных теорий языка, слишком жестко отстаивающих положение об автономности языковых уровней [Hamp 1969: 246-247]. Идея иерархического устройства языка, таким образом, не была новаторской в тагмемном анализе – имплицитно она присутствовала в дескриптивной лингвистике и эксплицитно в стратификационной теории. Но анализ иерархии с позиций теории непосредственно составляющих не привёл, как отмечает Р. Лонгакр, к созданию обобщённой картины иерархии [Longacre 1970: 174]. Именно эта задача и была значительно успешнее решена тагмемикой.

На рассматриваемый период пришлось и творческая деятельность британского лингвиста М.А.К. Хэллидея, не замеченного в особых симпатиях к трансформационно-порождающей грамматике Хомского. Лонгакр выявляет связь теории Хэллидея с тагмемикой. По мнению ученого, теория Хэллидея, изложенная в книге “Scale-and-Category Grammar” 1960 года, ближе всех стоит к тагмемике. Момент отличия грамматики шкал и категорий от тагмемики заключается в том, что первое не предусматривает возможности совмещения языковых уровней [Longacre 1970: 174].

По мнению К. Давидсе, сам Хэллидей выделяет две лингвистические традиции. К первой он относит взгляды пражских лингвистов и свои собственные, называя эту традицию функциональной (наиболее полное изложение принципов, методов и терминов функционализма находим в [Halliday 1985]), а ко второй причисляет Блумфильда и Хомского, называя эту традицию формальной. Как и пражская школа, Хэллидей занимает критическую позицию по отношению к дихотомии Хомского “компетенция/употребление”, которую Хаймс не без иронии уподобляет взгляду на язык как на “райский сад”. Компетенция – “рай”: это есть знание непротиворечивого лингвистического кода, которым владеет гипотетический идеальный носитель языка, живущий в гомогенном языковом сообществе. Употребление представляет собой “грехопадение”: когда идеальный код реально используется в специфических социокультурных условиях физиологически ограниченными индивидуумами, он оказывается безнадежно испорченным. Не менее 95% фактически произносимых высказываний являются, строго говоря, аграмматичными. Следовательно, как полагает Хомский, лингвист должен заниматься изучением компетенции, а не откло-

нений от неё, возникающих при употреблении. Против такой методологии и возражают пражская школа и Хэллидей, показывая, что с должным применением соответствующего аналитического инструментария становится возможным сформулировать обобщения относительно контекстно-обусловленного функционирования языка [Davidse 1987: 40-41].

В рамках рассматриваемой проблематики нельзя пройти мимо такой характеристики теории Хэллидея, как её совместимость с представлениями об устройстве языка, бытующими в нейролингвистике (см. [McKellar 1990]), которая ещё более резко, по мнению Г.Б. МакКеллара, контрастирует с идеями Хомского. Последний, подчёркивая идею автономности грамматической теории и самодостаточности внутрилингвистического описания, не считает нужным прибегать к рассмотрению фактов, лежащих за пределами порождающего процесса. Хэллидей придерживается прямо противоположного мнения, полагая необходимым прибегать к использованию и учёту внешних по отношению к структуре языка фактов, добытых при нейролингвистических исследованиях и могущих пролить свет на существенные особенности устройства языковой системы [McKellar 1990: 342-343]. По мнению Т. Винограда, лингвистическая концепция Хэллидея пригодна и для использования в качестве теоретической основы при моделировании машинного (искусственного) интеллекта, ибо, в отличие от трансформационно-порождающей грамматики Хомского, она прибегает к понятию “системных сетей” при описании взаимопроникновения и взаимодействия различных языковых явлений [Winograd 1972: 16].

Научные биографы Хэллидея Джойа и Стентон взяли на себя труд реферирования его многочисленных работ с целью показать эволюцию взглядов Хэллидея на описываемые им категории языка. Одной из таких категорий является предложение, определяемое Хэллидеем следующим образом: “... here ‘sentence’ is the name given to the largest (unit) about which grammatical statements are to be made” (Предложение есть имя, используемое для обозначения самой большой единицы грамматического описания\* – цитата из работы 1956 г.); “There will always be one unit which, more than other,

---

\* Перевод цитат Хэллидея везде наш. – А.Х.

offers itself as an item for contextual statement because it does the language work in situations: so it might as well always have the same name: ‘sentence’” (Предложение – это контекстуально описываемая единица, посредством которой язык коррелирует с ситуацией – цитата из работы 1961 г.); “... the sentence is still significantly the lowest ‘non-disorderable’ unit; it is the unit with which as it were, language operates in situation” (Предложение есть низшая структурированная единица; это единица, посредством которой язык, так сказать, оперирует в ситуациях – цитаты из работы 1964 г.) [Joia, Stenton 1980: 12-13]. Этот интерес Хэллидея к фактору ситуации и контекста был стимулирован взглядами его предшественника и учителя Дж.Р. Фёрта [Firth 1957]. При всём внимании к факторам контекста и ситуации Хэллидей не считает возможным отказаться и от применения структурных методов, под которыми он подразумевает не отдельную школу лингвистики, но ту часть общей лингвистической теории, которая разрабатывает и применяет формальные лингвистические методы [Halliday 1957: 55]. Соединение структурно-формального с содержательно-функциональным анализом и имело своим результатом создание Хэллидеем лингвистической теории, получившей название “системно-функциональная грамматика” [Halliday 1976].

### **1.7. Теория предложения в семантическом синтаксисе**

В целом уже к 70-м годам, с одной стороны, с достаточной очевидностью выявилась несостоятельность структурально-дескриптивных теорий языка, а с другой стороны, нарастало разочарование в идеях и методах трансформационно-порождающей грамматики. Реакцией на сложившееся положение дел был “семантический взрыв” 70-х годов, расчистивший путь для новых представлений о языке с акцентированием внимания на его значимостной стороне. В области теории предложения это означало появление нового мощного направления, получившего название “семантический синтаксис”. Первые ростки семантико-синтаксических теорий мы обнаруживаем и раньше указанного периода (например, известная работа Л. Теньера “*Éléments de Syntaxe Structurale*” была опубликована еще в 1959 году [Tesnière 1959]), однако

как направление в языкознании семантический синтаксис формируется именно в 70-е годы с появлением трудов таких лингвистов, как Ч. Филлмор [Филлмор 1981 а; Филлмор 1981 б], У. Чейф [Чейф 1975], В.В. Богданов [Богданов 1977] и др.

Предложение в семантическом синтаксисе рассматривается как восходящее к пропозиции – структуре, состоящей из некоторого количества актантов, или аргументов (число которых в частном случае может равняться нулю), и связывающего их реляционного предиката. Пропозиция трактуется как мыслительный аналог отражаемой человеком онтологической ситуации, т.е. положения дел в реальном мире, в котором некоторое количество действующих лиц или предметов (партиципантов) связано некоторым отношением. Языковым способом обозначения отношений в структуре предложения является, как правило, глагольное слово, а языковыми коррелятами партиципантов ситуации и их пропозициональных аналогов – актантов – приглагольные имена. Концепция, таким образом, носит ярко выраженный вербоцентрический характер, т.к. организующим центром предложения считается глагол – именно он задаёт количество и ролевые характеристики имен.

Одной из первых работ рассматриваемого направления в отечественном языкознании была книга Т.П. Ломтева “Предложение и его грамматические категории”, увидевшая свет в 1972 г. С самого начала автор заявляет, что предложение будет трактоваться им с семантической позиции: “С семантической точки зрения предложение есть цепочка знаковых единиц, представленных словами разных классов, в некотором огрублении – словами определенных частей речи. Знаковые единицы, входящие в состав предложения, организованы по законам данного языка, и организующим центром являются свойства глагола – полнозначного или неполнозначного – как определённого класса слов” [Ломтев 1972: 3]. Далее даётся описание одно-, двух-, трёхместных предикатов. Термин “пропозиция” ни разу не употребляется, однако выдвигаемая Ломтевым идея конвертируемости наталкивает на мысль, что фактически автором рассматривается возможность вариативной поверхностно-синтаксической реализации единой пропозиции: “Возможность конвертирования отношений между предметами предиката делает информацию о денотате более богатой, а различительные средства предложения более выразительными. Предложения *Колхоз выдал*

*колхозникам аванс и Аванс выдан колхозом колхозникам, Колхоз обеспечил колхозников авансом и Колхозники обеспечены (колхозом) авансом, Колхозники получили аванс от колхоза и Аванс получен колхозниками от колхоза* обозначают одно событие (один денотат), но, вместе взятые, они выражают более богатую информацию, чем любое из них, отдельно взятое, причем каждое из этих предложений имеет свою семантическую специфику” [Ломтев 1972].

Ломтев крайне неодобительно относится к логицизму в грамматике, и это также объективно характеризует его как представителя семантико-синтаксического направления. Если сторонники генеративизма считали, что в основе предложения лежит логическая структура, то представители семантического синтаксиса полагали, что основой предложения является структура пропозициональная, корреспондирующая с обозначаемой предложением онтологической ситуацией.

Семантический синтаксис, начав активно развиваться с 70-х годов и произведя немало интересных наблюдений над языком за два десятка лет, в 90-х годах постепенно уходит с повестки дня лингвистических исследований. 90-е годы отмечены появлением лишь отдельных “рафинированных” его версий типа продвинутой версии референциально-ролевой грамматики Ван Валина, в которой, в частности, отстаивается идея наличия в предложении глагольно-аргументного ядра и неаргументной (сирконстантной, например, темпоральной и локативной) периферии [Advances in role and reference grammar 1993]\*. Этим данная синтаксическая концепция вполне сродни большинству работ в области семантического синтаксиса, появившихся в 60-70-е годы. Однако, к чести проponentов референциально-ролевой грамматики, следует отметить, что уже в ранних ее версиях предприняты попытки анализировать грамматические системы с учётом коммуникативной функции их элементов. При этом чисто семантико-синтаксический анализ предложения считается недостаточным – в рассмотрение решающим образом включается прагматика. “Мы рассматриваем взаимо-

---

\* Ср., однако, точку зрения А.А. Кибрика и В.А. Плунгяна, относящих референциально-ролевую грамматику Ван Валина к числу морфосинтаксических исследований в рамках современного функционализма [Кибрик, Плунгян 1997: 282-292].

действие между синтаксисом, семантикой и прагматикой как отношение, при котором синтаксические конструкции предопределяются в первую очередь, но не исключительно взаимодействием семантических и прагматических факторов. Другими словами, синтаксическая структура высказывания рассматривается как результат взаимодействия между намерениями говорящего сообщить пропозиционально формулируемую информацию, с одной стороны, и ограничениями, накладываемыми социальным и лингвистическим контекстом, в котором осуществляется высказывание, – с другой” [Ван Валин, Фоли 1982: 378]. Введение прагматического компонента в исследовательский инструментарий выгодно отличает референциально-ролевую грамматику от других теорий семантико-синтаксического плана.

Думается, что не будет ошибкой утверждать, что к настоящему времени семантический синтаксис в его, так сказать, “классическом” варианте практически полностью исчерпал свои методологические ресурсы. Давая критический анализ семантико-синтаксическому направлению, Н.А. Кобрин справедливо, с нашей точки зрения, ставит ему в вину следующие моменты. Во-первых, игнорирование семантическим синтаксисом понятийного субстрата оставляет открытым вопрос о том, на основании чего происходит формирование актантной сетки пропозиции. Во-вторых, вербоцентрической концепции оказывается отнюдь не по плечу задача выявления смысла предложения, на что она претендует. Одна из теоретических трудностей в этом плане заключается в том, что понимание глагола как центра смысловой структуры предложения не стыкуется с особенностью глагола в номинативном плане – с непредметностью его значения (глаголы – слова признаковые), с релятивностью его семантики (ср. также мнение Н.Д. Арутюновой: “Благодаря способности имён к денотации, а вовсе не только и не столько благодаря модально-временным категориям глагола, предложение получает отнесённость к действительности. Денотацией могут обладать в предложении лишь имена, идентифицирующие, замещающие предметы, о которых делается сообщение” [Арутюнова 1976 а: 104]). В-третьих, семантический синтаксис грешит попытками сравнить несравнимое, а именно: первоначальную пучковую организацию связей в пропозиции с конечной линейной организацией синтаксических связей в предло-

жении. “Сущность процесса линеаризации не вскрывается, отмечается лишь его сложность, а тот очевидный факт, что в пропозиции все связи радиальны и изолированы и замкнуты на бинарные связи предикат-актант, в то время как в цепочке при линеаризации большинство компонентов имеют двойные, а нередко и тройные связи – этот факт просто игнорируется” [Кобрина 1998 б: 104].

## 1.8. Резюме

Вышеизложенный краткий очерк развития теории предложения позволяет, как нам кажется, сделать три основных вывода.

1. Попытки описания свойств столь сложного и многоаспектного объекта как предложение за весь период существования синтаксической теории характеризуются высокой степенью плюрализма мнений, широкой вариативностью установок и значительным разнообразием методологических принципов.
2. Ни одной из существовавших (или существующих) лингвистических теорий не удалось предложить удовлетворительной во всех отношениях концепции предложения.
3. Несмотря на отмеченную в настоящей главе полярность взглядов на сущность предложения (что, вообще говоря, неудивительно: многие вновь появившиеся синтаксические теории основывались на отрицании своих предшественников, иногда принимавшем форму глубокого методологического конфликта), представляется возможным выделить один общий для них всех фундаментальный недостаток, заключающийся в том, что предложение трактуется в основном в статичном аспекте, его динамическому аспекту уделяется либо мало, либо вообще никакого внимания. На первый взгляд, это утверждение кажется справедливым лишь для некоторых концепций предложения, например, для условно называемой здесь традиционной (включая логическую) и дескриптивно-структуральной; оно может показаться парадоксальным по отношению к трансформационно-порождающей и семантико-синтаксической школам – ведь они исходят из существования неких мыслительных

структур, предшествующих реальному предложению, и исследуют процесс вербализации этих структур. На самом деле парадокса здесь нет, что мы и попытаемся показать ниже.

Начнем с того, что глубинные предложения Хомского, как и пропозиции семантического синтаксиса, оказываются при ближайшем рассмотрении вовсе не столь “глубокими”, как их определяют авторы соответствующих концепций, а лежащими близко к “поверхности” синтаксических явлений. Поэтому простор для реализации по-настоящему динамического подхода оказывается слишком мал. Далее, не описывается динамика построения самих глубинных предложений и пропозиций, их наличие констатируется как некоторая данность, т.е. сугубо статически. К этому следует добавить, что и поверхностные предложения, анализируемые в генеративной грамматике и семантическом синтаксисе, не получены в результате выборки примеров из живой, динамичной, контекстно-адаптированной и ситуационно-обусловленной речи, а представляют собой грамматически статично-языковые предложения-образцы, предложения-модели, предложения-схемы типа варьируемых на разный лад структур “Джон дал Мэри книгу”, “Книга была дана Джоном Мэри”, “Мэри получила книгу от Джона”, “Книга была получена Мэри от Джона” и т.д. и т.п. Предметом исследования при таком подходе и объектом приложения теоретических усилий становятся предложения-конструкты, почти столь же виртуальные, что и их прообразы – глубинные предложения и пропозиции. Наконец, никто из представителей рассматриваемых лингвистических школ при описании процесса преобразования глубинных структур и пропозиций в предложения языка ни разу не озаботился освещением роли столь важного фактора, как время. Любой процесс, как известно, протекает во времени, и любая по-настоящему динамическая теория результирующего продукта процесса требует признания релевантности фактора времени и его исследования. Для предложения это требование актуально вдвойне – будучи в отличие от слова знаком сложным, оно конструируется в особом оперативном времени [Гийом 1992], неучёт которого обнаруживает всю беспочвенность претензий любой синтаксической теории на динамичность.

Таким образом, не все теории, заявляющие о себе как динамические, на самом деле являются таковыми. Даже в отношении трансформационно-порождающей грамматики – теории, более других претендующей на динамизм, – справедливо, на наш взгляд, следующее замечание: “По существу интерпретирующий характер носили и многие генеративные модели. Хотя их заманчивое название и наводило на мысль о том, что в них найдут отражение конструктивные элементы создания речевого высказывания или что в них будут предложены некие руководства по порождению синтаксических конструкций, фактически мы находим в них скорее способы анализа готовых предложений” [Человеческий фактор в языке: Язык и порождение речи 1991: 34].

Неудовлетворенность решением основных вопросов синтаксической теории в рамках, по сути, антименталистских подходов слышится в словах Д. Локвуда, сказанных им еще в 1972 году, о том, что пришло время для очередного изменения фокуса лингвистических исследований, который в определённом смысле представляет собой больший отход от генеративизма, чем генеративизм отличался от дескриптивизма. Этот новый фокус называется когнитивной лингвистикой. Подобно тому, как фокусом лингвистических исследований в рамках дескриптивизма были элементы языкового материала, а фокусом генеративной лингвистики были правила, касающиеся обобщения относительно языкового материала, фокусом когнитивной лингвистики должны стать связи, репрезентирующие информацию в мозгу говорящего [Lockwood 1972: 12].

Коль скоро приходится признать, что все уже более или менее устоявшиеся и оформившиеся синтаксические теории трактуют предложение в статичном ключе, то, может быть, упомянутый выше когнитивно-функциональный подход сумел преодолеть момент статичности и перевёл рассмотрение предложения в истинно динамический план? К сожалению, на этот вопрос можно ответить лишь отрицательно. Позволим себе сослаться в этой связи на мнение А.В. Циммерлинга, которое мы разделяем: “Формалист (сторонник Хомского) видит сущность грамматики в автономности вычислительной системы от употребления. Современный концептуалист (ныне называющий себя функционалистом) видит в грамматике инструмент, позволяющий отразить или даже воплотить (модное слово: кодировать) те или иные сущности плана содержания –

денотативные реалии, когнитивные стратегии. <...> Между тем обе точки зрения имеют общий изъян: языковая форма, от чего бы её ни отрывали и с чем бы ни сопоставляли, берётся обеими сторонами как данность, статично. Альтернативу образует динамический подход...” [Циммерлинг 2000: 132-133].\* Думается, что разработка именно динамического подхода к предложению и может составлять дальнейшую исследовательскую перспективу.

---

\* Попутно отметим, что два рассматриваемых направления характеризуются внутренней неоднородностью и, по мнению У. Крофта, представлены следующими теориями: принцип трансформационно-порождающей грамматики Хомского используется в таких концепциях, как теория управления и связывания Хомского (Government and Binding Theory), лексико-функциональная грамматика Бреснан (Lexical Functional Grammar), реляционная грамматика Перлмуттера (Relational Grammar), грамматика генерализованных фразовых структур Газдара (Generalized Phrase Structure), грамматика ядерно-ориентированных фразовых структур Полларда и Сага (Head-Driven Phrase Structure Grammar); функциональный подход реализуется в следующих лингвистических концепциях: в референционно-ролевой грамматике Фоли и Ван Валина (Role and Reference Grammar), когнитивной грамматике Лэнекера (Cognitive Grammar), теории грамматических конструкций Лакоффа, Филлмора, Кэя, О’Коннора (Grammatical Construction Theory), дискурсивно-ориентированной теории Хоппера, Томпсон и Гивона (discourse-based theories). При этом отмечается и факт взаимопроницаемости теоретических установок указанных направлений. Так, лексико-функциональная грамматика Бреснан обнаруживает элементы дискурсивного подхода к анализу синтаксического материала, а функциональный синтаксис Куно (functional syntax) методологически базируется в основном на генеративных принципах [Croft 1991: 1-2].

## ГЛАВА 2

### СЕМИОЗИС ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЯЗЫКЕ

#### (ПЕРВИЧНЫЙ СЕМИОЗИС)

##### 2.1. Исходный терминологический инструментарий

Приняв на себя обязательства описать мыслительные основы формирования предложения как специфического знака языка и сегмента речи, мы не можем обойтись без определения базовых понятий, с помощью которых будет решаться поставленная задача. К таким базовым понятиям в рамках настоящей работы относятся *концепт, понятие, значение*, использование которых в качестве инструмента лингвистического анализа становится правомерным в рамках последовательно менталистского подхода к языку.

##### 2.1.1. Ментализм и антиментализм

В истории языкознания представлены учения как признающие неразрывную связь мышления и языка (ментализм), так и теории, эту связь разрывающие (антиментализм) [Худяков 1989 б]. При этом в русле менталистских концепций можно условно выделить три основных направления. Первое – это логицизм, основывающийся на картезианской философии и нашедший свое классическое воплощение в грамматике Пор-Рояля, которая вызвала впоследствии многочисленные подражания [Грамматика общая и рациональная Пор-Рояля 1990]. Ученые-логицисты, устанавливая однозначные отношения между логикой и грамматикой и отождествляя мыслительные категории (носящие общечеловеческий, универсальный характер) и категории языковые, постулируют возможность сведения последних к ограниченному набору логических категорий, описания всех разнообразных существующих языков в единых логических терминах и создания единой всеобщей грамматики. Признавая несомненно выдающуюся роль школы Пор-Рояля, которую она сыграла в лингвистике, надлежит всё же отметить следующее: совершенно верно подметив наличие общих черт в

разных языках, что впоследствии дало толчок к развитию типологии универсалий, сторонники логического подхода возвели это общее в абсолют, игнорируя при этом не только идиоэтнические черты конкретных языков, но и функциональную специфику языка вообще. Именно эта метафизическая односторонность подхода таких исследователей позволяет оценить идею создания универсальной грамматики следующим образом: “Явный утопический характер всеобщей грамматики ... бьёт в глаза” [Винокур 1988: 85-86].

Вторым менталистским направлением в языкознании можно признать гумбольдтианство и неогумбольдтианство. Это течение является в значительной мере антиподом логицизма с присущей ему недооценкой языка, пренебрежением его важной ролью в осуществлении мыслительной деятельности человека. В. фон Гумбольдт, рассматривая мышление и язык в неразрывном единстве, напротив, ведущее место отводил языку. По его мнению, язык есть орган, образующий мысль [Гумбольдт 1984: 75]. Настоятельно подчёркивая идею зависимости “духа народа”, “духовной силы народа” и интеллектуальной деятельности людей от языка, В. фон Гумбольдт превращает язык в своего рода магическую силу, оказывающую решающее влияние на мировоззрение человека и жизнь всего общества. Язык, таким образом, предстаёт как “творец действительности” [Языковая номинация 1977: 156].

Более поздние исследователи, такие как Л. Вайсгербер, Э. Сепир, Б.Л. Уорф, Д.Х. Хаймс, разделяющие принципиальную точку зрения Гумбольдта на язык, также гипертрофируют когнитивную роль языка, приписывают несвойственные ему функции. Наибольшую известность среди теорий подобного рода получила гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа, разработанная Уорфом в ряде его работ [Уорф 1960 а, Уорф 1960 б, Уорф 1960 в] и впоследствии подвергшаяся критическому анализу как в плане собственно лингвистическом (см., напр., [Блэк 1960; Ермолаева 1960; Звегинцев 1960 б; Колшанский 1965, гл. I, § 2; Леонтьев 1965: 55-61; Панфилов 1982, гл. 1; Панфилов 1963: 3-4; Философские основы... 1977: 7-62 и др.]), так и философском (см., напр., [Альбрехт 1977: 62-70; Брутян 1969; Васильев 1974 и др.]).

Квинтэссенцией гипотезы лингвистической относительности может служить высказывание Э. Сепира, приведённое Уорфом в качестве эпиграфа к одной из своих наиболее известных работ:

“Люди живут не только в объективном мире вещей и не только в мире общественной деятельности, как это обычно полагают; они в значительной мере находятся под влиянием того конкретного языка, который является средством общения для данного общества. Было бы ошибочным полагать, что мы можем полностью осознать действительность, не прибегая к помощи языка, или что язык является побочным средством разрешения некоторых частных проблем общения и мышления. На самом же деле “реальный мир” в значительной степени бессознательно строится на основе языковых норм данной группы. Мы видим, слышим и воспринимаем так или иначе те или другие явления главным образом благодаря тому, что языковые нормы нашего общества предполагают данную форму выражения” [Уорф 1960 в: 135].

Наконец, третье направление ментализма (его можно было бы назвать “диалектический ментализм”) представлено теориями, признающими неразрывную связь между мышлением и языком – связь, при которой ведущая роль принадлежит мышлению, но не отрицается и влияние языка на мышление. Такой подход характерен прежде всего для отечественного языкознания, а также для некоторых зарубежных учёных. Этот общий в принципиальном плане подход к проблеме соотношения языка и мышления не предполагает, однако, совпадения позиций исследователей при решении некоторых частных вопросов рассматриваемой проблемы, наиболее важным среди которых является вопрос о возможности безязыкового мышления и о различных типах мышления. На этот счёт существует обширная литература, но до сих пор высказываются диаметрально противоположные точки зрения, и проблема, таким образом, далека от окончательного решения.

Антиментализм, сыгравший роль своего рода “отрицательного эксперимента” в языкознании [Языковая номинация 1977: 12], представляет собой достаточно разнородные лингвистические течения, общей чертой которых является отрыв языка от мышления, таксономически-формальный подход к предмету исследования, пренебрежение изучением значимой стороны языка, попытка формализовать или вообще исключить из анализируемого языкового материала семантический компонент. При этом извращается сама суть языка, его онтология и функции. Язык при подобном подходе предстаёт либо как некая самодовлеющая имманентная сущность,

как система противопоставлений, характер которых не зависит от реальных свойств членов этих противопоставлений (Ф. де Соссюр), либо как механизм психофизической реакции на внешний стимул-раздражитель, что можно было бы назвать лингвистическим бихевиоризмом (Л. Блумфилд), либо же как устройство, функционирующее на принципах математической логики (Л. Ельмслев, Х.И. Ульдалль), или своего рода “очищенная” от семантики грамматическая структура-код (Н. Хомский). Представляется возможным полностью согласиться с мнением авторов монографии “Языковая номинация”, характеризующих антименталистские направления как “пройденные пути”, несомненно обогатившие лингвистическую теорию сведениями о системном устройстве языкового кода, о его структурной многомерности, но одновременно показавшие ограниченность такой теории, которая не учитывает факторы взаимодействия языка, мышления и реальной действительности в процессе организации речевых сообщений и формирования основных двусторонних языковых единиц: слов, словосочетаний, высказываний [Языковая номинация 1977: 12-13].

### **2.1.2. Ментальный субстрат. Модулярность**

Вопрос о мыслительной основе языковых структур и их речевых реализаций рассматривается в современной лингвистической парадигме в качестве одного из важнейших. В связи с этим особо актуальными становятся исследования в рамках сравнительно недавно заявившей о себе когнитивной лингвистики – области языкознания, ориентированной на анализ генезиса, развития и функционирования языковых построений в плане их обусловленности ментальным субстратом. Важнейшей составляющей ментального субстрата языка являются дискретные элементы сознания – концепты (понятия), которые способны группироваться в сложные структуры, называемые понятийными категориями.

Рассмотрение вопроса о ментальном субстрате языка является принципиально важным при анализе акта семиозиса языкового знака. Антименталистский взгляд на язык снимает проблему мыслительных основ конструирования языкового знака, но вместе с тем делает невозможным теоретически валидное объяснение его

сущностных свойств и параметров. Поскольку мы хотим понять механику мыслительных процессов, ведущих к конструированию сентенционального знака, необходимо прежде всего обосновать правомерность менталистской точки зрения на язык в целом.

Возможен ли язык без мышления? Отрицательный ответ на этот вопрос представляется достаточно очевидным. Мнение таких учёных, как Э. Сепир, утверждавший, что “сам поток речи, как таковой, не всегда указывает на наличие мышления” [Сепир 1934: 12], подверглось аргументированной критике (см., напр., [Ардентов 1965: 9]) и довольно решительно отвергается современными лингвистическими теориями. Напротив, вопрос о том, возможно ли мышление без языка, до сих пор вызывает значительные расхождения во мнениях исследователей. Высказываемые по этому поводу точки зрения можно свести в конечном итоге к двум основным.

Одни учёные категорически утверждают, что человеческое мышление осуществляется на языке и только на языке. Характерно в связи с этим мнение В.З. Панфилова, считающего, что язык есть средство осуществления человеческого мышления, что последнее не может протекать вне и помимо естественного языка или других знаковых систем, язык и мышление неотделимы друг от друга как в своём возникновении, так и в своём существовании. Таковы, по его мнению, те основные принципиальные моменты, которые являются исходными при решении проблемы о характере взаимоотношения языка и мышления или отдельных её частных аспектов [Панфилов 1971: 16].

Полемизируя с вербалистами, т.е. учёными, признающими мышление только в форме языковых единиц, Б.П. Ардентов, Б.А. Серебренников и другие сторонники теории авербальных форм мышления (о понятийном мышлении см., напр., [Резников 1958: 8]), о дискретном спектре мыслительных категорий см. [Юдакин 1984: 10-11], о теории предсемантики см. [Вардуль 1973: 21]) полагают мнение о том, что всё, что есть в мысли, должно быть непременно “одето” словом, несостоятельным не только теоретически, но и, как справедливо указывает Б.П. Ардентов, методологически: если в мысли непременно всё должно быть одето словом, то получается, что мыслить – это говорить про себя, а говорить – это мыслить вслух. Значит, в мысли может возникнуть лишь то, что есть в языке; чего нет в языке, то не может появиться в мысли (ведь без слова

оно не может существовать в сознании). Таким образом, язык ограничивает мышление, является для него оковами. И тогда вообще непонятно, как в языке могут появляться новые слова, новые формы и т.д., т.е. непонятно, как может прогрессировать язык. Вывод может быть только один: при выражении мысли в речи совсем не обязательно, чтобы все её компоненты (образы, понятия, их связи) были одеты словом [Ардентов 1965: 29]. Идея о существовании невербального мышления разделяется также Ж. Вандриесом, Б. Расселом, А. Чёрчем, О. Есперсеном, Ф.И. Буслаевым, В.А. Богородицким, Р.М. Фрумкиной [Вандриес 1937: 71; Рассел 1957: 93-94, 129-130; Рассел 1982: 42, 44; Чёрч 1960: 19, 32; Есперсен 1958: 57-61; Буслаев 1959: 263; Богородицкий 1939: 159; Фрумкина 1990].

Так, Б. Рассел доказывает реальность существования концептуального мышления путем логического анализа ложных предложений типа “Я встретил единорога” и “Я встретил морского змея”. По его мнению, это вполне осмысленные высказывания, и мы поймём их, если знаем, что такое единорог или морской змей, то есть какова дефиниция этих чудовищ. Таким образом, считает Б. Рассел, в состав приведённых суждений входит то, что можно назвать концептом. В случае с единорогом речь, несомненно, идёт только о концепте: нигде не существует ничего, что бы соответствовало этому имени. Поскольку, заключает учёный, суждение “Я встретил (одного) единорога” осмысленно, хотя и ложно, становится очевидным, что оно, при правильном его анализе, не должно включать в свой состав конститuent “один (некий) единорог”, а должно содержать концепт “единорог” [Рассел 1982: 42].

В решение рассматриваемой проблемы вносит существенный вклад и психолингвистика. Американский учёный Д. Слобин, изучая научное наследие Л.С. Выготского и Ж. Пиаже, приходит к выводу, что Л.С. Выготский развивает мысль о том, что и в филогенезе, и в онтогенезе имеются элементы невербального мышления (например, “практическое” мышление при решении практических задач) [Слобин, Грин 1976: 168]. Что касается “блестящих”, по оценке Д. Слобина, исследований Ж. Пиаже, то, согласно позиции, разделяемой его школой, развитие познавательных процессов осуществляется само по себе, а речевое развитие следует за ним или отражает его. Интеллект ребёнка развивается благодаря взаимодей-

ствию с предметным миром и окружающими ребенка людьми. В той мере, в какой язык участвует в этом взаимодействии, он может способствовать развитию мышления и в некоторых случаях ускорять его, но сам по себе язык не определяет этого развития [Слобин, Грин 1976: 168]. Сам Д. Слобин сформулировал собственную позицию по этому вопросу совершенно однозначно: “Имеется целый ряд мыслительных процессов, которые можно считать языковыми или неязыковыми” [Слобин, Грин 1976: 170]. Интересную линию доказательств того, что мысль в большинстве случаев независима от словесной формулировки, Д. Слобин находит в замечаниях великих учёных, математиков и художников об их творческом мышлении. Цитируя книгу Б. Гизлина “Процесс творчества”, он приводит интроспективные наблюдения Альберта Эйнштейна, который считал, что слова языка в той форме, в которой они пишутся или произносятся, не играют никакой роли в механизме его мышления. Психические сущности, которые, по мнению А. Эйнштейна, служат элементами мысли, являются некими знаками или более или менее ясными образами, которые могут “произвольно” воспроизводиться и комбинироваться [Слобин, Грин 1976: 172]. Отечественные психолингвисты также формулируют проблему множественности форм высоко развитого мышления (проблему полиморфности мышления) как одну из важных [Исследование речевого мышления ... 1985: 15]. Наконец, нелишним будет напомнить, что идея возможности невербального мышления бытует и в логике. По мнению В.И. Свинцова, единство языка и мышления вовсе не означает, что мысль, едва родившись в сознании, мгновенно облекается в совершенную словесную форму [Свинцов 1987: 66]. Таким образом, в настоящей работе принимается та точка зрения, что мыслительное не обязательно равно языковому, что часть мыслительного процесса протекает не в вербальной форме [Варшавская 1984: 17].

Каковы же конкретные формы невербального мышления, коль скоро установлен сам факт его существования? Ответ на этот вопрос даёт, в частности, ряд трудов Б.А. Серебренникова [Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира 1988: 81-83; Серебренников 1983: 104-112; Серебренников 1988: 192-212]. В них автор наряду со словесным выделяет следующие формы мышления: образное, практическое, редуцированное, лингвокреативное,

основывающееся на конечных результатах действий, авербально-понятийное.

На данном этапе рассуждений неизбежно возникает вопрос о том, является ли концептуально-понятийная сфера действительным предметом лингвистики, или же, поскольку речь идёт о явлении несобственно языкового плана, она не должна рассматриваться в рамках языковедческой проблематики. Думается, что ответ на этот вопрос с учётом становления в языкознании когнитивной парадигмы может быть только положительным. Учёные-когнитивисты исходят из признания следующего факта: “Когнитивная теория языкового употребления, опирающаяся на такие базовые понятия как обработка информации, общий фонд знаний, когнитивная модель (концепт, образ), концептуальная система (фрейм, скрипт, схема и т.п.), концептосфера и др., стала одной из центральных в современном языкознании, так как она позволяет пролить свет на целый ряд вопросов, связанных с порождением и интерпретацией языкового значения единиц различного уровня” [Гурочкина 2000: 235].

Таким образом, человеческое сознание даёт возможность мышлению осуществляться в формах как знаковых (языковых), так и незнаковых (неязыковых). Различные типы незнакового мышления к настоящему времени в достаточно полной мере утвердились в своём праве на существование, вербальное же мышление естественным образом доказывается фактом существования языка.

Если признан факт существования ментального субстрата и его определяющая роль по отношению к языку, то правомерной является постановка вопроса о том, как организован этот субстрат, насколько гомогенны мыслительные процедуры, являющиеся формой его существования. Освещение этого вопроса осуществляется в рамках теории модулярного устройства сознания и языка, к изложению которой мы приступаем.

Суть теории модулярности состоит в том, что человеческий мозг не является гомогенным с функциональной точки зрения, а, напротив, различные участки его специализированы на выполнении определённых функций. Данное наблюдение является лингвистически релевантным. Более того: проблема модулярности, как отмечают Д. Карлсон и М. Танненхаус, являлась одной из главных с точки зрения лингвиста в когнитивной науке в начале 80-х годов XX века. Хотя это понятие существовало и до указанного времени

в той или иной форме, особое внимание к модулярности значительно возросло со становлением когнитивной науки и вызвало многочисленные дискуссии в психолингвистической литературе. В терминах психолингвистики модулярность относится к инкапсулированию (изолированию) различных типов информации (например, синтаксической, семантической, лексической), результатом чего является невозможность для отдельного компонента (модуля) обрабатывающей системы использовать информацию, содержащуюся в другом модуле [Carlson, Tannenhaus 1989: 11].

Принцип модулярного устройства мозга был обоснован теоретически и доказан экспериментально. С теоретической точки зрения модулярность – самый оптимальный способ организации нейронных структур; как отмечает Ф. Джонсон-Лэрд, мозг вряд ли смог бы эволюционировать без разделения на отдельные модули. В рамках теории Джонсона-Лэрда обоснованию модулярности служит теория параллельной обработки информации. В соответствии с ней различные ментальные процессы осуществляются параллельно, в сознании различные процессоры работают одновременно. Эти параллельные процессоры контролируют события, совершающиеся одновременно, они также отвечают за иерархическую организацию навыков. Например, для того чтобы понять дискурс, задействуются отдельные процессоры для идентификации звуков речи, распознавания слов, членения грамматической структуры, конструирования репрезентации значения и для последующих логических выводов. Каждый из этих видов деятельности совершается в строго определённый момент времени и в тесном соотношении с другими. Процессоры должны действовать подобно рабочим заводской сборочной линии, которая в качестве сырья принимает звуковую волну и трансформирует её в конечный продукт понимания. Наиболее общим представлением параллельного конструирования является сеть процессоров – сформировавшихся механизмов, присоединённых друг к другу с тем, чтобы сделать возможной коммуникацию. Один процессор не может контролировать или вмешиваться в специфическую работу другого. Они просто передают информацию друг другу. Не существует центральных часов, которые синхронизировали бы их работу: каждый процессор активируется как только получает адекватный импульс на входе. Эта схема имеет разные варианты реализации. С одной стороны, каналы коммуникации мо-

гут передавать эксплицитно структурированные символические сообщения, над которыми процессоры производят каждый определённые, оговорённые правилами операции. С другой, все процессоры могут выполнять одну и ту же синхронизированную процедуру одновременно подобно сетевым компьютерам. Что может сделать параллельная обработка информации, так это ускорить операционные процедуры, наделить несколько процессоров способностью выполнять те же самые задания, так что весь операционный процесс оказывается менее подверженным воздействию шума и более устойчивым к помехам, и дать возможность различным группам процессоров специализироваться в выполнении определённых заданий – формировать тематические модули. Быстрота, надёжность и специализация, заключает Джонсон-Лэрд, имеют очевидные эволюционные преимущества. Но параллельная обработка имеет также и свои опасности. Если один процессор ожидает входного импульса от другого, который в свою очередь ждёт импульса от первого процессора, тогда они оба парализованы в тупиковой сцепке, из которой ни один не может вырваться. Подобным же образом, если один процессор даёт команду двигаться налево, а другой даёт команду двигаться направо, тогда несчастный организм может разорваться на части, пытаясь двигаться одновременно в противоположных направлениях. Такие проблемы не возникают перед полноценными организмами: естественный отбор выбраковывает патологические связи [Johnson-Laird 1988: 354-355].

Если Джонсон-Лэрд при исследовании модулярности делает акцент на принципах межмодульного взаимодействия, то Р. Джекендофф призывает не забывать и о внутримодульных процессах. Он указывает, что то, что заставляет мозг функционировать так, как он функционирует, объясняется не только лишь способом соединения модулей друг с другом. Природа циркуляции информации внутри модуля чрезвычайно важна, так как именно механизм циркуляции обуславливает работу модуля в качестве фонологического процессора, идентификатора визуальных форм, механизма приведения в движение пальца или чего-либо ещё [Jackendoff 1994: 51] (см. также статью “Коннекционизм” в [Кубрякова и др. 1996: 87-89]).

С теоретических позиций обосновывает идею модулярности и С. Кэри. Вслед за Спербером она говорит о трёх уровнях организа-

ции сознания: едином пласте модулей ввода, комплексной сети концептуальных модулей первого порядка и мета-репрезентационном модуле второго порядка. Изначально мета-репрезентационный модуль не слишком отличается от других концептуальных модулей, но он делает возможным развитие коммуникации и культурно-обусловленное конструирование знаний, включая и теоретические знания [Carey 1995: 270]. Н. Хомский, анализируя предпосылки модулярного принципа устройства сознания/мозга, видит их в том, что человеческие существа являются частью биологического мира и что сознание/мозг функционирует подобно другим биологическим системам. Сфера сознания должна характеризоваться как модулярная подобно любой другой известной нам комплексной (биологической) системе [Chomsky 1993: 32].

Т. Роупер развивает теорию модулярности применительно к проблеме усвоения языка. При овладении языком, считает Роупер, каждый модуль претерпевает относительно независимый набор изменений. Продуктом, появляющимся в результате взаимодействия модулей, и является так называемый “внешний язык” (в терминологии Хомского) [Roepers 1993: 90].

Надо отметить, что, по свидетельству Ф. Ньюмейера, к 80-м годам XX века стало общепринятым рассматривать язык и, в частности, его грамматическую подсистему с позиций теории модулярности как результат экстраполяции методологии таких наук, как физиология, когнитология, социология и т.д. [Newmeyer 1988: 9].

В. Левелт затрагивает проблему модулярности в рамках разрабатываемой им теории лексического доступа. Ученым получены данные, свидетельствующие о правомерности понимания лексического доступа как модулярного и двухступенчатого. Задаваясь вопросом о том, каким может быть биологическое основание для такой модулярной архитектуры лексического доступа, Левелт предлагает очевидный, на его взгляд, ответ: модулярность является природной защитой от сбоев в работе системы. Два компонента механизма лексического доступа должны выполнять совершенно разные задачи: лексический выбор заключается в быстром поиске в громадном лексиконе; фонологическое кодирование включает создание моторной программы для отдельной выбранной лексической единицы. Если бы эти процессы взаимодействовали, возросла бы взаимная интерференция без очевидных функциональных преимуществ.

ществ. Такая интерференция привела бы к ошибкам в лексическом выборе и фонологическом кодировании [Levelt 1993: 250-251].

Экспериментальные свидетельства модулярности получены в нейронауках (нейрофизиологии, нейропсихологии и нейролингвистике) в результате исследования очаговых поражений головного мозга. Так, И. Рэпин пишет, что некогда бытовавшая гипотеза о существовании лишь одного типа дисфазии была заменена несколькими типологиями дисфазии. Типология, предложенная самой Рэпин и её коллегами, основывается на модели афазиологии, которая рассматривает речевые патологии на различных уровнях (фонетическом, синтаксическом, семантическом). Эвристическая ценность данной типологии, как считает Рэпин, состоит в том, что с её помощью становится возможным определить, где в языковой системе произошёл сбой, и выдвинуть гипотезу о дисфункции отдельных систем мозга [Rapin 1992: 20]. Экспериментальное подтверждение гипотезы модулярного устройства мозга находим также в работе [Laidel, Schweiger 1985], где описаны различные типы речевых аномалий в зависимости от того, какой участок мозга поражён. Отдельно в ряду работ рассматриваемого направления следует отметить исследование У. Пэнфилда и Л. Робертса, содержащее богатый экспериментальный материал по функционированию головного мозга, особенно в связи с речевой деятельностью в норме и патологии. Их работа свидетельствует о отдельной локализации концептивной и языковой сфер в мозгу человека, а также о несовместимости мозговых центров, отвечающих за различные виды языковых операций [Penfield, Roberts 1959: 226-234].

Таким образом, наиболее очевидные свидетельства в пользу идеи модулярности были получены при изучении речевой деятельности лиц, страдающих различными формами афазии и дисфазии. В литературе отмечались случаи сохранения способности у пациентов, страдающих речевыми расстройствами, оперировать синтаксическими структурами при серьёзных нарушениях в области оперирования лексикой и в некоторых случаях при нарушении общей когнитивной способности. Это означает, что обработка синтаксического материала с психологической точки зрения должна проходить автономно как от обработки лексического материала, так и от прочих видов когнитивной деятельности. Обработка синтаксической и семантической информации также оказывается “под-

ведомственной” разным модулям: некоторые пациенты, страдающие аграмматической афазией Брока, демонстрируют способность интерпретировать синтаксические структуры, которые они не могут интерпретировать семантически [Linebarger 1989: 197]. Об этом же пишет и С. Кертисс, указывая, что анализ ряда психических заболеваний предоставляет в руки учёных свидетельства того, что усвоение грамматики происходит отдельно от усвоения других аспектов языка, от лингвистического когнитивного развития и, следовательно, грамматика представляет собой относительно автономную систему. По принципу экстраполяции данный вывод может быть сделан и применительно к усвоению языка психически здоровыми субъектами. Хотя патология более резко высвечивает данные закономерности, они характеризуют и когнитивно-лингвистическое развитие в норме [Curtiss 1988: 112].

Необходимо подчеркнуть, что теория модулярности, выдвинутая и обоснованная в трудах исследователей второй половины XX века, возникла не на голом месте, а, напротив, органично выросла из предшествующих ей научных концепций.

Ментальный субстрат языка характеризуется не только модулярным принципом организации, но, как было заявлено выше, такими операционными сущностями, как понятия (концепты), способные группироваться в сложные структуры, называемые понятийными категориями. Для начала представляется весьма важным определиться с терминологией.

### **2.1.3. Понятие и концепт**

Термин “понятие” является одним из традиционных терминов лингвистической науки и активно эксплуатируется особенно в рамках такой проблематики, как язык и мышление, структура словесного знака, овладение языком, невербальные формы мышления и т.п. В последние десятилетия, однако, “понятию” составляет всё большую конкуренцию термин “концепт”, интенсивно внедряющийся в лингвистические штудии и вытесняющий “понятие” из традиционных сфер употребления. При данных обстоятельствах правомерной оказывается постановка вопроса о возможности/невозможности разграничения сфер употребления обоих тер-

минов и о критериях предпочтительности употребления каждого из них в терминологической сфере науки [Худяков 1993 б].

Для начала попытаемся воспользоваться методом разграничения между понятиями, применённым М.В. Никитиным в отношении понятий “смысл” и “значение”. Суть метода состоит в анализе словарных дефиниций слов, обозначающих соответствующие понятия на предмет выявления “объективноязыковых” оснований разграничения между ними [Никитин 1996: 378-403] (ср. также предпринятый И.М. Кобозевой анализ концептов “значение” и “смысл”, выражаемых соответствующими лексемами русского языка [Кобозева 2000]). “Словарь русского языка” С.И. Ожегова для этих целей не подходит, так как не содержит словарной статьи на вокабулу “концепт” [Ожегов 1973].\* Воспользуемся поэтому англоязычными толковыми словарями А.С. Хорнби “Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English” и “Random House Webster’s College Dictionary”, сравнивая словарные статьи на вокабулы “notion” и “concept”. Хорнби определяет “notion” следующим образом: “idea; opinion”, а “concept” дефинируется им как “idea underlying a class of things, general notion” [Hornby 1988: 574, 175]. Второй из названных словарей определяет “notion” как “a general, vague, or imperfect conception or idea”, а “concept” как “a general notion, or idea” [Random House 1991: 926, 281].

Как видно из данных дефиниций, “понятие” и “концепт” (“notion” и “concept”) в лучшем случае оба сводятся к ключевому понятию “мысль” (“idea”), в худшем случае определяются по принципу терминологического круга – одно через другое. Неудивительно поэтому, что при переводе англоязычных произведений на русский язык слово “concept” зачастую переводится как “понятие” (см., напр., [Lyons 1968: 404 и след.] и перевод [Лайонз 1978: 428 и след.]), а, к примеру, выражение “ideational theory” как “концептуальная теория”. При этом комментируется суть этой “**концептуальной** теории” в русском переводе книги следующим образом: “... **идеи** и **понятия** являются реальными сущностями в сознании людей...” (выделено нами. – А.Х.) [Чейф 1975: 91].

---

\* Договоримся поэтому о возможности экстраполяции выводов, полученных в результате анализа английской терминологии в сферу соответствующей ей терминологии русской.

Эти данные указывают на то, что не существует никаких естественных языковых, объективных оснований к разграничению “понятия” и “концепта”, и такое разграничение может быть лишь субъективным, конвенциональным, введённым в метаязык для удобства научного анализа. Посмотрим, какое значение приписывается рассматриваемым понятиям в двух науках, интересующихся природой мысли, – логике и лингвистике.

В логике существует традиция как разграничения, так и отождествления “понятия” и “концепта”. Так, А.Д. Гетманова, разводя термины “концепт” и “понятие”, отождествляет концепт со смыслом имени и определяет его как способ, каким имя обозначает предмет, т.е. информацию о предмете, которая содержится в имени. Понятие же определяется ею следующим образом: “Понятие – это форма мышления, в которой отражаются существенные признаки одноэлементного класса или класса однородных предметов. В языке понятия выражаются посредством слов или словосочетаний (групп слов)” [Гетманова 1995: 18, 27]. Но если имя – “это слово или словосочетание, обозначающее какой-либо предмет” [Гетманова 1995: 18], а понятия выражаются посредством слов или словосочетаний (то есть имён), то, следовательно, предмет и понятие при таком подходе по сути одно и то же. Возвращаясь к определению концепта, данному Гетмановой, и имея в виду вытекающую из её рассуждений установленную выше идентичность предмета и понятия, можно предположить, что концепт является способом, каким имя обозначает “понятие” и предмет. Неприемлемость такой точки зрения, на наш взгляд, достаточно очевидна. Н.И. Кондаков, напротив, не разграничивает “понятие” и “концепт”, предлагая читателю, желающему ознакомиться с содержанием понятия “концепт” в логике, обратиться к словарной статье на “понятие” [Кондаков 1976: 263, 456-460].

В лингвистике “понятие” и “концепт” обычно различаются, причём соотношение объёмов данных понятий интерпретируется принципиально по-разному. Бытует взгляд на концепт как на разновидность понятия и взгляд на понятие как на разновидность концепта. Первая точка зрения представлена, например, в “Лингвистическом энциклопедическом словаре”, согласно которому понятие есть, с одной стороны, мысль, отражающая в обобщённой форме предметы и явления действительности посредством фиксации их

свойств и отношений, а с другой – грамматическая или семантическая категория, обычно не высшего уровня обобщения. Лишь в этом, втором значении термину “понятие” синонимичен термин “концепт” [Лингвистический энциклопедический словарь 1990: 383-384] (ср. также [Болдырев 1999: 16]). Авторы “Краткого словаря когнитивных терминов” говорят о правомерности понимания концептов в качестве соотносимых со значением слова понятиях, также тем самым обосновывая идею о том, что понятие “понятия” шире, чем понятие “концепта” [Кубрякова и др. 1996: 92].

Противоположную точку зрения высказывает, например, М.В. Никитин, рассматривающий концепт в качестве любого дискретного содержательного элемента сознания, распадающегося на абстрактно-обобщающем уровне сознания на понятия (мысль об общем) и представления (мысль о единичном) [Никитин 1974: 5].

Приведённый выше краткий обзор взглядов на соотношение “понятия” и “концепта” даёт основания предположить, что данная дистинкция в современной науке ещё не вполне устоялась и что синонимичное употребление рассматриваемых терминов с известной долей условности можно признать оправданным. Концепт (понятие), таким образом, можно понимать как содержащийся в сознании человека всякий сгусток информации любой степени сложности и способа структурированности, служащий познавательным целям.

Данное широкое понимание концепта позволяет включить в него и наглядные образы, что, вообще говоря, может встретить определённые возражения. Так, иногда указывается, что возможно толкование образов не как концептивных сущностей, а как мыслительных образований, существующих наряду или параллельно с концептами. В обоснование концептивной природы образов приведём следующую аргументацию. Как установил Дж. Андерсон, пространственные образы – это структуры, которые сохраняют конфигурацию элементов в их пространственном соположении; они кодируют именно конфигурационную информацию, но не абсолютный размер [Anderson 1983: 56]. Следовательно, образ объекта, сохраняя с ним наглядную связь, не может являться фотографической его копией, а есть производное от общей когнитивной способности человека кодировать и сохранять различные типы информации. Как полагают Д. Олсон и Э. Биалисток, ментальная репрезентация

кодирует сенсорную информацию, включая визуально-пространственные свойства объекта. Но эта ментальная репрезентация не может быть простой неинтерпретируемой копией или неинтерпретируемым образом объекта, потому что то, что мы воспринимаем, является в такой же степени отражением того, что мы знаем об объекте, как и свойств объекта [Olson, Bialystok 1982: 124]. Образ объекта поэтому не только не исключает наличие знаний как информации об объекте (верный признак концепта), но и с необходимостью предполагает их.

Проведённый краткий терминологический анализ позволяет прийти к следующим основным выводам.

1. Не существует естественных языковых (отражающих “наивную” концептуализацию) оснований для разграничения “понятия” и “концепта”; такое разграничение может быть конвенциональным, вводимым путём искусственного приписывания некоторых значений “понятию” и “концепту”, не обнаруживаемых обыденным сознанием в их семантической структуре.
2. В науках, использующих “понятие” и “концепт” терминологически, не установлены чёткие делимитационные линии между ними. В тех терминсистемах, где “понятие” и “концепт” разграничиваются, различие между ними устанавливается не по принципу определения особой интенциональной области для каждого, а по принципу более широкой или узкой трактовки их по отношению друг к другу: либо “концепт” считается более широким понятием, включающим в себя “понятие”, либо, напротив, “понятие” мыслится как включающее в себя “концепт”. В силу этого при отсутствии особых причин к разведению “понятия” и “концепта” их синонимичное употребление представляется вполне оправданным.

Противопоставление “концепта” (“понятия”) и “образа” (“представления”) неправомерно: последний обладает концептивной природой, может и должен рассматриваться в рамках теории концепта как информационно значимое ментальное образование.

Ещё одной из заявленных к анализу сущностей, релевантных при описании ментального субстрата языка, является значение. Как мы имели возможность убедиться, вполне возможно с известной

долей условности отождествить концепт и понятие. Напротив, проблема отождествления концепта и значения, как нам представляется, решается принципиально по-другому.

#### **2.1.4. Понятие и значение**

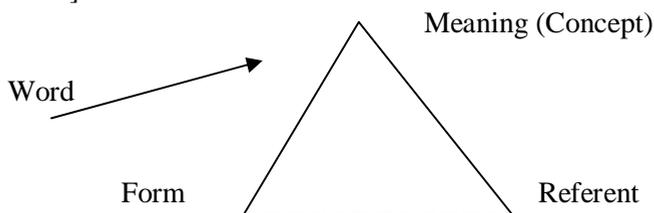
На наш взгляд, чрезвычайный разницей в подходе к анализу контенсивного, содержательного (в противоположность внешнему, формальному) плана языка обусловлен в первую очередь нерешённостью вопроса о разграничении схожих явлений и часто возникающей вследствие этого терминологической путаницей [Худяков 1996 а]. Так, довольно часто приходится сталкиваться с отсутствием дифференциации между “денотатом” и “референтом”, “референтом” и “значением”, “значением” и “концептом” и т.д. В значительной степени такое положение дел объясняется и тем, что предмет исследования – языковой аспект мыслительной деятельности – является объектом многих наук, включая медицину, логику, семиотику, психологию и лингвистику. Таким образом, приходится признать, что решающая роль в успехе описания природы концепта принадлежит отграничению его от смежных одноплановых явлений и, в первую очередь, от значения. Лишь определив взаимные отношения концепта со значением, можно надеяться на успех в анализе онтологического статуса концепта.

Приступая к изложению основных точек зрения на соотношение концепта и значения, следует отметить, что эта проблема является одной из самых сложно решаемых и дискуссионных в теоретическом языкознании наших дней. Это объясняется тем, что, во-первых, при их анализе мы имеем дело с сущностями плана содержания, недоступными исследователю в непосредственном восприятии, судить о природе и свойствах которых мы можем лишь на основе косвенных данных. Во-вторых, и концепт, и значение, как было отмечено выше, являются объектами, по меньшей мере, двух наук – логики и лингвистики, каждая из которых отличается от другой и целями, и методами, и акцентами исследования, не говоря уже о некотором различии соответствующих терминологических аппаратов. Это хорошо видно на примере дефиниции концепта, которую предлагает Лингвистический энциклопедический словарь:

“Понятие (концепт) – явление того же порядка, что и значение слова, но рассматриваемое в несколько иной системе связей; значение – в системе языка, понятие – в системе логических отношений и форм, исследуемых как в языкознании, так и в логике” [Лингвистический энциклопедический словарь 1990: 384]. Находясь на пересечении исследовательских интересов двух родственных наук, концепт и значение, с одной стороны, получают более комплексное и всестороннее описание, а с другой – неизбежно имеет место и нежелательная интерференция сферы логики и сферы лингвистики, что далеко не всегда способствует проявлению статуса описываемых объектов, особенно в плане чёткой делимитации одного от другого. Возможно, именно этим объясняются попытки (впрочем, достаточно немногочисленные) некоторых языковедов вывести значение за пределы лингвистики, трактуя его как категорию неязыковую по своей природе, являющуюся одной из специфических функций мышления или же одним из его материальных процессов [Волков 1966: 61], т.е. сущностью сугубо логической. Такая точка зрения на значение сколько-нибудь широкого распространения в языкознании не получила, но факт её существования сам по себе весьма симптоматичен. (Подробнее на эту тему мы выскажемся в разделе, посвящённом семантике языкового знака).

Наконец, и как чисто лингвистический феномен значение получало и получает необычно разнообразный диапазон трактовок, что весьма затрудняет определение его места в системе отношений с сопоставимыми явлениями, включая концепт. Так, Н.Г. Комлев насчитал семь только основных концепций значения: “Значение есть: 1) называемый предмет; 2) представление о предмете; 3) понятие; 4) отношение: а) между знаком и предметом; б) между знаком и представлением о предмете (или идеальным предметом); в) между знаком и понятием; г) между знаком и деятельностью людей; д) между знаками; 5) функция слова-знака; б) инвариант информации; 7) отражение (отображение) действительности” [Комлев 1969: 10]. Уже из одного этого перечисления видно, сколь сложно проанализировать феномен значения, а следовательно, и определить его взаимоотношение с концептом. При этом следует отметить, что со времени выхода в свет книги Н.Г. Комлева (1969) количество концепций значения в современном языкознании отнюдь не уменьшилось. Проанализируем наиболее показательные из них.

В трактовке Дж. Лайонза значение отождествляется с концептом, что представляется неверным, зато чётко разводятся недифференцируемые некоторыми авторами понятия концепта и референта и, во-вторых, проводится очень важная для понимания природы словозначения мысль о том, что слово есть неразрывное единство формы и значения. Иллюстрируется это следующей схемой [Lyons 1968: 404]:



У.Л. Чейф, совершенно обоснованно уделяющий первостепенное внимание понятийному (концептивному) фактору в языке, на протяжении всей работы [Чейф 1975] неоднократно подчёркивает лингвистическую релевантность понятий, но, к сожалению, никак не дифференцирует концептивный и семантический аспекты. Автор либо вообще исключает семантику из описания языковых процессов, либо употребляет термины “понятийная структура” и “семантическая структура” синонимично. Примером первого подхода может служить такое описание автором работы языкового механизма: “В самых общих чертах язык включает в себя следующий процесс. Некая конфигурация понятий возникает внутри нервной системы некоего индивида, который в силу какой-то причины часто, но необязательно связанной с целенаправленной коммуникацией, вынужден трансформировать эти понятия в звук. Звук идёт к другому лицу или лицам, находящимся в пределах слышимости, и, как правило, вновь превращается внутри их нервной системы в некоторое факсимиле первоначальных понятий. По ряду причин это факсимиле обычно несовершенно: тут и неизбежные индивидуальные различия в понятийном репертуаре, и отсутствие полного соответствия между языковыми системами отдельных индивидов. Но при этом язык позволяет передавать понятия удивительно тонкими и эффективными способами” [Чейф 1975: 29]. Как это ни удивительно, но семантика здесь даже не упоминается.

Примером второго из указанных подходов может служить следующий фрагмент описания Чейфом процесса порождения высказывания: “Прежде всего имеются понятия, а также способы их комбинирования в широкую шкалу различных конфигураций. Впредь для этой области я буду пользоваться термином семантическая структура. Язык обеспечивает превращение конкретных семантических структур в звук” [Чейф 1975: 40-41].

Под каким же углом зрения следует рассматривать соотношения концепта и значения? Интересные мысли на этот счёт находим у целого ряда авторов. Так, О.С. Ахманова показывает несводимость языкового значения к понятию и доказывает, что значения являются частью языка [Ахманова 1957: 28]. По О.С. Ахмановой, “между словами (а стало быть, и значениями. – А.Х.) и понятиями нет взаимно однозначного соответствия” [Ахманова 1957: 31]. Е.И. Шендельс справедливо утверждает: “... очевидно, что слово и объём его значения не равны понятию” [Шендельс 1962: 20]. В.А. Звегинцев также отграничивает значение и понятие [Звегинцев 1962: 344] и следующим образом вскрывает основу различия между ними: “Различие между понятием и лексическим значением слова заключается в том, что в формировании первого принимают участие, так сказать, две силы: предмет и мышление, а в формировании второго – три силы: предмет, мышление и структура языка” [Звегинцев 1962: 346].

Представляется, что истоки трактовки соотношения между концептом и значением как соотношения между собственно мыслительным и собственно языковым следует искать в отечественной лингвистической традиции, восходящей к И.А. Бодуэну де Куртенэ и А.А. Потебне. Так, И.А. Бодуэн де Куртенэ писал: “В языке, или речи человеческой, отражаются различные мировоззрения и настроения как отдельных индивидов, так и целых групп человеческих. Поэтому мы вправе считать язык особым знанием, т.е. мы вправе принять третье знание, знание языковое, рядом с двумя другими – со знанием интуитивным, созерцательным, непосредственным и знанием научным, теоретическим. Признавая язык третьим знанием, знанием языковым, мы должны помнить, что только незначительная частичка наличных способностей и различий физического и общественного мира обозначается в данный момент в речи человеческой. В одном языке отражаются одни группы внеязыко-

вых представлений, в другом – другие. То, что некогда обозначалось, лишается со временем своих языковых экспонентов; с другой стороны, особенности и различия, ранее вовсе не принимаемые в соображение, в более поздние эпохи развития того же языкового материала могут получить вполне определённые экспоненты (такое, например, различие формальной определённости и неопределённости существительных, свойственное нынче романскому языковому миру, но чуждое состоянию латинского языка). Известные эпохи жизни языка благоприятствуют обнаружению одних сторон человеческой психики в её отношении к внешнему миру, другие – обнаружению других сторон; но в каждый момент жизни каждого языка дремлют в зачаточном виде такие различия, для которых недостаёт ещё особых экспонентов” [Бодуэн де Куртенэ 1963: 79, 83-84].

Из процитированного следует, что а) не всё мыслительное репрезентируется в языковой форме (не имеет своих “экспонентов”) и б) то мыслительное, что отражено в языковом знаке, в разных языках и на разных стадиях развития одного языка может быть отражено по-разному.

А.А. Потебня выдвигает идею о нетождественности мыслительного и языкового путём противопоставления так называемого “ближайшего” (т.е. собственно языкового) значения и значения “дальнейшего”, соотнесённого со сферой неязыкового знания (сохранения) [Потебня 1958: 19-20].

М.В. Никитин трактует концепт как категорию мыслительную [Никитин 1974: 5], языковое же (семиотическое) значение он определяет как “концепт, связанный знаком” [Никитин 1974: 18]. Действительно, когда дискретный элемент сознания – концепт – увязывается с некоторым языковым содержанием, последнее получает статус десигнатной части словесного знака, определяемой данным концептом.

Установив факт нетождественности концептивного и семантического планов, попытаемся раскрыть суть взаимоотношений между ними. В этом плане заслуживает внимания мысль А.В. Бондарко о том, что семантические категории относятся к понятийным (концептивным) как варианты к инвариантам [Бондарко 1973: 12-13; Бондарко 1974: 59]. Подобный подход позволяет избежать разного рода крайностей в трактовке рассматриваемой проблемы, которые выражаются либо в отрыве семантической сферы от концептивной,

либо в их отождествлении. Преимущество же такого подхода состоит в том, что, с одной стороны, подчёркивается нетождественность сферы семантики и сферы концептов, а с другой – чётко определяется неразрывный характер связи между ними.

Действительно, концепты и значения не находятся во взаимно однозначном соответствии. Концепты являют собой относительно стабильный и устойчивый когнитивный слепок с внеязыкового мира, так как связаны с ним более непосредственно, чем категории семантики. Последние относятся к явлениям языка, причём не только языка вообще (“глубинная семантика” у А.В. Бондарко), но и конкретного данного языка со всеми присущими ему отличительными особенностями (“поверхностная семантика” [Бондарко 1973: 12-13]). В связи с этим может иметь место определённая асимметрия между концептивным и семантическим планами. Проиллюстрируем это на примере часто приводимых для подобных целей предложений типа а) *Рабочие строят дом.* – б) *Дом строится.*

Рассмотрим соотношение между концептивной (понятийной) категорией агенса и соответствующей семантической категорией (или, в терминологии семантического синтаксиса, ролью, падежом).

Концепт агенса реализуется в предложении а) так же, как и семантическая роль агенса в слове “рабочие”. Здесь можно констатировать случай ролевого соответствия семантического плана концептивному. В примере б) семантическая категория агенса отсутствует по той причине, что нет самого словесного знака, десигнатная часть которого и определяла бы его значение, его семантику. В то же время агенс как концептивная категория реально присутствует в сознании. Тот факт, что в предложении б) нет специализированного словесного знака, формализующего указанный концепт и выражающего своей материальной, десигнаторной стороной соответствующую семантическую категорию, не свидетельствует об отсутствии у говорящего или слушающего понятия об активно и целенаправленно действующем лице, сознательно направляющем свою деятельность на определённый объект (т.е. об агенсе). Следует со всей определённостью подчеркнуть, что знаковая (а значит, и семантическая) невыраженность концепта вовсе не свидетельствует о том, что его существование в сознании менее реально, чем в том

случае, когда он находит своё выражение в знаке. Представление о том, что действие строительства дома (как в наших примерах) осуществляется кем-то, неизменно присутствует в нашем осмыслении ситуации. Отсутствие слова с агентивным значением в реальном речевом высказывании может как раз свидетельствовать о том, что говорящий расценивает тот факт, что дом не может строить себя сам, что дом всегда строится кем-то, как некую естественную, привычную, хорошо известную из жизненного опыта, само собой разумеющуюся данность. Если коммуникативное задание высказывания, его прагматическая установка не предполагают заострить внимание собеседника на том, кто именно совершает действие, то отсутствие обозначающего агенса слова может быть признано коммуникативной нормой. Известно, что речевая деятельность имеет тенденцию к экономии средств выражения, опусканию всего коммуникативно избыточного, что коррелирующие с предложением концептивные структуры, в силу их обусловленности онтологической сферой, никогда не поддаются какого-либо рода “понятийной редукции”, всегда оставаясь концептивно наполненными. Следует упомянуть, что возможность внешней невыраженности категорий концептивного плана предусмотрена и теорией И.И. Мещанинова: “Без их (понятийных категорий. – А.Х.) выявления в языке они остаются в области сознания” [Мещанинов 1978: 240].

Итак, ещё раз подчеркнём, что указание на имеющую место асимметрию между концептивной и семантической сферами следует понимать как отсутствие жёстких взаимно однозначных отношений между ними (такие отношения между ментальным субстратом и его производной, в терминах которых мы в последующем изложении опишем концептивный и семантический уровни, невозможны в принципе). Даже если идеосемантическая система данного языка не “предусмотрела” специального аналога какому-либо концепту, этот концепт может быть описательно выражен в речи посредством синтагматической конфигурации словесных знаков.

Таким образом, соотношение концепта и значения определяет их онтологическим статусом. Концепты – явление мыслительное, основная форма осуществления понятийного мышления. Это понятийный инвентарь, аппарат, находящиеся в распоряжении человека; в сумме они составляют тот понятийный фонд, из которого извлекаются мыслительные единицы для осуществления речемыш-

лительного процесса. Значение – феномен языковой. Формируясь на основе соответствующих концептов, имеющих универсальную природу, языковые значения конституируют десигнатную часть словесных знаков, носящих идиоэтнический характер и обусловленных типологическими особенностями конкретных языков.

Перейдем теперь к рассмотрению сущности, уже не раз вскользь упоминавшейся под названием “понятийные категории”.

### 2.1.5. Понятийные категории

Впервые термин “понятийные категории” был введён в научный обиход О. Есперсеном в его ставшей классической работе “Философия грамматики”, увидевшей свет в 1924 году О. Есперсен признает, что “наряду с синтаксическими категориями, или кроме них, или за этими категориями, зависящими от структуры каждого языка, в том виде, в каком он существует, имеются ещё внеязыковые категории, не зависящие от более или менее случайных фактов существующих языков. Эти категории являются универсальными, поскольку они применимы ко всем языкам, хотя редко выражаются в этих языках ясным и недвусмысленным образом. <...> За отсутствием лучшего термина я буду называть эти категории понятийными категориями” [Есперсен 1958: 57-58]. Не исключая традиционного подхода к изучению языков – от формы к содержанию (семиологический подход), О. Есперсен, как и его современник Ф. Брюно, считает важным метод исследования языка с внутренней стороны, изнутри, идя от содержания к форме, закладывая, таким образом, основы ономастиологии. Именно при таком подходе становится очевидной та существенная роль, которую играют в успехе лингвистического исследования понятийные категории, и встаёт вопрос определения их онтологии и функций [Худяков 1999].

Термин “понятийные категории”, как отмечалось выше, принадлежит О. Есперсену; было бы, однако, ошибочным считать, что и теория понятийных категорий как мыслительного субстрата языка начала развиваться лишь с трудов этого исследователя. Следует признать, что и до О. Есперсена в языковедческой литературе высказывались предположения о существовании некоей ментальной

сущности, предваряющей языковые (в особенности грамматические) построения и лежащей в их основе.

Есть основания полагать, что первым существование “универсального компонента” языка (или, скорее, языков) с собственно лингвистических позиций обосновал В. фон Гумбольдт в связи с проводившимися им типологическими исследованиями и созданием морфологической классификации языков. С.Д. Кацнельсон следующим образом резюмирует встречающиеся в разных работах высказывания Гумбольдта на эту тему: “Универсальные категории – это по большей части мыслительные формы логического происхождения. Они образуют систему, являющуюся общей основой языка, но непосредственно в строй языка не входящую. Вместе с тем и собственно логическими назвать их нельзя, так как, будучи обращены лицом к грамматике, они обнаруживают специфические черты. Можно сказать, что они составляют область “логической грамматики”, которая по существу не является ни логикой, ни грамматикой; это идеальная система, не совпадающая с категориями отдельных языков. В каждом отдельном языке категории идеальной логики преобразуются в конкретные грамматические категории” [Кацнельсон 1972: 12-13]. Хотя “универсальные категории” Гумбольдта еще не совсем “понятийные категории” Есперсена (что вполне естественно: Гумбольдт по большей части типолог, а Есперсен грамматист), но тем не менее совпадение сущностных характеристик тех и других поразительно.

Проходит некоторое время, и Г. Пауль в работе “Принципы истории языка”, опубликованной в 1880 году, достаточно подробно останавливается на подобного рода категориях, именуя их в соответствии с традициями своего времени и в духе младограмматического учения “психологическими категориями”. Г. Пауль считает, что всякая грамматическая категория возникает на основе психологических, причём первая представляет собой не что иное, как внешнее выражение второй. Как только действительность психологической категории начинает обнаруживаться в языковых средствах, эта категория становится грамматической. Заметим, что данное положение очевидным образом перекликается с идеей В. фон Гумбольдта о “преобразовании” рассматриваемых им универсальных категорий в конкретные грамматические категории. По Паулю, с созданием грамматической категории действительность психологиче-

ской не уничтожается. Психологическая категория независима от языка (ср. цитированное выше высказывание О. Есперсена о внеязыковом характере понятийных категорий и о том, что они не зависят от более или менее случайных фактов существующих языков); существуя до возникновения грамматической категории, она продолжает функционировать и после её возникновения, благодаря чему гармония, существовавшая первоначально между обеими категориями, с течением времени может быть нарушена. Грамматическая категория, по мнению Пауля, будучи связана с устойчивой традицией, является в известной мере “застывшей” формой психологической категории. Последняя же постоянно остаётся чем-то свободным, живым, принимающим различный облик в зависимости от индивидуального восприятия. Кроме того, изменение значения очень часто способствует тому, что грамматическая категория не остаётся адекватной категории психологической. Пауль считает, что если впоследствии появляется тенденция к выравниванию, то происходит сдвиг грамматической категории, при котором могут возникнуть своеобразные отношения, не укладывающиеся в существовавшие до того категории. Далее автор делает важный методологический вывод, касающийся лингвистической ценности анализа процессов взаимодействия “психологических” и грамматических категорий: “Рассмотрение этих процессов, которые мы можем проследить довольно подробно, даёт нам вместе с тем возможность судить о первоначальном возникновении грамматических категорий, недоступных нашему наблюдению” [Пауль 1960: 315].

Примерно в одно время с О. Есперсеном развивает теорию концептивной основы языка французский лингвист Г. Гийом. Не получившая достаточного внимания и заслуженной оценки во время жизни автора, сейчас теория Г. Гийома является объектом пристального изучения и анализа. Рассматривая вопросы о методе анализа языка [Guillaume 1984: 17-25], о сущности лингвистического знака [Guillaume 1984: 69-76], о генезисе слова и его системной природе [Guillaume 1984: 109-130] и другие, Г. Гийом постоянно обращается к понятийному фактору, стремится к изучению мыслительного и языкового в их тесной взаимосвязи. До выхода в свет в 1992 году книги Г. Гийома “Принципы теоретической лингвистики” [Гийом 1992] его концепция была известна русскоязычному читателю прежде всего благодаря трудам Е.А. Реферовской и

Л.М. Скрелиной, посвятивших анализу научного наследия Гийома целый ряд работ [Реферовская 1967; Скрелина 1971; Скрелина 1981; Скрелина 1987]. И хотя эти авторы расходятся в трактовке некоторых положений гийомовской лингвистики, оба учёных отмечают важнейшее место в ней понятийного компонента.

В настоящее время есть все основания считать, что Г. Гийому удалось создать собственную лингвистическую школу, получившую название “векторная лингвистика”, или “психосистематика”. На её принципах уже созданы описания отдельных подсистем английского языка (например, имени и артикля [Hewson 1972], а также глагола [Hirtle 1975]). К числу учеников и последователей Г. Гийома относятся Р.-Л. Вагнер, П. Имбс, Р. Лафон, Б. Потье, Ж. Стефанини, Ж. Муанье, М. Мольо, Ж. Майар и др. Давая оценку их лингвистическим трудам, Л.М. Скрелина считает главной и характерной чертой этих учёных пристальное внимание к конкретным языковым фактам, которое идёт от Г. Гийома, и стремление рассматривать их “изнутри”, со стороны означаемого, отталкиваясь от понятийных категорий при объяснении функционирования элементов в речи [Скрелина 1987: 74].

---

Вслед за О. Есперсенем ставит вопрос о природе понятийных категорий И.И. Мещанинов. Первая работа учёного, положившая начало разработке им теории понятийных категорий, была опубликована в 1945 году [Мещанинов 1945]. За ней последовал еще целый ряд трудов, посвящённых этой проблеме [Мещанинов 1948, Мещанинов 1958, Мещанинов 1967, Мещанинов 1978]. Толчком к этим исследованиям послужила недостаточная разработанность вопроса о взаимных связях языка с мышлением, особенно тот факт, что “установлению общей точки зрения на связь языка с мышлением в значительной степени препятствовало слепое и безапелляционное позаимствование из учебников логики и психологии, сводящееся к попыткам истолкования языковых фактов под углом зрения выработанных в них положений. Факты языка освещались со стороны, вместо того, чтобы получить свое объяснение внутри себя” [Мещанинов 1945: 5]. Кроме того, проводимые И.И. Мещаниновым типологические исследования наталкивали учёного на мысль, что различия между языками носят не абсолютный, а относительный характер и касаются в основном формы экспликации

содержания, в то время как такие понятия, как предметность и действие, субъект, предикат, объект, атрибут с их модальными оттенками, а также отношения между словами в составе предложения оказываются общими для всех языков [Мещанинов 1958: 5]. Выявление данного универсального мыслительного субстрата и стало в работах И.И. Мещанинова проблематикой, связанной с анализом понятийных категорий.

Среди других наиболее известных отечественных исследователей, внёсших вклад в разработку темы мыслительных основ языка, следует назвать С.Д. Кацнельсона. Эту тему С.Д. Кацнельсон разрабатывает применительно к трём основным направлениям лингвистических исследований: общая грамматика и теория частей речи; проблема порождения высказывания и речемыслительные процессы; типологическое сопоставление языков. Рассмотрим все три указанных направления несколько более подробно.

Выступая против формального понимания частей речи, основанного на выделении у слов формальных признаков и специфических категорий, которые вырастают на основе флективной морфологии, С.Д. Кацнельсон, вслед за Л.В. Щербой, в качестве определяющего момента при отнесении слова к той или иной категории считает значение слова [Кацнельсон 1986: 118-119]. Таксономия элементов языка, таким образом, проводится им на ономаσιологической основе – от значения к форме (ср. приведённые выше точки зрения по данному вопросу О. Есперсена и Ф. Брюно). По Кацнельсону, “в самих значениях слов, независимо от того, оформлены ли они флективно или по нормам иной морфологии, существуют некие опорные пункты, позволяющие говорить о существительных, прилагательных и т.д.” [Кацнельсон 1986: 119]. Такими “опорными пунктами” и служат понятийные и семантические категории.

В теории речепорождения С.Д. Кацнельсон придерживается типичного для представителей генеративной семантики понимания процесса порождения речи, при котором исходной структурой порождающего процесса и одним из базисных понятий всей концепции является пропозиция. Последняя понимается в качестве некоего мыслительного содержания, выражающего определённое “положение дел”, событие, состояние как отношение между логически равноправными объектами [Кацнельсон 1986: 135]. В составе пропозиции выделяются члены-носители отношения и связывающий

их реляционный предикат. При этом каждый из членов пропозиции сам по себе не является ни подлежащим, ни прямым дополнением, а в составе возникших на базе пропозиции предложений может оказаться в любой из таких синтаксических функций [Кацнельсон 1970: 108]. “Пропозиция содержит в себе момент образности и в этом отношении более непосредственно отражает реальность, чем предложение. Подобно картине она изображает целостный эпизод, не предписывая направления и порядка рассмотрения отдельных деталей” [Кацнельсон 1984: 6]. Пропозиции, выступая в роли операционных схем на начальной фазе речепорождающего процесса, хотя и ориентированы на определённое смысловое содержание, но сами по себе, без заполнения открываемых ими “мест” определёнными значениями, недостаточно содержательны для того, чтобы служить основой для дальнейшего преобразования их в предложения. Эти структуры нуждаются в особых единицах, восполняющих пропозициональные функции. Такими единицами являются понятия [Кацнельсон 1986: 144-145]. Как видно из этих рассуждений учёного, допускается не только существование некоего ментального субстрата, имеющего неязыковой характер и служащего основой речепорождающего процесса, но и отмечается его гетерогенность, сложная структурированность.

Что касается типологических изысканий, то, согласно С.Д. Кацнельсону, вовлечение содержательной стороны в орбиту этих исследований необходимо в силу хотя бы того факта, что и в области содержания языка обнаруживаются черты как сходства, так и различия [Кацнельсон 1972: 11]. Подчёркивая принципиальную возможность перехода от семантической системы одного языка к семантической системе другого языка, учёный делает акцент на универсальных, общечеловеческих мыслительных процессах, лежащих в основе речетворческой деятельности. С другой стороны, и “... переход от логико-семантической системы к идиосемантической системе данного языка не представляет значительных трудностей, так как, оставаясь в пределах одного языка, мы всегда знаем, когда **конфигурация понятийных компонентов** образует фиксированное нормой значение и когда ей соответствует не одно, а несколько значений. Когда же мы сталкиваемся с новым для нас языком, эти границы исчезают в силу иного распределения **понятийных компонентов** между значениями по сравнению с тем, с кото-

рым мы сжились. Именно **понятийные компоненты** значений являются *conditio sine qua non* их типологической (межъязыковой) конгруэнтности” [Кацнельсон 1972: 117] (выделено везде нами. – А.Х.).

Можно подытожить воззрения С.Д. Кацнельсона на значимость ментального предъязыкового субстрата следующим образом: “Мыслительные категории составляют основу грамматического строя, поскольку с их помощью достигается осмысление чувственных данных и преобразование их в пропозиции” [Кацнельсон 1986: 151].

Исследования в русле данной проблематики получили своё дальнейшее развитие в трудах А.В. Бондарко в связи с разработкой этим автором категории функционально-семантического поля [Бондарко 1973; Бондарко 1987], а также предпринятым им анализом функционально-семантических [Бондарко 1971], семантических/структурных категорий [Бондарко 1976 б]. Особо следует выделить статью А.В. Бондарко “Понятийные категории и языковые семантические функции в грамматике”, специально посвящённую рассмотрению соотношения этих сущностей и анализу языковой семантической интерпретации понятийных категорий [Бондарко 1974]. В статье также рассматривается вопрос об универсальности понятийных категорий.\* В целом следует указать, что А.В. Бондарко, неоднократно отмечая тесную связь своих теоретических изысканий с воззрениями О. Есперсена и И.И. Мещанинова [Бондарко 1987: 11; Бондарко 1971: 5; Бондарко 1973: 11-12; Бондарко 1974: 54], выражает в то же время и собственное, несколько отличное отношение к рассматриваемой проблеме. Опираясь на теорию понятийных категорий, А.В. Бондарко вместе с тем несколько отходит от неё. Избранное им направление определяется стремлением

---

\* Обратим, однако, внимание на следующее высказывание Р.М. Фрумкиной: “Но если *концепт* – объект идеальный, т.е. существующий в нашей психике, то следует задуматься о том, как соотносятся между собой ментальные образования, соответствующие одному *концепту*, в психике *разных* людей. Естественно думать, что за одним и тем же именем (словом) в психике разных лиц могут стоять разные ментальные образования. Тем самым не только разные языки “концептуализируют” (т.е. преломляют) действительность по-разному, но и за одним и тем же словом одного языка в умах разных людей могут стоять разные концепты” [Фрумкина 1996: 59]. Соглашаясь с идеей “индивидуальной окрашенности” концептивных (понятийных) сущностей в сознании разных людей, мы не считаем, что этот факт опровергает принципиальную универсальность ментальных процессов.

последовательно трактовать рассматриваемые категории как категории языковые, имеющие языковое содержание и языковое выражение. С этим связан и отказ учёного от термина “понятийная категория”, поскольку, как он считает, этот термин даёт основания думать, что имеются в виду логические понятия, а не категории языка [Бондарко 1971: 8].

Значительный вклад в исследование понятийной сферы мышления в её отношении к языку внёс американский лингвист У.Л. Чейф. В своем наиболее известном труде “Значение и структура языка” он рассматривает значение с точки зрения концептуальной (ideational) теории языка. Эта теория утверждает, что идеи, или понятия, являются реальными сущностями в сознании людей и что посредством языка они обозначаются звуками, так что могут быть переданы из сознания одного индивидуума в сознание другого [Чейф 1975: 91]. У.Л. Чейф считает, что понятийная структура и поверхностная структура суть различные вещи: и если поверхностная структура представлена материальными средствами языка и дана нам в чувственном восприятии, то понятия находятся глубоко внутри нервной системы человека [Чейф 1975: 92]. Согласно У.Л. Чейфу, мы не можем сделать понятийных спектрограмм, рентгеноскопий или записей на магнитную ленту, чтобы неторопливо и внимательно исследовать их. Среди прочих процессов У.Л. Чейф рассматривает в своей книге процесс коммуникации с точки зрения применения коммуникантами понятийного аппарата, которым они располагают [Чейф 1975: 29], анализирует проблему сочетания увеличивающегося инвентаря понятий со строго ограниченным набором языковых символов [Чейф 1975: 38-39], пишет о нелинейном характере понятий [Чейф 1975: 40]. Он характеризует механизм общения как возбуждение и активизацию говорящим средствами языка понятийных сущностей в сознании слушающего [Чейф 1975: 93]. Вместе с тем У.Л. Чейф полностью отдаёт себе отчёт в сложности исследования понятийной сферы: “Сказать, что понятия существуют, ещё не значит, что мы в состоянии в мгновение ока выделить их в своём сознании или что у нас есть удовлетворительные способы их представления и рассмотрения” [Чейф 1975: 95].

Кратко охарактеризовав самые основные исследования в области понятийных категорий в историческом аспекте, перейдём к изложению собственно теоретических аспектов этой проблемы.

Коль скоро приходится признать наличие в человеческом сознании понятийных категорий, то в полный рост встаёт проблема их онтологического статуса, определения той сферы, того “этажа” сознания, где они коренятся, а также их отношения к явлениям действительности и категориям логики и языка.

По этому поводу исследователями высказываются различные точки зрения, часто не лишённые некоторой двойственностью, а иногда и внутренней противоречивости. Так, О. Есперсен, устанавливая внеязыковой характер понятийных категорий [Есперсен 1958: 58], в дальнейшем изложении настаивает, что необходимо всегда помнить, что они должны иметь лингвистическое значение. О. Есперсен считает, что мы хотим понять языковые (лингвистические) явления, а потому было бы неправильно приступать к делу, не принимая во внимание существование языка вообще, классифицируя предметы и понятия безотносительно к их языковому выражению [Есперсен 1958: 60].

Размышляя о статусе понятийных категорий, И.И. Мещанинов решительно указывает на необходимость отграничения их от категорий логики и психологии [Мещанинов 1945: 15] и характеризует их следующим образом: “Приходится проследивать в самом языке, в его лексических группировках и соответствиях, в морфологии и синтаксисе выражение тех понятий, которые создаются нормами сознания и образуют в языке выдержанные схемы. Эти понятия, выражаемые в самом языке, хотя и неграмматическою формою грамматического понятия, остаются в пределах языкового материала. Поэтому они не выступают из общего числа языковых категорий. В то же время, выражая в языке нормы действующего сознания, эти понятия отражают общие категории мышления в его реальном выявлении, в данном случае в языке” [Мещанинов 1945: 14-15]. Однако в одной из своих последующих работ И.И. Мещанинов, вступая в противоречие со своими прежними взглядами, трактует понятийные категории как разновидность логикограмматических категорий [Мещанинов 1960: 16].

В значительной степени перекликается с указанными взглядами О. Есперсена и И.И. Мещанинова (в той их части, где оба ис-

следователя признают несобственно-языковой характер понятийных категорий) точка зрения С.Д. Кацнельсона, по мнению которого понятия и содержательные грамматические функции, в силу их прямой или косвенной обусловленности внеязыковой реальностью и в силу многообразия способов их выражения в языке, в известных границах независимы от языка. Поскольку, однако, способ выражения не “нейтрален” по отношению к содержанию, исследование языкового содержания невозможно без учёта условий его распределения по формам языка [Кацнельсон 1972: 20].

В.М. Жирмунский относит понятийные категории к логико-психологическим категориям языка [Жирмунский 1965: 17].

Интересной представляется в плане анализа рассматриваемой проблемы концепция А.В. Бондарко, который считает необходимым различение собственно понятийных (логических, мыслительных) категорий и двусторонних языковых единств типа устанавливаемых им функционально-семантических полей. Эти поля включают в себя семантические элементы в интерпретации именно данного языка и конкретные элементы плана выражения также именно данного языка. Отсюда вытекает трактовка этих полей как единств, находящихся на поверхностном уровне, что, однако, не означает, что исключается связь с уровнем глубинным. Такую связь автор усматривает в том, что семантические функции, носителями которых являются элементы данного поля, представляют собой “поверхностную” реализацию определённой “глубинной” инвариантной понятийной категории или комплекса таких категорий. Итак, можно предположить, что собственно понятийные категории, имеющие универсальный характер, относятся к глубинному уровню, тогда как конкретно-языковая семантическая интерпретация данной понятийной категории, организация языковых средств, служащих для выражения данного значения, распределения семантической нагрузки между морфологическими, синтаксическими, лексическими и словообразовательными средствами, – всё это относится к поверхностному уровню [Бондарко 1973: 12].

А.В. Бондарко предлагает идею выделения нескольких уровней контенсивной стороны языка. Семантика, согласно его точке зрения, есть и на глубинном, и на поверхностном уровне. Глубинная семантика характеризуется им как не имеющая конкретно-языковой организации и интерпретации и не закреплённая за опре-

деленными языковыми средствами. Поверхностная же семантика, базируясь на глубинной, относится уже к данному, конкретному языку. Глубинные понятийные инварианты здесь выступают в вариантах, общая конфигурация которых и многие детали характерны именно для данного языка. Таким образом, понятийные категории играют функционально активную роль и по отношению к глубинной семантике, где они реализуются в вариантах общезначимых, не имеющих конкретно-языковой специфики, и по отношению к поверхностной семантике, где они реализуются в таких вариантах, которые составляют специфическую особенность именно данного языка или группы языков в отличие от других языков [Бондарко 1973: 12-13].

В одной из своих последующих работ А.В. Бондарко приходит к мысли о необходимости разграничения и понятийных категорий. Он выделяет два их типа: фундаментальные понятийные категории, являющиеся облигаторными и универсальными, и нефундаментальные категории – факультативные и неуниверсальные [Бондарко 1974: 78]. Такое членение семантических и понятийных категорий свидетельствует о тонком анализе объекта исследования и об осознании ученым всей сложности и многогранности системных отношений между сущностями, не данными человеку в непосредственном чувственном восприятии. К сожалению, приходится констатировать, что оборотной стороной такой классификации является некоторая ее громоздкость, не всегда достаточно четкая выявленность отношений между предлагаемыми уровнями, иногда отсутствие ясной делимитации одного уровня от другого. Не вполне понятной, например, представляется разница между нефундаментальными понятийными категориями и категориями поверхностной семантики. Видимо, сознавая это, А.В. Бондарко пишет, что, может быть, нефундаментальные понятийные категории следовало бы назвать не понятийными категориями, а как-либо иначе.

Итак, какое же место занимают понятийные категории в структуре человеческого сознания и каковы их функции? Представляется вполне корректной позиция И.И. Мещанинова по этому вопросу: “Они служат тем соединяющим элементом, который связывает, в конечном итоге, языковой материал с общим строем человеческого мышления, следовательно, и с категориями логики и психологии” [Мещанинов 1945: 15]. В этом суждении несколько

очень важных идей. Во-первых, показано, что понятийные категории как бы двунаправлены: одной своей стороной они обращены к универсальным логическим и психологическим категориям и законам и через них связаны с объективной действительностью; другой стороной они обращены к языковому материалу и находят свое выражение в фактах языка (ср. отмечаемое А.И. Варшавской свойство “двуликости” понятийных категорий [Варшавская 1984: 201]). Во-вторых, понятийные категории, располагаясь между логико-психологическими и языковыми, не являются в собственном смысле ни теми, ни другими; они обладают собственным, относительно самостоятельным статусом. В-третьих, в приведённом высказывании И.И. Мещанинова недвусмысленно выражена идея о “многоэтажности” человеческого сознания, где каждый “этаж” непосредственно связан с соседними, относительно независим от них в силу наличия специфических функций и вместе со всеми образует единое здание человеческого менталитета.

Прав был и О. Есперсен, разграничивая понятийную и языковую сферы и устанавливая таким образом нетождественность категорий понятийных и языковых: “Не раз нам придётся констатировать, что грамматические категории представляют собой в лучшем случае симптомы, или тени, отбрасываемые понятийными категориями; иногда “понятие”, стоящее за грамматическим явлением, оказывается таким же неуловимым, как кантовская вещь в себе” [Есперсен 1958: 60].

Таким образом, понятийные (концептивные) категории представляют собой опосредованный универсальными законами мышления результат человеческого опыта и являются основой семантических структур языка, необходимой предпосылкой функционирования языковой системы в целом. Здесь следует сделать два замечания.

Первое. Говоря, что понятийные категории в генетическом плане как бы “предваряют” языковые категории, предшествуют им, необходимо учитывать факт гетерогенности понятийных категорий. Так, если понятийная категория количественности формируется в сознании и затем оформляется в языке в результате отражения количественных параметров объектов реальной действительности, то такие понятийные категории, как модальность – и в особенности ее аксиологический тип, “идут” не от действительности, а от чело-

века, обуславливаются активностью человеческого сознания, его способностью к весьма сложному и неоднонаправленному взаимодействию с внешней средой. Н.А. Кобрин выделяет следующие три типа понятийных категорий. Первый тип – такие, которые представляют отражение реальности в виде форм и предметов мысли (то есть совпадают с понятиями в философии). Это определённые смысловые сущности, получающие отражение в семантике, либо в лексических группировках слов, либо в частеречных классах, в зависимости от уровня рассмотрения, точнее, осмысления объекта. Для таких понятийных категорий границы между их семантикой и понятийным смыслом практически размыты. В лингвистике эта размытость проявляется в том, что в семантическом синтаксисе понятийные концепты часто называются семантическими ролями (актантами). Другой тип понятийных категорий – параметры, признаки, характеристики, такие как вид, время, залог, наклонение, род, число, падеж. Для этих понятийных категорий однозначная соотносимость с формой чаще всего отсутствует. Третий тип – это релятивные, или операционные, понятийные категории, то есть такие, которые лежат в основе схем организации понятий. Наиболее характерным признаком релятивной понятийной категории является сетка понятий, отражающих соотношение таких референтов, как действие или событие с вовлечёнными в них предметами мысли. Такое соотношение является образным отражением реальной ситуации, и оно превращается в пропозицию после того, как выбран реляционный предикат на семантическом уровне и заполнены все “места” реляционной схемы [Кобрин 1989: 43-45] (см. также [Худяков 1990 б; Худяков 1989 а; Худяков 1989 в]).

Второе. Тезис о том, что понятийные категории являются необходимой предпосылкой адекватного функционирования всей системы языка, нуждается в пояснении. Язык, как известно, имеет уровневую и аспектную организацию, и каждый уровень и аспект относится к понятийной сфере по-разному. Если количество и номенклатура единиц фонетического уровня определяются физиологическими возможностями артикуляционного аппарата и в целом с единицами понятийной сферы не соотносятся, то единицы лексической системы языка регулярно коррелируют с фондом понятийных концептов. Наиболее же явно “реагирует” на понятийную сферу

грамматическая система в силу её приближенности к общим законам организации мышления.

Вряд ли современная наука ставит перед собой задачи более глобальные и сложные, чем исследование закономерностей и свойств человеческого сознания. Существенный вклад в анализ свойств этого уникального объекта вносит и лингвистика. А взгляд на язык иначе как на “материализацию сознания человека” [Колшанский 1975: 7] неизбежно влечёт за собой повышенное внимание к ментальным основам языковых построений. Что же касается собственно лингвистической релевантности ментального субстрата, то одно из лучших её обоснований находим у Г.В. Колшанского: “Признание того факта, что несмотря на относительную самостоятельность материальных, звуковых форм языка движущее начало лежит за пределами этих форм, означает лишь ещё одно подтверждение положения о двусторонности языка, о речемыслительной его сущности, встречающегося в языкознании в самых различных вариантах начиная от принципа билатеральности языкового знака (Ф. Соссюр и Л. Ельмслев), далее идеи о понятийных категориях в языке (О. Есперсен и И.И. Мещанинов) и кончая определением языка как “речевого мышления” (С. Кацнельсон)” [Колшанский 1975: 65].

Определив инструментарий основных понятий, необходимых при описании семиозиса сентенционального знака, перейдём теперь непосредственно к анализу сущности этого процесса.

## **2.2. СЕМИОЗИС**

### **2.2.1. Общие положения**

Взгляд на предложение как на законченный продукт процесса семиозиса отнюдь не нов и является одним из правомерных аспектов синтаксической теории (см., напр., [Москальская 1981: 10]). До сих пор, однако, остаются дискуссионными такие вопросы, как механизм акта семиозиса, типы семиозиса, соотношение семиозиса слова и семиозиса предложения (лексический vs. сентенциональный семиозис), как, впрочем, и само понятие семиозиса. Начнём с последнего.

Несмотря на широкую и многолетнюю практику рассмотрения явлений языка с семиотических позиций, мы с удивлением обнаружили отсутствие специальной словарной статьи, посвящённой семиозису, как в Лингвистическом энциклопедическом словаре [Лингвистический энциклопедический словарь 1990], так и в Логическом словаре-справочнике Н.И. Кондакова [Кондаков 1976]. Такая лексикографическая лакуна может свидетельствовать, на наш взгляд, о двух вещах: во-первых, о том, что понятие семиозиса не является сколько-нибудь прочно отстоявшимся и закрепившимся в более или менее фиксированных рамках в соответствующих науках, а во-вторых, о том, что ни логика, ни лингвистика не считают его в полной мере своим, передоверяя его одна другой. В конкретной же исследовательской практике оказывается, что понятие семиозиса проходит по ведомству как той науки, так и другой с множеством точек соприкосновения и не всегда чёткими принципами делимитации. Связано это с тем, что феномен знака, в применении к которому развивается семиотическая теория, оказывается объектом междисциплинарным, общим для лингвистики и семиотики. Правомерной поэтому будет попытка подойти к описанию сущности языкового семиозиса через описание базовых свойств языкового знака.

Не ставя перед собой цели дать аналитический обзор всех существующих теорий языкового знака, что само по себе потребовало бы отдельной работы, ограничимся указанием лишь на некоторые наиболее принципиальные моменты. Во-первых, в противоположность унилатеральной концепции языкового знака [Солнцев 1977] нами принимается билатеральная концепция, восходящая к идеям Ф. де Соссюра и позже в самом общем виде сформулированная А.В. Исаченко. Согласно ей знак есть двусторонняя сущность, состоящая из десигнатора, т.е. внешнего физического события (другие термины: знаконоситель, медиатор, тело знака, экспонент), и десигната, т.е. значения данного знака. Будучи внутриязыковыми сущностями, десигнатор и десигнат совместно выступают в качестве денотатора для обозначения сущностей неязыковой онтологии – денотатов [Исаченко 1961: 32]. Отношение между денотатором и денотатом принято называть денотацией.

Во-вторых, знаковая природа языка трактуется нами широко, т.е. как распространяющаяся не только на морфологический и лек-

сический его уровни, но и на сентенциональный уровень, уровень предложения. Отметим, что в некоторых лингвистических концепциях именно предложение рассматривается в качестве полноценного знака, единицы же низлежащих уровней (морфемы, слова, синтагмы) трактуются как субзнаки, служащие строительным материалом для собственно знаков [Сыроваткин 1978: 25]. Говоря о возможности рассмотрения предложения в номинативном аспекте, т.е. по отношению к обозначаемому факту, Н.Д. Арутюнова ссылается на мнение Л. Прието и Э. Бейссанса, согласно которому полным языковым знаком является не слово или морфема, а высказывание (соответственно предложение), т.е. отнесённая к реальности единица, обладающая денотативным содержанием и представляющая собой законченный продукт семиозиса [Арутюнова 1971: 63]. О возможности выделения в предложении не только предикативного, но и номинативного (т.е. знакового по отношению к обозначаемой ситуации) аспекта пишет Е.С. Кубрякова [Кубрякова 1986]. В качестве знака ситуации рассматривает предложение и В.Г. Гак [Гак 1973].

В-третьих, будем рассматривать знак прежде всего как знак языковой, не пытаясь, подобно Ю.С. Степанову, увидеть проявление семиологических процессов как у низших форм жизни (язык животных, тропизм растений), с одной стороны, так и в области литературы, философии и искусства - с другой [Степанов 1985]. Такая панзнаковость ведёт, на наш взгляд, к размыванию объекта семиологической теории, делая семиологию наукой обо всём. Напротив, вслед за В.В. Мартыновым мы склонны начинать и заканчивать семиологию там, где начинается и заканчивается естественный человеческий язык [Мартынов 1982]. Такое сужение знаковой теории необходимо лингвисту для того, чтобы он мог исследовать семиологию языка с собственно лингвистических позиций и ориентиров, имея в виду нежелательность растворения лингвистической теории в теории общей семиотики как науки о всяких формах знаков и знаковых систем.

Определив основные характеристики языкового знака (билатеральность, выявляемость на различных уровнях языка, невыявляемость вне языка), представляется возможным перейти к анализу связанного с ним явления – семиозиса.

Имеющаяся лингвистическая литература позволяет сделать вывод о том, что семиозис понимается неоднозначно. Думается,

есть основания говорить, по крайней мере, о двух основных точках зрения на него: а) семиозис есть акт обозначения языковым знаком чего-либо, лежащего вне знака; б) семиозис есть процесс конструирования, генезиса знака. Эти две точки зрения носят не взаимоисключающий, а взаимодополняющий характер – действительно, для того, чтобы осуществлять свою денотативную функцию, знак должен быть построен; процесс же построения знака не может не быть обусловлен телеологически, т.е. с учётом его функциональной предназначенности. И тем не менее разграничение этих двух позиций методологически правомерно, ибо позволяет высветить различные стороны семиозиса и выявить различные акценты его исследования.

Отметим, что обе вышеозначенные точки зрения на семиозис (условно говоря, денотативная и генетическая) приложимы к обоим основным единицам языка и основным типам языковых знаков – слову и предложению. Наиболее распространёнными и широко представленными являются денотативные концепции семиозиса лексических и синтаксических знаков (см., напр., [Аругтюнова 1971; Шингарёва 1987; Ибраев 1981; Ибраев 1984] и др.). Исторически эти концепции восходят к семиотической трактовке лексического знака в духе Ч.С. Пирса и логико-истинностной трактовке синтаксического знака в духе представителей школы аналитической философии естественного языка. Гораздо менее распространёнными являются генетические концепции семиозиса, т.е. те, которые в основу подхода к знаку кладут мыслительные механизмы его образования. Одной из таких концепций может считаться, в частности, лингвистическое учение Г. Гийома, пользовавшегося при описании языкового материала такими терминами, как хроногенез, праксеогенез, морфогенез, лексигенез и др. с целью выявления динамического (кинетического) характера формирования как отдельных элементов знаковой системы языка, так и языковой системы в целом [Гийом 1992].

При анализе ментальных операций, имеющих результатом возникновение того или иного языкового знака, краеугольными понятиями терминологической системы Гийома являются оперативное время и коренной бинарный тензор. Рассмотрим их подробнее.

Оперативное время понимается как время совершения ментальных операций, ведущих к построению языкового знака в каж-

дом конкретном речемыслительном акте, и противопоставляется времени историческому, т.е. такому, в ходе которого языковая система эволюционирует, создавая потенции в каждый отдельный момент своего развития для осуществления актов мышления и речи с использованием имеющегося в наличии языкового материала [Гийом 1992: 124]. Понятие коренного бинарного тензора описывает движение мысли по оси оперативного времени в направлении от общего к частному (партикуляризация) и затем от частного к общему (универсализация) при порождении языковых знаков [Гийом 1992: 119].

Приёмом описания явлений языка, фактически синтезирующим понятия оперативного времени и коренного бинарного тензора, является предложенная Гийомом методика векторного анализа.\* Суть её заключается в том, что всякий языковой знак рассматривается в динамике своего построения в виде векторной линии, обозначающей его развёртывание по горизонтали, и анализ этого развёртывания производится нанесением на векторную линию, представляющую языковое явление в целом, поперечных прерывающих (разделяющих) сечений [Гийом 1992: 11, 53]. Каждое из таких сечений представляет собой момент перехвата мыслью языкового знака на определённом этапе его становления. При подобном динамическом подходе языковая система предстаёт как результат деятельности живого человеческого разума, как находящаяся в непрерывном движении и изменении. Гийом пишет: “Действительно, всё в языке представляет собой процесс. Что же касается результатов, которые мы видим, они представляют собой, смею утверждать, не более чем иллюзию. Нет существительного, а есть в языке субстантивация, прерванная более или менее рано. Нет прилагательного, а есть адъективация, достигшая большего или меньшего развития к моменту её остановки сознанием. Нет слова, а есть чрезвычайно сложный генезис слова, или лексигенез. Нет времени, есть феномен образования образа времени, т.е. хроногенез...” [Гийом 1992: 136].

Представляющим большую теоретическую ценность для целей данной монографии является постулирование Гийомом принципи-

---

\* Разработке данной методике применительно к анализу семиозиса сентенциального знака будет посвящен следующий раздел настоящей работы.

альной разницы в мыслительном генезисе (в “психогенезисе” по Гийому) словесных и сентенциональных знаков. Слово и предложение, рассматриваемые с точки зрения генерирования их человеческим сознанием, коррелируют с тремя парами противопоставленных понятий: онтогенез – праксеогенез, потенция – реализация, представление – выражение. Онтогенез, развивающийся в историческом времени (см. выше), ведёт к образованию лексических знаков, а праксеогенез, развивающийся в оперативном времени, ведёт к построению знаков сентенциональных. Практикеогенез поэтому может осуществляться лишь при условии и на базе длительного онтогенеза, создающего исходный лексемный материал для последующего операционального его использования в праксеогенезе [Гийом 1992: 137]. Из этого нетрудно придти к выводу о том, что словесный знак в онтогенезе создаётся, а в праксеогенезе воспроизводится; сентенциональный же знак в праксеогенезе создаётся, но может и в качестве окказионального и нехарактерного варианта воспроизводиться – в тех сравнительно редких случаях, когда предложение представляет собой фразеологизм или идиому, извлекаемую из памяти целиком, подобно слову.

Таким образом, рече-языковой акт можно описать как обладающий некоей внутренней хронологией, условно делимой на два этапа: начальная фаза потенции, идущая от словообразующих элементов к построенному слову, и конечная фаза реализации, идущая от слова к предложению, т.е. от потенциальной единицы к реализованной единице. При этом, если мыслительные операции конечной фазы попадают под сознательное наблюдение говорящего (т.е. если сентенциональный знак конструируется осознанно, на основе произвольного выбора отдельных вариантов из множества имеющихся в потенции), то мыслительные операции начальной фазы, т.е. лексигенеза, совершенно не попадают под такое сознательное наблюдение, будучи полностью завершёнными к моменту акта речи. “Иначе говоря, наряду со словами, уже построенными в голове говорящего, фраза\* предстаёт в психомеханизме речевой деятельности в виде конструкции, которую надо построить. Так что хронологически слова представляют собой законченные, пройденные,

---

\* Термин “фраза” используется Гийомом в значении “предложение”.

имеющиеся конструкции, тогда как фразы представляют собой построения, которые следует осуществить” [Гийом 1992: 84, 85].

Различие в построении лексического и синтаксического знаков описывается Гийомом и посредством терминов “представление” и “выражение”. Выражение происходит на основе представления, т.е. на основе единиц потенции (слов). Выражаемое есть речь, состоящая из актов выражения, которые по завершении называются единицами реализации. Предложение, следовательно, представляет собой продукт двух последовательных ментальных перехватов: лексического, в результате которого сознанием конструируется единица представления, т.е. обеспечивается рождение слова, и фразового, в результате которого создаются единицы выражения и обеспечивается рождение предложения [Гийом 1992: 91].

Отметим, что вышеприведённые идеи Гийома относительно генезиса разноуровневых единиц языка оказываются удивительным образом созвучны естественно-научным представлениям об эволюции живой и мёртвой природы и, в частности, принятому в биологии противопоставлению филогенеза и онтогенеза. Так, рецензент книги Гийома физик В. Белошеев в статье, опубликованной на страницах журнала сугубо лингвистического профиля “Физиология человека”, высоко оценивая общенаучную и общеметодологическую значимость теории Гийома, ставит ей в параллель некоторые воззрения в теоретической физике и биологии. Интересно, что причины не слишком быстрого распространения идей Гийома в лингвистической среде видятся автору указанной рецензии, с одной стороны, в их новаторстве, а с другой – в естественно-научном характере используемого Гийомом метода описания языка. Приведём лишь две характерные цитаты из работы В. Белошеева: “Так в языковой системе в условиях неравновесия (немыслимости) из начального хаоса возникает динамическая структура – слово, обеспечивающее языковой системе новый уровень равновесия. И, как видно, характерные этапы этого процесса вполне укладываются в рамки идеализированной схемы описания развития биологических и физических систем” [Белошеев 1996: 141]. Отвечая на вопрос о том, что же даёт такая интерпретация представления Г. Гийома о процессах в языке самой психосистематике, а также другим наукам, решающим свои проблемы филогенеза и онтогенеза, Белошеев пишет: “Прежде всего, она позволяет рассматривать явле-

ние языка на основе эволюционной методологии, усиливая общность и значимость последней для анализа всех проявлений жизни с позиций эволюционизма” [Белошеев 1996: 141]. Несомненно, такое мнение дорогого стоит, так как теоретическая лингвистика, которую часто упрекают в умозрительности и бездоказательности своих положений, эти обвинения в свой адрес в данном случае имеет все основания отвергнуть, находя надёжную опору в естественных науках с их экспериментальной базой и верифицируемой методологией.

Таким образом, можно считать, что теория Гийома представляет собой одно из тех ответвлений теории семиозиса, которое мы называем генетическим, иначе и нельзя охарактеризовать тот взгляд на язык, согласно которому “язык состоит из результатов, за которыми для понимания вещей необходимо раскрывать созидательную работу мышления” [Гийом 1992: 135]. Здесь, однако, необходимо сказать о двух моментах, которые не позволяют рассматривать лингвистическую концепцию Гийома в качестве исчерпывающей генетической теории семиозиса. Во-первых, у Гийома мы находим изложение лишь самых общих принципов анализа языкового материала с точки зрения мыслительной динамики его становления без детального применения методики векторного анализа к различным классам лексико-морфологических единиц (частей речи) хотя бы одного (французского) языка. Исключение составляет, пожалуй, лишь французский артикль, описанию семиозиса которого Гийом уделяет достаточно большое внимание. Во-вторых, практически полностью отсутствует описание семиозиса предложения, хотя сама возможность такого описания теорией психосистематики явно предусмотрена, что доказывается исследованием Л.М. Скрединой концептуальной схемы предложения, выполненным в генетическом разрезе и основанном на применении принципов психосистематики Гийома.

По предположению Л.М. Скрединой, рождение, конструирование предложения обусловлено систематикой в той же степени, что и рождение, конструирование слова. “Иначе говоря, подобно тому как грамматическое оформление слова обуславливается семантическим механизмом инцидентии<sup>\*</sup>, относящимся к оператив-

---

\* О природе механизма инцидентии см. [Гийом 1992: 30, 120–123, 206].

ному времени, так и грамматическое оформление предложения обуславливается семантическим механизмом инцидентности, относящимся к оперативному времени” [Скрелина 1980: 64]. Оперативное время, таким образом, делится на глоссологическое, т.е. необходимое для построения слова, и дискурсивное, в ходе которого конструируется предложение. Дискурсивное оперативное время противопоставляется глоссологическому как измеримое неизмеримому, как осознаваемое неосознаваемому. Осознаваемый характер дискурсивного времени заключается в том, что в нём совершаются операции актуализации и линеаризации уже созданных в глоссологическом времени единиц – слов [Скрелина 1980: 65]. Отсюда видно, что базовые понятия психосистематики вполне приложимы и к теории семиозиса предложения.

Обратим свой взгляд ещё на одну из генетических концепций семиозиса, ставящих в центр исследования именно предложение. Таковая разрабатывалась С.Н. Сыроваткиным, в чьём понимании семиозис, или семиотический процесс, есть “произведение, или суперпозиция, ряда операций перехода от различных систем образов к одному образу – языковому знаку” [Сыроваткин 1978: 24]. При этом, как было указано выше, единственным знаком, обладающим статусом реального бытия в языке, считается предложение, а не составляющие его элементы, статус которых определяется как субзнаковый.

Одним из центральных в теории Сыроваткина является понятие семического акта, т.е., по существу, акта конструирования сентенциального знака. Последний обладает – и в этом мы склонны согласиться с автором – двумя модусами бытия: семиотическим и актуальным. С семиотической точки зрения знак рассматривается как элемент семиотической системы языка, а с актуальной – как всякий раз неповторимый и невоспроизводимый семический акт, происходящий в необратимом промежутке времени и уже потому обладающий свойством уникальности: “... о повторении семического акта в принципе не может быть речи, повторённый семический акт – это уже другой семический акт” [Сыроваткин 1978: 42]. Знак как часть семиотической системы (устойчивой, стабильной, в известной мере статичной, застывшей) – это не совсем то, что знак как семический акт (высказывание). В последнем случае он, сохраняя системные свойства, приобретает некоторые новые,

окказиональные, обусловленные спецификой конкретного речевого акта. В данном случае, по-видимому, имеет место дискурсивное приращение окказиональных смыслов к узуальным языковым значениям знаков и даже их трансформация, модификация и т.п. Эта двойная трактовка статуса знака позволяет Сыроваткину различать соответственно две лингвосемиотические дисциплины – лингвосемиотику языка и лингвосемиотику речи [Сыроваткин 1978: 25].

Нетрудно заметить, что идея Сыроваткина о двойном модусе бытия знака самым непосредственным образом перекликается с теорией двойного означивания Э. Бенвениста. Язык, согласно мнению французского лингвиста, обладает уникальной способностью к семиотическому и семантическому означиванию, т.е. к означиванию своих единиц как членов виртуальной языковой системы, так и как операциональных сущностей в актуальной речевой деятельности [Бенвенист 1974: 88-89]. Такая двуплановость знаковых единиц языка наталкивает на мысль о гетерогенности семиотических процессов, ведущих к их образованию. И, действительно, основываясь на теории двойного означивания Бенвениста, А.А. Уфимцева считает правомерным говорить о двух типах, а точнее этапах, семиозиса – первичном и вторичном, соотнося их соответственно с функциями номинации и предикации. Правда, развивает теорию первичного и вторичного семиозиса Уфимцева применительно не к предложению (как можно было бы подумать, исходя из используемого ею термина “функция предикации”), а к слову. Под первичным семиозисом слова, соотносимым с его номинативной функцией, она понимает собственно знакообразовательные процессы, результатом которых является создание виртуальной лексемы; вторичный же семиозис понимается как формирующий предикативный знак, каковым становится номинативный знак в результате его переосмысления и включения в речь [Уфимцева 1985: 8].

Не считая целесообразным использовать термин “предикативный знак” применительно к слову, условимся использовать его для обозначения предложения как знака языка (т.е. предложения в предикативно-номинативном аспекте). Дифференцируя предложение в предикативно-номинативном аспекте как знак языка и предложение в коммуникативном аспекте как знак речи, условимся ис-

пользовать понятие первичного семиозиса в первом случае и понятие вторичного семиозиса во втором.\*

Что же касается слова, то двойной модус его бытия – как абстрактной единицы лексикона и как значимого элемента речевой цепи – не вызывает возражений и, по большому счёту, никем из аналитиков языка не оспаривается. Ведёт ли признание данного факта, однако, к автоматическому признанию правомочности трактовки слова в речи как продукта вторичного семиозиса? На наш взгляд, нет, и вот почему.

Если бы в речевой деятельности вторичносемиотическому переосмыслению подвергались слова, то взгляд на предложение не мог бы быть иным, кроме как на сумму индивидуальных лексических значений конгломерата слов, из которых оно состоит. Это, в свою очередь, повлекло бы радикальную переоценку стратификационной концепции языка с выдвиганием слова, а не предложения на роль основной единицы коммуникации. Предложение в таком случае вообще перестало бы выделяться в качестве особого уровня организации языка, так как лишилось бы функциональной предназначенности. Неприемлемость такого подхода очевидна. В современной лингвистике стало общим местом неприятие “словоцентрических” концепций предложения, ведущих на практике к отрицанию его интегративного потенциала и заставляющих рассматривать его лишь как совокупность слов, связанных синтаксическими отношениями. Так, от внимания Э. Бенвениста не ускользнул следующий факт: “Сообщение не сводится к простой последовательности единиц, которые допускали бы идентификацию каждая в отдельности; смысл не появляется в результате сложения знаков, а как раз наоборот, смысл (“речевое намерение”) реализуется как целое и разделяется на отдельные “знаки”, какими являются *слова*” [Бенвенист 1974: 68]. Будем поэтому считать, что понятие вторичного семиозиса приложимо к сентенциональным знакам, а не лексическим: модификация семантики слов является следствием

---

\* При этом нами ни в коем случае не отрицается нетождественность слова как виртуального языкового знака слову в речи. Отрицая вторичный семиозис слова, мы лишь хотим подчеркнуть, что его речевое переосмысление может происходить не иначе, как в составе предложения-высказывания, для которого и резервируется понятие вторичного семиозиса [Худяков 1996 б].

их вхождения в состав предложения, каузирующего проявление окказиональной семантики составляющих его единиц на общих семантико-синтаксических и коммуникативно-прагматических основаниях.

Итак, два типа семиотических процессов, протекающих в языке (в широком смысле), суть первичный семиозис и вторичный семиозис. Под первичным семиозисом будем понимать такой семиотический процесс, в результате которого образуется виртуальный знак языка, причём язык рассматривается как бифокальная система с двумя “центрами притяжения” – словом и предложением. Первичный семиозис ведёт к образованию как лексических, так и синтаксических знаков, причём в последнем случае “... в рамках первичного семиозиса одна и та же фраза всеми носителями языка понимается одинаково” [Шингарёва 1987: 11]. Под вторичным семиозисом будем понимать семиотический процесс переосмысления синтаксического знака, уже созданного в ходе первичного семиозиса, как результат приобретения им коммуникативного статуса в дополнение к статусу семиотическому. Стоит ещё раз подчеркнуть, что коль скоро в сфере человеческой коммуникации господствует предложение-высказывание, а отнюдь не слова, то говорить о вторичном семиозисе применительно к лексическим знакам представляется неправомерным.

Из сказанного следует, что в акте первичного семиозиса реализуется одна из возможных моделей предложения, потенцируемых языком. Такая модель предложения может реализовываться в актуальной речи без каких-либо семантических транспозиций в лексическом составе или без нарушения канонической синтагматики его членов. Иначе говоря, слова в таких предложениях выступают в своих основных, прямых, узуальных значениях и синтаксизируются в соответствии с каноническими нормами семантической комбинаторики. Результатом первичного семиозиса могут явиться такие речевые формы, как детские рассказы, дидактические тексты и т.п. [Шингарёва 1987: 12]. Интересно отметить, каким образом, по мнению В.Я. Шабеса, у человека формируется способность к первичному семиозису в онтогенезе: “... и взрослый, и ребёнок параллельно во времени фокусируют внимание на одном и том же фрагменте движущегося реального мира, причём взрослый здесь же осуществляет номинацию этой сцены предложением (набором

предложений-трансформов), а ребёнок, синхронно наблюдая сцену и слушая комментарий взрослого, реализует первичный семиозис в виде знака со сторонами типа “сцена” – “предложение” ” [Шабес 1989: 16].

Феномен вторичного семиозиса имеет место тогда, когда мы имеем дело с предложением-высказыванием, т.е. тогда, когда, в частности, лексемный состав или его часть могут употребляться в непрямых, переносных значениях, либо/и могут нарушаться канонизированные правила семантической комбинаторики имён. Думается, что для реального речевого высказывания, продуцируемого в ходе живой человеческой коммуникации, такая ситуация достаточно типична, т.к. высказывание релятивизировано относительно говорящего и слушающего, коммуникативного акта, речевого и неречевого контекста [Касевич 1988: 96], а наличие этих факторов с большой степенью вероятности ведёт к возникновению различных импликаций, подтекста, метафоризации, метонимизации и т.п. – всего того, в чём находит своё проявление вторичный семиозис. При вторичном семиозисе изначальная конгруэнтность двух сторон знака (пользуясь терминологией В.Я. Шабеса, сцены и предложения-высказывания) нарушается, причём нарушение может происходить как за счёт варьирования десигнатора при сохранённом десигнате (например, при эвфемистической номинации события), так и за счёт варьирования десигната при идентичном десигнаторе (напр., при выражении иронии или сарказма).

Подведём некоторые итоги. Из двух концепций семиозиса (условно говоря, денотативной и генетической) нами была рассмотрена последняя как наименее разработанная, но наиболее интересная в теоретическом плане. Согласно ей семиозис есть ментальный процесс, ведущий к конструированию языкового знака. По признаку результата семиозис бывает лексическим и сентенциональным. Сентенциональный семиозис по признаку модуса бытия предложения (предложение в языке и предложение в речи) может быть первичным и вторичным. При описании механизма акта семиозиса первостепенное значение приобретает анализ таких сущностей, как алгоритм ментальных операций, с одной стороны, а с другой – время и пространство [Худяков 2000 б]. Начнём с последнего.

## 2.2.2. Время и пространство в семиозисе предложения

Господствовавшее в научной картине мира вплоть до конца XIX – начала XX веков представление о нём как о совокупности вещей, размещённых в пространстве, было заложено ещё в трудах философов античной древности и много позднее получило дальнейшее развитие и обоснование в классической механике Ньютона. Мир представлялся согласно этой точке зрения статичным и в известной мере застывшим, движение относительным, а время изотропным (равномерным) в каждой точке физического пространства. Такое миропонимание было отвергнуто наукой XX века начиная с появления философских трудов Б. Рассела и Л. Витгенштейна и благодаря формулированию А. Эйнштейном в 1905 году специальной теории относительности. Эйнштейн, таким образом, заложил основы релятивистской физики, а Рассел и Витгенштейн [Рассел 1957; Рассел 1999; Витгенштейн 1994], заявив о том, что мир состоит не из вещей, а из фактов и событий (подробно о разграничении понятий “факт” и “событие” см. [Арутюнова 1999; Гончарова 1999; Переверзев 2000]), обосновали динамическую картину мира, в которой движение абсолютно, покой относителен, а всякое явление должно рассматриваться в совокупности связей и отношений, а вовсе не как изолированное и самодостаточное. Эта новая картина мира (динамика есть изменение, а всякое изменение происходит во времени) с новой силой поставила на повестку дня вопрос о феномене времени, его топологических свойствах и характеристиках.

Параллельно в лингвистике находила всё большую поддержку и обоснование концепция знаковой природы языка [Соссюр 1977], причём знаковый характер стал выявляться не только у слова, но и у предложения. Последнее стало рассматриваться как сложный знак, знак ситуации [Гак 1973] или, пользуясь терминологией Витгенштейна, события. Семиозис предложения, т.е. генезис его как знака, есть всегда процесс протяжённый во времени, а следовательно, при анализе сущностных свойств предложения как знака невозможно абстрагироваться от фактора времени. Таким образом, описание времени, его типов и свойств является необходимой предпосылкой адекватного анализа сентенционального знака. Обоснованность обращения к феномену времени объясняется тем,

что предложение, с одной стороны, обозначает событие, т.е. нечто динамичное, обладающее временной протяжённостью и допускающее анализ с точки зрения временных параметров, а с другой стороны, само становится знаком в ходе семиологического процесса, который, как и всякий другой процесс, предполагает некоторый временной промежуток.

### **2.2.2.1. Топология времени и пространства**

В физических науках время часто описывают в терминах так называемой стрелы времени, т.е. как возможность отличить прошлое от будущего, определить направление времени. “Можно говорить, по крайней мере, о трёх различных стрелах времени. Во-первых, стрела термодинамическая, указывающая направление времени, в котором возрастает беспорядок или энтропия. Во-вторых, стрела психологическая. Это направление, в котором мы ощущаем ход времени, направление, при котором мы помним прошлое, но не будущее. И, в-третьих, стрела космологическая. Это направление времени, в котором Вселенная расширяется, а не сжимается” [Хокинг 1990: 125]. Эти стрелы времени характеризуют, между прочим, и различные типы времени. Так, термодинамическая стрела времени соответствует времени онтологическому или физическому, психологическая же стрела коррелирует со временем интериоризованным (отражённым и познанным), которое делится некоторыми исследователями на перцептуальное и концептуальное [Лупандин, Сурнина 1991: 124]. Перцептуальное время описывается как соответствующее чувственной ступени познания, а концептуальное – как ступени рациональной. Это последнее представляет собой систему понятий и символов, отражающих реальное физическое время и формирующих у человека субъективные шкалы времени, которые, по мнению В.И. Лупандина и О.Е. Сурниной, можно охарактеризовать как систему отношений между субъективными величинами, отражающими в сознании человека отношения между объектами и явлениями реального мира [Лупандин, Сурнина 1991]. Н.И. Моисеева считает возможным говорить о следующих типах времени: космическое, геологическое, эволюционное, биологическое, историческое, физическое и т.п. [Моисеева 1991: 6].

Е.В. Федотов связывает многообразие форм времени с множественностью форм материи: “Можно сказать не только то, что время есть форма существования этого мира, но и то, что на каждом уровне и сфере этого мира время приобретает свою специфику, темпоральность которой в конечном итоге будет определяться собственным субстратом” [Федотов 1991: 49]. Заметим, что и в лингвистической науке говорят не только о времени грамматическом, но и о времени художественном [Тураева 1979]. Для целей описания семиозиса предложения нас будут интересовать формы интериоризованного времени, т.е. переведённого во внутренний мир человека, им отражённого и концептуализированного. Однако прежде необходимо отметить ещё одну важнейшую характеристику времени, без которой описание его сущностных свойств будет принципиально неполным.

Дело в том, что согласно современным представлениям феномен времени оказывается теснейшим образом связанным с феноменом пространства. Такой взгляд на время последовательно утверждался в физике, психологии и лингвистике. Так, С. Хокинг пишет, что с появлением теории относительности пространство и время стало невозможно рассматривать автономно друг от друга; степень слитности этих двух явлений такова, что можно говорить о едином четырёхмерном пространстве-времени, а всякое событие можно охарактеризовать как совершающееся в определенной точке пространства в определённый момент времени, и, следовательно, оно может быть определено по четырём координатам – трём пространственным и одной временной [Хокинг 1990: 27]. Схожая точка зрения высказывается И. Пригожиным, который говорит не только о существовании единого пространства-времени, но и выдвигает идею о возможности темпорализации пространства, т.е. придания ему временной структуры, задаваемой происходящими в пространственном континууме необратимыми процессами [Пригожин 1985: 7]. По Пригожину, со времён Эйнштейна на смену статическому двуединству пространства и времени приходит более динамичное двуединство “овременённого” пространства [Пригожин 1985: 253]. О едином четырёхмерном пространстве-времени см. также [Рейхенбах 1985; Пространство и время 1984; Мостепаненко 1974; Мостепаненко 1975; Пространство и время в современной физике 1968] и др.

Следует отметить, что хотя с физической точки зрения пространство и время едины и равноправны, с точки зрения психологической и, как следствие, языковой они обладают разным статусом. Так, исследователи отмечают, что пространство, будучи воспринимаемым сенсорно, лежит ближе к поверхности явлений, а перцепция и концептуализация времени происходят на основе пространственных представлений: “Бессознательной потребностью “осязать” время в формах непосредственной данности объектов объясняется также идущая из древности традиция “вписывать” представления о времени в конкретный пространственный “континуум” и более того – воспринимать время как своего рода пространство” [Категории мышления и индивидуальное развитие 1991: 172]. Возможность осмысления по образу и подобию пространства непространственных и – шире – нематериальных, нефизических сущностей, таких как время, отмечается и Е.С. Кубряковой [Кубрякова 1997: 23]. Н.И. Моисеева, определяя специфику пространства и времени, оперирует понятием “поле восприятия”. Она пишет, что пространство указывает на сосуществование восприятий в известный момент времени в объёме или на плоскости, и мы как бы измеряем ширину нашего поля восприятия; время же указывает на поступательное движение восприятий в известном пункте пространства, и мы как бы измеряем его длину [Моисеева 1991: 4].

Согласно мнению В.И. Лупандина и О.Е. Сурниной, в восприятии пространства основную роль играют органы зрения, обладающие дистантными рецепторами и высокой разрешающей способностью; в восприятии же времени не специализируется никакой физиологический рецептор. Немногочисленные и противоречивые данные, изложенные в соответствующей литературе, позволяют предположить, что в организме человека существует не один, а несколько механизмов, обеспечивающих отражение временных параметров [Лупандин, Сурнина 1991: 54]. Если способ репрезентации пространства в сознании связывается с идеей модульности [Neisser 1987], то функционирование механизмов рецепции и концептуализации времени, как правило, увязывают с памятью [Моисеева 1991; Fraise 1982].

Пожалуй, единственное, что можно добавить в плане характеристики интериоризованного времени с точки зрения физиологического субстрата, так это оперирование концептами времени с точки

зрения активности полушарий головного мозга. Формирование понятий концептуального времени связано с межполушарной асимметрией мозга – настоящее и прошлое время субъекта связано с функционированием правого полушария, а будущее время – левого [Лупандин, Сурнина 1991: 58]. Н.И. Моисеева также считает, что концептуализация времени связана с функциональной асимметрией полушарий головного мозга, распределяя, правда, функции правого и левого полушарий несколько иначе, чем это делают Лупандин и Сурнина: ощущение прошлого связывается с деятельностью правого полушария, ощущение будущего – левого полушария, а настоящего – с деятельностью обоих полушарий. Ссылаясь на данные нейрофизиологов, Н.И. Моисеева следующим образом описывает алгоритм оперирования временными представлениями: поскольку осуществление любого действия начинается с составления плана на будущее, можно говорить о движении нервных процессов слева направо. “Составление плана-проекции в будущее является функцией левого полушария, затем в состоянии активности находятся оба полушария, осуществляя действие в настоящем. По окончании действия оно уходит в прошлое, откладываясь в памяти в правом полушарии” [Моисеева 1991: 127]. В противоположность рецепции времени рецепция пространства с функциональной асимметрией мозга не увязывается и в этом плане не рассматривается.

### **2.2.2.2. Время и пространство: лингвистический аспект**

Зададимся теперь вопросом о том, насколько релевантными для целей лингвистического исследования являются все вышеприведённые сведения относительно времени и пространства, почерпнутые из работ по философии, физике и нейрофизиологии, в какой степени учёт фактора времени и пространства ведёт к прояснению сущности семиозиса, т.е. процесса генезиса языковых знаков и, в частности, предложения. Важно выяснить также, насколько соответствует психологической реальности научная картина мира в плане физических параметров времени и пространства. Ответ на этот последний вопрос даёт А. Левин, по мнению которой интуитивное представление ребёнка о времени, пространстве и скорости в гораздо большей степени соответствует динамической физике

Эйнштейна, чем статической физике Ньютона. Однако с возрастом человек во всё большей степени овладевает пространственными и временными представлениями, разработанными в механике Ньютона, что, согласно А. Левин, не является свидетельством интеллектуального регресса личности, а, напротив, говорит о способности отразить относительную статику мира. Завершится же цикл развития временных и пространственных представлений тем, предсказывает А. Левин, что эйнштейновская картина мира станет для человека столь же очевидной и понятной, как и тот факт, что земля круглая [Levin 1982: 48-49].

Положительно отвечает на вопрос о психологической реальности примата события над предметом и В.Б. Касевич, по мнению которого ребёнок даже в большей степени, нежели взрослый, живёт в мире событий, а не вещей. Ссылаясь на исследования Ж. Пиаже, автор указывает, что любая вещь выделяется ребёнком постольку, поскольку она выступает субъектом или объектом ситуации, где последнюю уместно трактовать предельно широко, в том числе и как переживание потребности, эмоции и т.п. Давая развёрнутую аргументацию при ответе на вопрос о том, что следует считать первичным с точки зрения восприятия и репрезентации – вещи или ситуации, Касевич пишет: “Адекватным будет, по-видимому, следующий ответ. Первичным выступает событие (в широком смысле), ситуация; бессобытийный “неподвижный” мир, если бы таковой существовал, вообще был бы в значительной степени невоспринимаем. Однако именно потому, что события, ситуации ненаблюдаемы вне объектов (вещей), которые в них участвуют, возникает возможность, а для начальных стадий онтогенеза и необходимость выделять ситуацию по признаку того, какие объекты, вещи ею затронуты; отсюда и законы ранней номинации, где не различаются имя вещи и имя ситуации, в которую вещь вовлечена” [Касевич 1998: 32-33].

Таким образом, с точки зрения онтогенеза есть основания постулировать психологическую реальность топологических свойств онтологического пространства и времени. Можно ли утверждать то же самое в плане филогенетического развития человека?

Думается, ответ на этот вопрос в какой-то степени даёт исследование В.Н. Топорова, посвящённое анализу архаичной модели мира и, в частности, особенностей господствовавших в ней про-

пространственно-временных представлений. Здесь не обойтись без довольно пространной цитаты, которая предельно ярко высвечивает рассматриваемую проблему: “Прежде всего, в архаичной модели мира пространство не противопоставлено времени как внешняя форма созерцания внутренней. Вообще применительно к наиболее сакральным ситуациям (а только они и образуют уровень высшей реальности) пространство и время, строго говоря, неотделимы друг от друга, они образуют единый пространственно-временной континуум (ср. 3+1-мерность как основное топологическое свойство пространственно-временной структуры мира в современной физике, а также роль скорости как понятия, объединяющего пространство и время) с неразрывной связью составляющих его элементов” [Топоров 1983: 231]. И далее: “В мифопоэтическом хронотопе время сгущается и становится формой пространства (оно “спациализируется” и тем самым как бы выводится *вовне*, откладывается, экстенсифицируется) его новым (“четвёртым”) измерением. Пространство же, напротив, “заражается” внутренне-интенсивными свойствами времени (“темпорализация” пространства), втягивается в его движение, становится неотъемлемо укоренённым в разворачивающемся во времени мифе, сюжете (т.е. в тексте). Всё, что случается или может случиться в мире мифопоэтического сознания, не только определяется хронотопом, но и хронотопно по существу, по своим истокам. Неразрывность пространства и времени в этой модели мира проявляется не только в “спациализированных” обозначениях времени..., но и в том, что для первобытного или архаичного сознания всякая попытка определения значимости пространства вне соотношения его с данным отрезком (или точкой) времени или, говоря иначе, вне идентификации фазы *поворота* пространства (т.е. мира, земли или Солнца и т.п.) принципиально неполна и тем самым лишена статуса истинности (т.е. высшей реальности, так сказать, сути бытия) и сакральности. Эта неполнота трёхмерной характеристики пространства (во всяком случае, сакрального) возмещается лишь при указании четвёртого измерения – временного, органически связанного с тремя другими измерениями, по крайней мере, в ключевых ситуациях: отсутствие пространства – отсутствие времени, завершённость (полнота) пространства – центр времени. Поэтому любое полноценное описание пространства предполагает определение “здесь – теперь”, а не просто “здесь” (также и опреде-

ление времени ориентировано не просто на “теперь”, но на “теперь – здесь””) [Топоров 1983: 232-233]. На полную аналогичность временных отношений пространственным указывает и В.В. Гуревич, отмечая, что отличие между ними состоит лишь в типах измерения – ‘одновременность’ есть тождество точек на оси времени; ‘предшествование’ или ‘следование’ означают удалённость от некой общей точки отсчёта (*А произошло раньше Б* означает, что *А* отделено от общей точки отсчёта времени бóльшим количеством единиц измерения времени, чем *Б*) [Гуревич 1998: 33].

Подведём некоторые предварительные итоги.

1. Мир состоит из событий, имеющих пространственно-временную протяжённость.
2. Человек обладает способностью к адекватному отражению и концептуализации пространственно-временных отношений, а следовательно, он обладает способностью к адекватному отражению и концептуализации событий.
3. Время и пространство нерасторжимы и в известной степени взаимобратимы, из чего следует невозможность абстрагироваться от фактора пространства при анализе роли фактора времени в семиозисе языковых знаков. Из этих выводов вытекает следующая гипотеза: сентенциональный семиозис, т.е. процесс конструирования предложения как знака события, во-первых, предполагает некоторую протяжённость во времени, а во-вторых, имеет своим результатом отражение пространственно-временных параметров в структуре предложения. Посмотрим, насколько жизнеспособна эта гипотеза.

Как мы уже указывали, понятие оперативного времени и идея специализации времени являются одними из ключевых понятий психосистематики Г. Гийома (см. раздел 2.2.1). В понимании Гийома каждый языковой знак является результатом сложных семиологических процессов, протекающих во времени, которое есть обязательное условие их конструирования, накладывает свой отпечаток и находит своё отражение (вместе с пространством) в их структуре.

Возможность осмысления концепта пространства в терминах времени на лексическом уровне проявляется, в частности, в наличии регулярных метонимических переносов “время → пространство”. Как справедливо отмечает Е.В. Падучева, слова и выражения, которые в своём первичном значении обозначают отрезок времени,

могут обозначать – в порядке переноса по смежности – события, происходящие на данном отрезке времени и, следовательно, занимающие определённое пространство; здесь можно говорить о метонимическом переносе “время → событие” или “время → пространство”. Приводимые ею примеры и их интерпретация *поговорим о будущем* = ‘о том, что будет происходить – в определённом месте – в будущем’; *расскажи про воскресенье* = ‘про то, что происходило/будет происходить – в определённом месте – в воскресенье’ убедительно свидетельствуют о возможности своеобразного пространственно-временного синкретизма на лексическом уровне. Вообще в русском языке практически все слова, обозначающие отрезок времени, могут обозначать также и события, которые развёртывались на этом отрезке. Данное наблюдение Падучевой распространяется и на прототипическое слово для обозначения времени – существительное ‘время’:

*время сейчас такое* = ‘обстановка’;

*время было тревожное* = ‘жизнь в это время была тревожная’;

*сейчас не время шутить* = *сейчас не такое время*, чтобы шутить = ‘сейчас окружающая нас реальность не такова, чтобы можно было шутить’ [Падучева 2000: 239].

В особенности же наблюдение Г. Гийома о релевантности пространственно-временного фактора справедливо по отношению к предложению, которое, по мнению В.И. Банару, отличается от остальных языковых знаков не только более свободной техникой построения, но и обязательным наличием в его содержательной стороне пространственно-временного дейктического значения [Банару 1980: 31]. Роль пространственно-временных дейктиков выполняется в предложении не только специализированными в этой функции элементами типа предлогов [Анисимова 1999, Бороздина 1998], но и стержневыми частями речи – именем и глаголом.\* Считается, что имена существительные и именные флексии обозначают пространственные параметры, а глагол и глагольные флексии – временные

---

\* Ср. точку зрения Е.С. Кубряковой: “Вероятнее всего существенность понятия пространства и его бытийной сути приводят к тому, что пространственные значения и значения пространственных (локативных) отношений проходят фактически по всем знаменательным частям речи и формируют также разные классы ориентиров (предлогов, наречий и местоимений)” [Кубрякова 1997: 28].

[Tenny 1994: 133-134]. Тут не обходится и без противоречивых мнений. Так, Тенни полагает глагольный вид средством введения в структуру предложения параметров времени [Tenny 1994], а М.И. Попова вскрывает пространственную основу указанной глагольной категории, замечая, что в английском языке формальными средствами, указывающими на пространственную сущность глагольного вида, являются вспомогательные глаголы *be* и *have*, имеющие пространственную природу. Исторически форма *BE + V-ing* восходит к экзистенциальной конструкции, а форма *HAVE + V-en* – к посессивной, обе из которых, в свою очередь, являются локативными [Попова 1997: 12]. Дж. Миллер вообще приходит к выводу о возможности интерпретации всех языковых конструкций в терминах пространственных выражений. По его убеждению, пространственные выражения являются тем фундаментом, на котором строится здание семантики. Отсюда и название всей семантической концепции – “локализм” [Miller 1985: 118-161]. Все эти факты позволяют с достаточной степенью уверенности говорить о принципиальной проявляемости пространственно-временных отношений в структуре сентенционального знака.

Несмотря на то, что проблема рецепции сентенционального знака не является целью рассмотрения в настоящей работе, мы считаем необходимым хотя бы кратко остановиться на ней, поскольку по сути мы имеем здесь дело с “семиозисом наоборот”, с тем процессом, когда языковой знак активизирует глубинные ментальные операции понимания. Рассмотрим проблему времени восприятия сентенционального знака. Действительно, как сложный знак предложение представляет собой линейную структуру, цепочку последовательно развёртывающихся во времени простых знаков. Воспринимается ли предложение соответственно сукцессивному механизму его развёртывания во времени, т.е. поэтапно, пошагово, поэлементно? Отрицательный ответ на этот вопрос даёт, в частности, П. Фрэйсс, который для обозначения механизма восприятия предложения вводит понятие квазисимультанности. По его мнению, линейно сконструированное предложение воспринимается целостно, как гештальт благодаря наличию у человека способности к рецепции и осмыслению небольших объёмов информации без привлечения механизма памяти. Анализируя восприятие предложения *Do you want some tea?*, Фрэйсс указывает, что оно “схватывается”

сразу как единица или целостность, а не как развёртываемая во времени звуковая последовательность, каковой она по сути является. При восприятии звуковой цепочки от первого до последнего звука мнемонические механизмы не задействованы, а временной период их восприятия Фрэйсс называет психологическим настоящим [Fraisie 1982: 120].

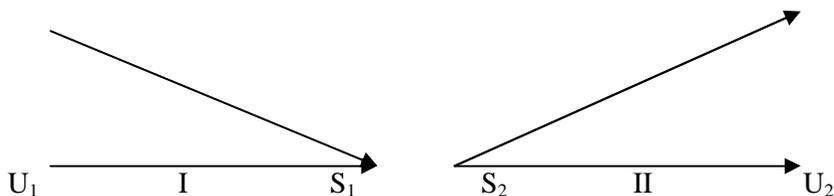
Такого же мнения относительно временного аспекта рецепции предложения-высказывания придерживается и В.Б. Касевич. Он считает, что “восходящее” направление рецепции речи (направление “снизу вверх”) – от звука, представляющего фонему, через комбинацию этих звуков в морфемы и от морфем к слову, затем от слов к предложению – несмотря на кажущуюся эмпирическую очевидность несостоятельно теоретически. Как отмечает учёный, лежащее в основе восходящей модели пофонемное восприятие просто невозможно: сегменты, отвечающие фонемам и их сочетаниям, сменяют друг друга в речевом потоке с такой скоростью, каждый из них несёт столько подлежащей обработке в единицу времени информации, что человек с таким объёмом информации справиться объективно не может [Касевич 1988: 245]. Возможной альтернативой является предположение о восприятии высказывания холистически, асимметрично его линейной, т.е. протяжённой во времени, организации. Это даёт дополнительные основания к выводу о том, что предложение, являясь знаком события, не зеркально отражает его пространственно-временные параметры, а оригинальным образом преобразует их в знаковую форму, лишая синтаксический знак иконического подобия обозначаемому им событию.

Резюмируем содержание данного раздела. Состоящий из событий мир находит своё обозначение в языке, причём знаковым аналогом события является предложение. Событие характеризуется как происходящее в некоторой точке пространства в некоторый момент времени. При характеристике некоторых событий их локативные свойства оказываются менее существенными и определимыми, чем темпоральные [Арутюнова 1988: 170–171], в целом же пространственно-временной параметр оказывается ингерентно присущ им. Вот почему при определении роли фактора времени в процессе семиозиса предложения оказывается невозможным абстрагироваться от роли фактора пространства. Будучи знаковым коррелятом события, предложение и само в известной степени является

ся событием, а следовательно, при анализе его сущностных характеристик невозможно отвлекаться от его временных (и пространственных) параметров. И те и другие находят отражение в предлагаемой нами динамической схеме семиозиса сентенционального знака как алгоритма мыслительных операций.

### 2.2.3. Алгоритм ментальных операций

При решении задачи репрезентации процесса семиозиса сентенционального знака как алгоритма ментальных операций представляется возможным применить предложенный Г. Гийомом принцип векторного анализа. Векторная схема Гийома выглядит следующим образом:



*Схема 1*

Л.М. Скредина даёт следующие разъяснения относительно сущности данной графической репрезентации акта языкового сознания. Термином “вектор” Гийом передаёт значение движения мысли в определённом направлении (оно показано стрелкой): вектор I ведет мысль от общего, универсального (генерализованного), обозначенного на схеме символом  $U_1$ , к сингулярному, единичному, частному, узкому, обозначаемому на схеме символом  $S_1$ . Второй вектор (II) однонаправлен с первым, но в отличие от него ведет мысль от сингулярного, частного ( $S_2$ ) к универсальному, общему ( $U_2$ ). Косыми линиями (векторами) передаётся постепенное, градуальное сужение или расширение движения от общего, как более широкого, к частному, как более узкому, и обратно.

Понятия “тензор” и “растяжение, натяжение” используются в дополнение к понятию вектора. С их помощью передаётся граду-

альность, поступательность движения, возможность его остановки (см. [Гийом 1992: 188-189]).

Мы считаем необходимым модифицировать предложенный Гийомом принцип векторного моделирования, сделав его пригодным для описания семиозиса сентенционального знака.\* Сущность предлагаемой модификации состоит в расширении арсенала привлекаемых математических понятий, расширении схемы с учетом специфики семиозиса исследуемого объекта (предложения) и в более строгом и точном определении процедур и факторов векторного анализа. Для начала тезисно сформулируем исходную аксиоматику, основные положения которой найдут отражение в векторном моделировании семиозиса сентенционального знака.

Геометрическим *вектором* называется отрезок АВ с заданным направлением. Векторы определяются только в динамике. Они могут подвергаться преобразованиям, результатом которых также будет являться вектор. Одной из основных операций над векторами является *сложение векторов*. Однонаправленные векторы, причём как параллельные, так и последовательные, принято называть *коллинеарными векторами*. В физике вектор определяется как сила, действующая на пробный элемент пространства (на заряд, массу). Каждый вектор однозначно определяется по отношению к некоторому *базису*. При этом сам базис определён неоднозначно. При изменении базиса изменяются *координаты вектора*. С *векторным пространством* связано *двойственное* к нему *ковекторное пространство*. Таким образом, имеется некоторая совокупность двух пространств, взаимно двойственных по отношению друг к другу, существующих неразрывно, элементы которых – это *векторы* и *ковекторы* с определенными координатами и набором свойств. Изменение базиса в исходном пространстве приводит к изменению базиса в коррелятивном ему ковекторном пространстве. С пространством связана его характеристика *размерность* – пространства могут быть одномерные (*линейные*), с одной стороны, и не одномерные (нелинейные), с другой стороны. Нелинейные пространства

---

\* Заметим, что попытка модификации схемы Гийома осуществляется не впервые. Так, Г.М. Костюшкина адаптировала рассматриваемую схему для целей проводимого ею анализа сложноподчинённого предложения во французском языке [Костюшкина 1991 а; Костюшкина 1991 б].

представлены двумерными (*плоскостными*) и *n*-мерными (имеющими более двух измерений), или *объёмными* пространствами. Если задан базис, то каждому новому базису сопоставляется матрица, так называемая *матрица перехода*. Матрицы элементов двойственных пространств имеют различные законы преобразования координат. Координаты вектора также могут быть представлены в виде *матрицы*, т.е. матрица понимается как набор элементов, определяющих некоторый элемент пространства. Способы (законы) изменения координат вектора посредством *матричных преобразований* (умножения матриц) различны. Изменения в *объёмном и линейном пространствах* происходят по различным законам (в математике их принято называть контравариантный закон и ковариантный закон соответственно).

*Тензор над векторными пространствами* есть обобщение понятия вектор, например, преобразование векторов есть тензор, или *тензорное преобразование* векторов.

Преобразования пространств могут иметь аффинный и проективный характер. *Аффинные преобразования* представляют собой частный случай проективных преобразований. При аффинных преобразованиях для двух пространств – исходного и обратного – соотношение между элементами пространства остаётся инвариантным. При *проективном преобразовании* инвариантное соотношение между элементами двух пространств является факультативным, т.е. может не сохраняться [Ефимов, Розендорн 1974; Мацуо Комацу 1981; Мак-Коннелл 1963, Базылев 1989].

Предлагаемая нами модель семиозиса сентенционального знака имеет следующий вид:

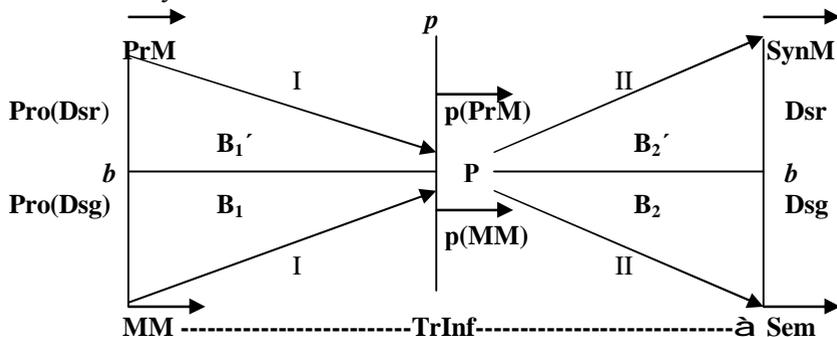


Схема 2

## Условные обозначения\*

PrM	- пропозициональная матрица
SynM	- сентенциональная матрица
MM	- ментальная модель
Sem	- семантика
Pro(Dsr)	- протодесигнатор
Pro(Dsg)	- протодесигнат
Dsr	- десигнатор
Dsg	- десигнат
TrInf	- перенос информации
p (PrM)	- результат матричного преобразования пропозициональной матрицы
p (MM)	- результат матричного преобразования ментальной модели
P	- пропозиция
I	- тензорное преобразование-1
II	- тензорное преобразование-2
$B_1, B_1'$	- базис <sub>1</sub> в виде двух взаимно коррелятивных пространств (суббазисов)
$B_2, B_2'$	- базис <sub>2</sub> в виде двух взаимно коррелятивных пространств (суббазисов)

Основу схемы составляют две группы пространств, образуемых горизонтальной и вертикальной линиями  $b$  и  $p$ , перпендикулярными по отношению друг к другу. Левое и правое по отношению к линии  $p$  пространства представляют собой пространство протознака и пространство собственно знака соответственно. Верхнее и нижнее по отношению к линии  $b$  пространства представляют собой пространства протодесигнатора/десигнатора и протодесигната/десигната соответственно. Поясним подробнее.

В структуре сентенционального знака, подобно структуре знака лексического, различаются две стороны – десигнатор и десигнат; сентенциональный знак, таким образом, имеет билатеральную природу. Графически данное положение представлено на схеме выделением двух сопряжённых пространств – пространства десигнатора

---

\* Подробное разъяснение элементов схемы см. ниже в соответствующих разделах.

( $Dsr$ ) и пространства десигната ( $Dsg$ ), разделяемых линией  $b$ . Тезис о наличии “истории развития” у каждой из сторон сентенционального знака подразумевает их генетическое восхождение к ментальным прообразам, называемым здесь предзнаками или протознаками, сущностям, генетически предшествующим языковому знаку, но языковым знаком в строгом смысле слова не являющимся. Графически пространства протознака и собственно знака разделяются линией  $p$ .

На схеме предзнаку соответствуют два графических пространства:  $ProDsg$  (протодесигнат) и  $ProDsr$  (протодесигнатор), заданные базисом  $B_1$ , который репрезентирует ментальное пространство. Данный базис задаёт два взаимно двойственных коррелятивных субпространства:  $B_1$  (для протодесигната), или суббазис  $B_1$  и  $B_1'$  (для протодесигнатора), или суббазис  $B_1'$ . По отношению к заданным суббазисам определяются векторы  $MM$  и  $PrM$  соответственно, при этом вектор  $PrM$  является ковектором по отношению к вектору  $MM$ . Данные векторы подвергаются тензорному преобразованию  $I$  посредством матричного перехода в векторы  $p(PrM)$  и  $p(MM)$  соответственно. Сложение векторов  $p(PrM)$  и  $p(MM)$  даёт в итоге вектор  $P$ , или пропозициональную сущность, соединяющую следы пропозициональной матрицы и ментальной модели и представляющую собой единство реляционного предиката и актантажной сетки.

Во многих отношениях аналогично решается вопрос описания векторной природы собственно знака, который задаётся пространствами  $B_2$  и  $B_2'$ , коррелятивными по отношению друг к другу. В данном случае тензорное преобразование касается параллельного перехода вектора  $P$  в векторы  $SynM$  и  $Sem$ .

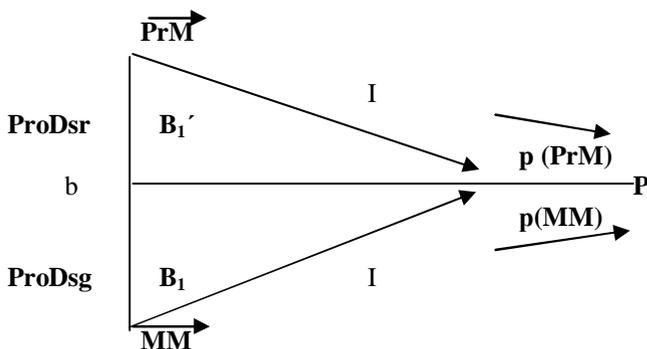
Представляется логичным с точки зрения хронологии семиотического процесса начать его описание с выявления сущностных свойств предзнака.

#### 2.2.4. Онтология предзнака

Сосредоточимся на описании ментальных процессов, протекающих на предпропозициональном этапе семиозиса сентенционального знака и графически представленных левой частью схемы 2. Обсуждение данного этапа семиозиса потребует использования

следующих основных терминов: ментальная модель, ментальное пространство, пропозициональная матрица, протодесигнат, протодесигнатор.

Схема 3



Наш анализ природы предзнака опирается на следующее высказывание Л.С. Выготского: “Всякая мысль стремится соединить что-то с чем-то” [Выготский 1956: 376]. Это означает, по нашему мнению, что языковой (в частности, сентенциональный) знак на самых ранних этапах своего генезиса уже билатерален. Таким образом, представляется правомерным говорить о билатеральном характере не только языкового (сентенционального) знака, но и ментального субстрата, на основе которого в процессе семиозиса он образуется. Разумеется, было бы ошибочным трактовать структуру предзнака как зеркальное отражение структуры знака. И дело не только в том, что обеим сторонам знака, одна из которых – десигнаторная – есть его материальный экспонент, ставятся в соответствие сущности идеальные. Причина гораздо глубже. Она коренится в разном принципе соотношения сторон знака и сторон предзнака. Если для языкового знака связь между сторонами уже фиксирована (что не противоречит известному постулату о его асимметричном дуализме [Карцевский 1965], так как возможность варьирования сторон относительно друг друга не безгранична), то в предзнаке эта связь существует лишь потенциально, как возможность соотношения одной стороны с другой. Предзнак, следовательно, ещё не создан в том смысле, в каком можно считать созданным знак; он есть не продукт, а процесс, активность сознания, направленная на конструирование знака. Вводя термин “предзнак”, мы хотим лишь ука-

зять на факт изначальной бинарности мыслительного процесса, ведущего к построению двустороннего языкового знака. Именно в этом смысле следует понимать развиваемое нами положение о том, что десигнатной стороне языкового знака ставится в соответствие компонент предзнака, называемый ментальной моделью, а десигнаторной его стороне – компонент предзнака, называемый пропозициональной матрицей. Короче говоря, предзнак не есть знак, он ещё не “отлит” в чеканную языковую форму; он есть деятельность сознания по поиску соответствий между ментальными сущностями, отражающими опыт познания мира, и ментальными сущностями, отражающими опыт владения языком. “Предзнак”, если угодно, есть удобная метафора для описания сущностных свойств ментальных процедур, направленных на конструирование знака.

Предпосылки к решению вопроса о том, что именно и с чем именно соотносится в структуре предзнака, создаются, по всей видимости, исследованиями в области модулярного устройства мозга, проведёнными уже в эпоху после Выготского.

Рассмотренный выше принцип модулярного устройства человеческого мозга и сознания имеет большое значение для построения теории семиозиса сентенционального знака. Думается, что идея модулярности позволяет говорить о том, что при мыслительном конструировании языкового знака параллельно задействованы разные модули (или группы модулей) и конечным результатом функционирования одной группы становится десигнатор знака, а конечным результатом функционирования другой группы – его десигнат. Рассмотрим вопрос о природе обеих групп и о принципе их взаимодействия.

#### **2.2.4.1. Онтология протодесигната: ментальная модель**

Начнём с рассмотрения онтологии протодесигната, то есть ментальной сущности, из которой “вырастает” десигнат (сентенционального) знака. Представляется возможным описать природу протодесигната в терминах ментальных моделей, понимаемых в духе Ф. Джонсона-Лэрда. Согласно Джонсону-Лэрд, ментальная модель есть начальный продукт концептуализации ассерции и начальный продукт понимания ассерции при рецепции речи. По мне-

нию Джонсона-Лэрда, люди воспринимают мир и создают его модели. Они могут оценивать утверждения о воспринимаемом мире по отношению к этим моделям; они могут манипулировать ими с целью понимания и оценки утверждений об абстракциях; они могут отражать эти модели в речи, то есть они могут осуществлять символьное поведение в форме лингвистических выражений, которые предназначены для передачи кому-либо. Человек, декодирующий лингвистические выражения, конструирует модель, которая воспроизводит положение вещей в мире, с которым столкнулся говорящий и которое он намеревается передать слушающему. Следовательно, язык даёт нам возможность и познавать мир опосредованно, и передавать некие абстрактные идеи относительно него. Ментальная модель репрезентирует определённое положение вещей, с которым соотносится предложение, но поскольку модель может пересматриваться под влиянием последующей информации, она функционирует в качестве образчика, репрезентирующего набор всех возможных моделей предложения [Johnson-Laird 1988: 338-348].

Схожим образом трактует природу ментальных моделей и Т.А. ван Дейк. Согласно его точке зрения, модель представляет собой когнитивный коррелят онтологической ситуации: это то, что “происходит в уме” человека, когда он является наблюдателем или участником ситуации, когда он слышит или читает о ней. Следовательно, модель включает личное знание, которым люди располагают относительно подобной ситуации, и это знание представляет собой результат предыдущего опыта, накопленного в столкновениях с ситуациями такого рода. Вслед за Джонсоном-Лэрдом ван Дейк полагает, что каждая новая порция информации об определённой ситуации может быть использована для расширения и совершенствования модели, включённой в эпизодическую память [Дейк 1989: 69]. Далее он пишет: “Если ситуационные модели в памяти могут быть поняты как формы когнитивной реконструкции таких фрагментов мира, которые мы назвали ситуациями, то возможно, что структура таких реальных ситуаций в чём-то аналогична моделям. Впрочем, в онтологии и эпистемологии давно предполагали, что структура “того, что существует” тесно связана с тем, “что мы (можем) знать” о действительности. В самом деле, как указывает Джонсон-Лэрд (1983), мы постигаем действительность

только через наши модели... Это значит, что наши интуитивные, общепринятые понятия и категории, используемые для интерпретации действительности, на самом деле являются понятиями и категориями, составляющими наши модели действительности” [Дейк 1989: 82].

Аналогичную точку зрения на сущность ментальных моделей высказывают и другие авторы. Так, Э. Ройланд полагает, что для того, чтобы ориентироваться в мире, в котором мы живём, мы организуем ментальную модель, представляющую наше знание о нём. Мы членим мир на объекты, действия, ситуации и т.д.; мы приписываем свойства, находим сходства, устанавливаем эквивалентность, мы вырабатываем отношения страха и желания; способность к ориентации в пространстве и времени и т. д. [Reuland 1993: 11].

М. Смит рассматривает ментальную модель как имеющую нечто общее с идеей схемы; она есть ментальная репрезентация, она может иметь аналоговые свойства, она может быть “запущена” или введена в каком-то смысле в действие с целью получения умозаключения. Делая акцент на роли ментальной модели при рецепции речи, Смит предполагает, что акт понимания словесно выраженной информации, подобно процессу понимания рассказа, часто требует от нас конструирования некоего рода схемы. Иногда схема извлекается в готовом виде для решения знакомой проблемы. Всё, что нам нужно сделать, это внести новые параметры, “запустить” модель практически без усилий и получить ответ. В другом случае нам приходится потрудиться и попытаться сконструировать относительно новую модель для понимания словесно выраженной информации, в надежде на то, что при “запуске” модели необходимые выводы можно будет сделать на основе результатов работы ментальной модели [Smyth 1987: 309].

Р. Джэкэндофф отмечает, что наши мысли создаются из ограниченного набора неосознаваемых моделей, которые дают нам мыслительный потенциал, представляющий собой бесконечное множество мыслей бесконечной сложности. Однако, будучи сторонником идей Н. Хомского, в частности, идеи врождённого характера глубинных языковых структур, он отстаивает тезис и о врождённом характере универсальной грамматики концептов, из которой структурируются ментальные модели [Jackendoff 1994: 203].

Ментальные модели обладают рядом свойств, иногда диалектически противоречивых. С одной стороны, как полагает ван Дейк, поскольку мы не можем и не должны знать все факты, относящиеся к миру, для ментальных моделей типична фрагментарность и неполнота. С другой, по мнению Т. Винограда, концептуальные системы человека (составляющие форму бытия ментальных моделей) характеризуются не только как незавершённые и непоследовательные, но и в высшей степени избыточные [Winograd 1972: 26].

Ментальные модели, с одной стороны, социальные, а с другой – индивидуальны. Их социальный характер определяется тем, что концепты, входящие в модель, произвольны, так как они отражают социально значимую интерпретацию ситуаций. Например, передача предмета от одного лица другому в определённой социальной ситуации может рассматриваться как “подарок”. Их индивидуальный характер обуславливается тем, что ментальные модели являются личными и субъективными: одна и та же ситуация может быть проинтерпретирована различными способами, с различных точек зрения, с различными целями, если это делают разные люди с разным жизненным опытом, с различным уровнем образованности и т.п. [Дейк 1989: 82-83].

Ещё одним существенным свойством ментальных моделей является их способность репрезентировать реальные или вымышленные ситуации на различных уровнях обобщения. “Так, мы можем в самом общем виде представить в модели сложное действие “Джон побывал в поездке по Португалии”, тогда как в действительности это действие заключает в себе чрезвычайно сложную и непрерывную последовательность событий, действий, объектов и людей, только небольшое подмножество которых фигурирует в модели” [Дейк 1989]. Более подробное истолкование данного свойства ментальных моделей находим у П. Диксона, прибегающего к понятию плана иерархической организации модели действия. Действие, находящееся в вершине иерархии, – общее описание того, что должно быть выполнено. Непосредственно низлежащий уровень описывает каждый из основных конституирующих это действие пошаговых элементов. Остальные низлежащие уровни членят каждый из компонентов действия на более частные действия и т.д. Например, исходным уровнем плана могло бы быть действие: “Иди домой”. На втором уровне могли бы быть компоненты этого действия: “Выйди

из офиса”, “Подойди к машине” и “Поезжай домой”. Далее, “Выйди из офиса” может быть разбито на: “Надень пальто”, “Выключи свет” и “Запри дверь”. Таким образом, каждый последующий уровень иерархии плана становится более детальным и специфичным, чем предшествующий. Данный подход также предполагает, что каждый элемент иерархии плана – действие, и представляет каждое действие как схему действия. В этом контексте схема может быть осмыслена как прототипическое описание действия. Схема содержит переменные, или “слоты”. Заполняя эти слоты различными значимостями, она может быть адаптирована к описанию конкретных ситуаций [Dixon 1987: 73].

Структурная организация ментальных моделей по рассмотренному выше принципу иерархической включённости одних моделей в другие не есть, разумеется, единственный модус их бытия. Модели могут быть организованы не только вертикально (иерархически), но и, так сказать, горизонтально, например, в виде каузальных цепочек или сетей. Такая аранжировка моделей происходит при необходимости установления каузальной связи между событиями. Так, Д. Хилтон считает, что каузальная интерпретация событий предполагает два основных процесса: первый состоит из создания ментальной модели или каузального сценария события, который представляет его во всей полноте и сложности; второй состоит в выборе части этого сценария, которую стоит облечь в словесную форму при коммуникации. Из этого, кстати, видно, что ментальные модели как когнитивные модели гораздо богаче и полнее, чем предложения как их языковые рефлексy, поскольку последние эксплицируют лишь часть информации, содержащейся в ментальных моделях. Реально представленные в речевой практике людей информационно редуцированные высказывания (например, неэксплицирующие каузальные отношения между событиями, а иногда и вообще игнорирующие обозначение целых событий и даже их последовательностей в каузальной цепочке) восходят к не поддающимся информационно-концептуальной редукции ментальным моделям и их каузальным цепочкам, что объясняет, в частности, нашу способность к выводному знанию. Порождение сценария, представляющего собой последовательность ментальных моделей, необходимо предшествует образованию соответствующих языковых структур (и их речевой реализации); последние же могут слу-

жить побуждающим стимулом к порождению новых сценариев. Как пишет Хилтон, накоплены свидетельства, что люди конструируют довольно сложные ментальные модели каузальных сетей, которые предваряют вербальное обозначение событий [Hilton 1995: 499].

Представляется, что сказанное даёт достаточно оснований постулировать прототипический принцип организации как самих ментальных моделей, так и межмодельных отношений (общую теорию прототипической категоризации см. [Rosch 1978; Hopper, Thompson 1985; Posner 1986; Givon 1986; Худяков 1994; Вежбицка 1997]).\* Прототипическая организация ментальной модели предполагает знание того, что обычно сопутствует чему в определённой ситуации, что связано с чем определённым отношением или что зависит от чего в силу постигаемых жизненным опытом естественных связей. Прототипическая организация межмодельных связей предполагает наше знание о том, каким образом обычно связаны события, какое из событий предшествует какому по времени и какое событие обуславливается каким в силу причинно-следственных связей. Здесь идея прототипической организации ментальных моделей напрямую смыкается с понятием картины мира, которая трактуется как концептуальное отражение онтологической сферы, как знание о закономерностях организации мира, напрямую обуславливающее способность реципиента речевых сообщений извлекать из них куда более объёмную и богатую информацию, чем та, что содержится непосредственно в кодифицированных эксплицитных значениях языковых средств. Последнее становится возможным благодаря тому, что, как справедливо замечает М.В. Никитин, сверх знания языка люди располагают ещё большим знанием – знанием мира, сложившимся как отражение структур человеческой деятельности в действительном мире, и на основе этого знания домысливают гораздо более полные и верные картины денотатов

---

\* Как показывают Э. Смит и Д. Медин [Smith, Medin 1981], сделавшие попытку классификации различных подходов к рассмотрению ментальных и языковых явлений с точки зрения их прототипической организации, прототипичность может получать неодинаковое истолкование у разных исследователей, что, однако, как мы полагаем, не свидетельствует о том, что в научном сообществе отсутствует разделяемый всеми минимум представлений о прототипичности. Это избавляет нас от необходимости останавливаться здесь на теории прототипической организации сущностей содержательного плана языка более подробно.

языковых выражений [Никитин 1999: 10]. При подобном понимании картины мира разница между ней и ментальной моделью становится призрачной и, по нашему мнению, может быть определена следующим образом: ментальная модель есть форма существования картины мира, модус её мыслительной актуализации при осуществлении речемыслительной деятельности.

Картина мира есть весь фон знаний о правилах его организации, который при порождении и восприятии высказывания актуализируется фрагментарно, в виде данной ментальной модели, обслуживающей смысловую сторону данного конкретного высказывания. Картина мира, существующая в виде набора ментальных моделей, делает возможным имплицитные приращения смысла к кодифицированным эксплицитным значениям. При этом, по мнению М.В. Никитина, указанные имплицитные приращения смысла могут значительно превосходить эксплицитные в суммарном объёме информации, извлекаемой из языковых выражений. “И отношения между ними также различаются от случая к случаю: имплицитные смыслы не только дополняют и осложняют эксплицитные значения, но могут вступать в конфликт с ними, модифицируя суммарное содержание высказываний” [Никитин 1999: 10]. Это объясняет, почему люди, сталкиваясь с нестандартными ситуациями и неканонизированными формами высказываний, тем не менее сохраняют способность к их осмыслению – именно в силу прототипичности ментальной модели, ведь прототипичность по природе своей такова, что предполагает наличие не только прототипа, но и “прототипических эффектов”, или “следов”, то есть черт, отдаляющих члены категории от прототипа.

Идея прототипической организации ментальных моделей проводится и Т.А. ван Дейком в форме постулата о разграничении общих и частных моделей. Справедливо считая, что моделируемые сознанием онтологические ситуации по определению уникальны (так как включают события и действия, определяемые конкретными пространственными и временными параметрами, а также уникальной последовательностью событий или действий и их участников), он говорит о том, что из этого могло бы следовать, что и наши модели подобных ситуаций должны быть уникальными. Однако этот вывод ван Дейк признаёт слишком жёстким. Не отрицая возможности существования в сознании людей уникальных моделей

уникальных событий, учёный вместе с тем высказывается в том смысле, что принятие в целом концепции уникальности и, следовательно, эпизодичности ментальной модели не позволило бы объяснить то, что происходит в сознании людей, когда они понимают дискурс. Отсюда и предлагаемая делимитация между частными и общими ментальными моделями. Первые являются уникальными репрезентациями уникальных ситуаций, в которых люди участвовали, о которых читали или слышали. Вторые являются типизированными обобщениями первых, несводимыми к концептуализации фрагментов жизненного опыта. Частная модель, по ван Дейку, конструируется из следующих типов информации: фрагментов уже имеющихся общих моделей; информации, полученной из данного дискурса или из непосредственных наблюдений; актуализированных фрагментов общего семантического знания. “Иными словами, каждая частная модель представляет собой конструкцию *ad hoc*, составленную из других форм знания. После того как дискурс понят, эта частная модель употребляется уже реже, хотя есть основания предположить, что новые элементы этой частной модели служат для обновления уже имеющихся общих моделей” [Дейк 1989: 89-90].

Надо сказать, что и кодирование сознанием человека пространственно-визуальных образов, нейрофизиологические свидетельства существования которых находим, в частности, в [Mortensen 1989], по-видимому, также устроено прототипически. Так, Д. Олсон и Э. Биалисток полагают, что восприятие объекта и суждение относительно схожести между двумя объектами основываются на относительно богатой ментальной репрезентации. Эта ментальная репрезентация некоторым образом сохраняет или кодирует значительную часть сенсорной информации, включая визуально-пространственные свойства объекта [Olson, Bialystok 1982: 124].

Как отмечается в работах по психологии восприятия, единый психический акт перцепции раздваивается на противоположные стороны – объективную и субъективную [Серебрянников 1988: 168-169]. Субъективный характер восприятия детерминируется многочисленными факторами психофизиологического и социального порядка. Как отмечает У. Чейф, восприятие, т.е. поступление информации от стимула в сознание, “не является точной копией стимула (каков бы он ни был), но есть его *интерпретация*” [Чейф 1983: 36]. Наше сознание может дать одному и тому же стимулу

различные интерпретации. “То, что находится в сознании, является своего рода убеждением (belief) относительно того, что находится во внешнем мире. Это убеждение связано, безусловно, с тем, что предоставлено в распоряжение органов чувств, но оно подвергается и сильному воздействию контекста ситуации, а также культурной и индивидуальной предрасположенности. Всё это, вместе взятое, создает в нашем сознании некоторую интерпретацию происходящего во внешнем мире. Ключевая идея для нас здесь сводится к следующему: *восприятие является интерпретирующим*” [Чейф 1983: 36-37]. Логикой восприятие полагается как некоторый способ объединить убеждения и знания относительно окружающего, но в то же время на содержание нашего восприятия могут влиять базисные знания и убеждения [Ниинилуото 1984: 337].

Таким образом, хранящийся в сознании прототипический образ объекта позволяет человеку всякий раз категоризовать любой сенсорно воспринимаемый объект как относящийся к данному классу или выпадающий из него; при положительном решении вопроса о принадлежности объекта к классу этот объект имеет возможность в силу наличия у него индивидуальных черт модифицировать свой прототипический образ.

Из сказанного с достаточной степенью очевидности следует правомерность разграничения между ментальными моделями, с одной стороны, и пространственно-визуальными образами, с другой (по крайней мере, с точки зрения тех теоретиков, кто считает возможность разграничения между концептом и образом принципиально допустимой). Ментальные модели носят не образный, а концептивный характер, поскольку предполагают активацию не столько образов объектов, сколько наших знаний об их свойствах. Например, при понимании предложения о перестановке мебели в комнате для переменной “стол” активируется, по мнению Ф. Джонсона-Лэрда, не образ, а концепт стола, так как именно концепт включает наше знание не только о свойствах предмета, но и о специфике связей и отношений данного предмета с другими предметами, о том, как он обычно “вписывается” в ситуацию [Johnson-Laird 1988: 331-332].

Здесь надлежит сделать одно немаловажное отступление терминологического характера. Речь пойдёт о правомерности противопоставления концепта и образа в рамках теории ментальной мо-

дели. Анализ литературы показывает, что существует как широкая, так и более узкая трактовка концепта. Согласно первой из них концепт рассматривается как всякий дискретный элемент сознания, служащий познавательной цели человека. При этом нередко выделяются различные типы концептов в зависимости от степени обработанности сознанием информационных данных. Так, И.А. Стернин и Г.В. Быкова говорят о трёх принципиальных разновидностях концептов, обнаруживающихся в лексических единицах разных типов: представлениях, гештальтах и понятиях, причём представления дефинируются как обобщённые чувственно-наглядные образы предметов или явлений [Стернин, Быкова 1998: 56]. Однако такое рассмотрение мышления в образах как мышления концептивного не универсально. Как указывают авторы “Краткого словаря когнитивных терминов”, существует возможность противопоставления концепта и образа, так как “часть концептуальной информации имеет языковую “привязку”, то есть способы их языкового выражения, но часть этой информации представляется в психике принципиально иным образом, то есть ментальными репрезентациями другого типа – образами, картинками, схемами и т.п. Мы, например, знаем различие между ёлкой и сосной не потому, что можем представить их как совокупности разных признаков или же как разные концептуальные объединения, но скорее потому, что легко их зрительно различаем, и что концепты этих деревьев даны прежде всего образно” [Кубрякова и др. 1996: 90-91]. Выше мы уже имели возможность высказаться по поводу концептивного характера образов (см. раздел, посвященный соотношению терминов “понятие” и “концепт”) и не считаем целесообразным вступать в эту дискуссию вновь. Отметим лишь, что этот вопрос в известной степени иррелевантен – мы рассматриваем ментальную модель в качестве сущности, из которой “вырастает” языковой (сентенциональный) знак, а следовательно, она неизбежно должна иметь концептивную природу.

Перейдём теперь к рассмотрению ещё одного вопроса теории ментальных моделей, а именно того, как они соотносятся с такими структурами представления знаний, как фреймы и сценарии. Представляется вполне убедительной точка зрения Т.А. ван Дейка, полагающего правильным противопоставление ментальных моделей, с одной стороны, фреймам и сценариям, с другой – в рамках кон-

троверзы “личное/социальное”. Фреймы и сценарии суть принадлежность социума, если угодно, часть его культуры, отвлечённая от ментальных состояний индивидов, принадлежащих данной культуре. Ментальные модели, напротив, всегда личностны и субъективны. Информация, организованная во фреймы и сценарии, носит стереотипизированный характер, является общим достоянием для членов данного социума и не касается частных пространственных характеристик или участников, а только общих культурных свойств социальных ситуаций. Фреймы и сценарии могут составлять часть структуры ментальных моделей, но только при замене общих терминов частными, что неудивительно: наши ментальные модели довольно часто отличаются от социальных сценариев. Более того, ван Дейк считает, что информация общего характера, которая содержится в сценариях, используется лишь при условии её актуализации в ментальной модели в тех случаях, когда люди понимают ситуацию или дискурс о ситуации. Вообще говоря, между фреймами, сценариями и ментальными моделями нет и не может быть чёткой границы; они как бы “перетекают” друг в друга по мере функционирования индивидуального сознания в общественной среде, ван Дейк высказывается по этому поводу следующим образом: “Строго говоря, сценарии в лучшем случае определяют множеством возможных моделей”. И несколько ниже: “Используя наши личные модели для создания социальных сценариев, мы в общем случае отвлекаемся от такого специфического личного опыта. Мы нормализуем наш опыт, сравнивая его с опытом других людей, например, когда мы слушаем и запоминаем их рассказы о сходных ситуациях и их модели этих ситуаций. У многих эпизодических (общих) моделей нет вообще соответствующих сценариев” [Дейк 1989: 90-91]. Таким образом, общезначимые фреймы и сценарии образуются (и пополняются, модифицируются) не иначе, как за счёт коллективного вклада ментальных моделей индивидуумов, составляющих социум; с другой стороны, создаваемые таким путём фреймы и сценарии являются способом “приведения к общему знаменателю” ментальных моделей огромного числа индивидуумов, обеспечивая возможность понимания и, как следствие, успех коммуникации между ними.

Укажем и на соотношение объёмов понятий “ментальная модель”, с одной стороны, и “концептивные пространства” и “мен-

тальные пространства” – с другой, для чего вкратце охарактеризуем последние.

М. Бодэн описывает наиболее существенные признаки постулируемых ею концептивных пространств (“conceptual spaces”) следующим образом. Концептивное пространство есть стиль мышления, ментальная способность (“skill”), которая может быть выражена в мраморе, музыке, движении, поэзии, прозе и системе доказательств (системе рационального мышления). Оно определяется набором ограничений (параметрами пространства), управляющих рождением идей в соответствующей сфере. Некоторые из ограничений воспринимаются мыслящим субъектом или социальной группой как более обязательные, чем другие, и некоторые носят более фундаментальный характер, чем другие. Вместе они составляют ментальный ландшафт с характерной структурой и потенциалом. Концептивные пространства аналогичны географическим в нескольких отношениях: они могут быть представлены в виде карты, исследованы и незначительно изменены, что может привести к интересным результатам. В одном, однако, они сильно отличаются: в отличие от физического ландшафта концептивное пространство может быть изменено радикально. Результатом такого рода трансформаций является появление нового пространства возможностей, ментального ландшафта, который не существовал до того. Из сказанного не следует, что креативность предполагает лишь трансформации, хотя самые интересные результаты получаются именно из трансформаций. Многие творческие достижения являются результатом познания концептивных пространств, проводимого систематически и с воображением. Для того, чтобы исследовать и трансформировать наш стиль мышления, – и для понимания и оценки результатов – нам нужны хорошие “карты” соответствующего пространства. Интуитивные карты существуют в нашем мозгу в большинстве случаев как неосознаваемые. В более эксплицитной форме их можно обнаружить (хотя обычно очень схематично) в гуманитарной сфере знания: литературоведении, музыковедении, философии науки и в эстетике, а также в истории искусств, науки и математики [Boden 1996: 121-122].

Ментальные пространства (“mental spaces”) Ж. Фоконье во многих отношениях схожи с концептивными пространствами М. Бодэн, однако не идентичны им, так как в большей степени ориентирова-

ны на язык и, следовательно, понимаются в более узком смысле.\* Концепция ментальных пространств предполагает, что между языком и миром существует промежуточная область, в которой происходит “сортировка” концептивных элементов при конструировании языковых выражений. Ментальные пространства – структурированные наборы концептивных элементов, которые могут модифицироваться по мере развёртывания дискурса и связь между которыми устанавливается при помощи коннекторов. Конструкции ментальных пространств не “ситуации” или “миры”, к которым относятся выражения. Скорее они соответствуют различным пониманиям предложения в контексте (т.е. данным ранее конфигурациям пространств). Таким образом, высказывания понимаются и интерпретируются релятивно развёртывающемуся конструированию ментальных пространств [Fausonnier 1986]. Возвращаясь к схеме семиозиса сентенционального знака, напомним, что в соответствии с принятой аксиоматикой базис задаётся неоднозначно, что вполне соответствует пониманию природы ментальных пространств Ж. Фоконье. Существенным следствием из такой интерпретации базиса является зависимость характеристик векторов от задаваемого базиса: при изменении базиса происходит изменение координат векторов.

Итак, определим отношения между ментальной моделью и ментальным (концептивным) пространством. Ментальное пространство, будучи базисом, является векторным пространством, т.е. задаёт и определяет поведение элементов, охватываемых данным пространством, в нашем случае ментальных моделей. Ментальные модели являются той частью (элементами) пространства, которая задействована в процессе семиозиса сентенционального знака. Свойства ментальных моделей определяются и задаются относительно определенного ментального пространства. Являясь элементом векторного пространства, ментальная модель необходимо носит векторный характер. Векторная природа ментальной модели вытекает из сформулированного выше понимания вектора как

---

\* Несмотря на то, что понятия ментальных пространств и концептивных пространств, как они представлены выше, не вполне синонимичны, мы тем не менее считаем возможным пренебречь моментами различия и трактовать данные термины как синонимичные. Для рассмотрения процесса семиозиса эта разница не является существенной.

сущности динамической, направленной, интерпретируемой, в частности, как сила, действующая на элемент пространства. Отсюда и графическое представление ментальной модели как вектора, а не как точки (по контрасту с моделью Гийома), подвергаемого тензорному преобразованию  $MM \hat{a}_p(MM)$ .

Таким образом, мы полагаем, что ментальная модель, являясь незнаковой (вернее, дознаковой) стадией процесса семиозиса сентенционального знака, необходимо предшествует формированию его десигнатного компонента. Взгляд на десигнатную составляющую сентенционального знака как производную от соответствующей ментальной модели делает правомерным введение в качестве инструмента лингвистического анализа понятия процедурной семантики.\* С точки зрения процедурной семантики семантическая составляющая языкового знака является конечным результатом процедуры преобразования ментальной модели при порождении высказывания и начальным пунктом процедуры понимания высказывания при его рецепции. Так, Ф. Джонсон-Лэрд считает, что начальным продуктом понимания высказывания является ментальный процесс, направленный на конструирование, проверку или сохранение ментальной репрезентации (модели) [Johnson-Laird 1988: 331-332]. Согласно мнению П. Хардера, одним из центральных следствий теории ментальных моделей является вывод о том, что при понимании высказываний мы используем ментальные репрезентации, которые в сущности не являются языком. Напротив, этот процесс включает репрезентацию в форме конструкта с определёнными аналоговыми свойствами, который замещает ситуацию реального мира [Harder 1996: 110]. Под процедурной семантикой, как указывает далее Хардер, и понимается такая связь между мыслительными структурами и языковыми выражениями, когда семанти-

---

\* Подробному освещению природы семантической составляющей сентенционального знака будет посвящён один из последующих разделов настоящей работы. На данном этапе эпизодическое обращение к проблеме семантики вызвано необходимостью определить контраст между ментальной моделью как компонентом предзнака и семантикой как компонентом собственно знака.

ка последних “запускает” конструирование ментальной модели [Harder 1996: 111].\*

Сказанное позволяет придти к следующему выводу: язык и продукт понимания языка не тождественны. Как справедливо подчёркивает Хардер, это есть решительный шаг к осознанию того факта, что языковые значения (семантика языковых единиц) не являются ментальными репрезентациями (моделями).\*\* То, к чему мы приходим при правильном понимании языковых высказываний, не является их языковым значением, но есть нечто гораздо более богатое и ценное для нас: то, каким образом высказывание меняет наше собственное актуальное, ситуационное понимание. Языковые значения являются всего лишь шагом на этом пути. Вслед за некоторыми авторами Хардер использует в отношении языковых значений термин “инструкция” для того, чтобы подчеркнуть процедурную, динамическую природу значений как составляющих элементы ввода для “запуска” процесса понимания; та же идея выражается такими словами, как “ключи” или “намёки” (последние представляются более предпочтительными, так как термин “инструкция” кажется слишком односторонне ориентированным на слушателя, в то время как теория приложима не только к рецепции, но и к порождению высказывания) [Harder 1996: 114].

Установив факт предсемантического характера ментальной модели, попытаемся обосновать и гипотезу о её предпропозициональной природе. Пропозиция, таким образом, полагается вовсе не начальной стадией речепорождающего процесса, как считалось ранее (см., например, [Кацнельсон 1986]), а промежуточной стадией преобразования глубинных мыслительных структур (предзнака) в сентенциональный знак [Худяков 1993 а; Худяков 1998 в].\*\*\*

---

\* Ср. мнение Э. Ройланда по этому поводу, считающего правомерным трактовать значения (читай: семантику) языковых единиц в качестве указателей на концепты [Reuland 1993: 13].

\*\* За рамками рассматриваемой здесь процедурной семантики схожие идеи высказывают и Т. Херманн и Й. Грабовски, отмечающие, что при речепроизводстве репрезентационный формат кодирования на входе является когнитивно-концептуальным, а не языковым, т.е. не семантическим [Hermann, Grabowski 1995: 71-72].

\*\*\* Если прав Дж. Андерсон, считающий, что формой кодирования языковых значений является пропозиция [Anderson 1983: 45], то пренебречь фактором пропозиционализации ментальных моделей при их выведении в сферу языка не представляется возможным.

Итак, для преобразования в конечный продукт семиозиса – предложение – ментальная модель должна пройти стадию пропозиционализации, ибо непосредственно вербализуется именно пропозиция. В данном случае мы имеем дело с тензорным преобразованием вектора  $MM$  в вектор  $p(MM)$  по схеме  $MM \rightarrow p(MM)$ . Каким же образом ментальная модель может превратиться в пропозицию?

Здесь мы вплотную подходим к необходимости рассмотрения второго компонента предзнака – того, который в семиотическом процессе предопределяет формирование десигнаторной части сентенционального знака.

#### **2.2.4.2. Онтология протодезигнатора: пропозициональная матрица**

Вторым компонентом предзнака, представляющим собой структурный прообраз пропозиции, мы считаем пропозициональную матрицу. Соединение ментальной модели с пропозициональной матрицей (вспомним приведённые выше слова Л.С. Выготского о том, что всякая мысль стремится соединить что-то с чем-то) даёт пропозицию. Графически данный процесс представлен как сложение векторов  $p(PrM)$  и  $p(MM)$  с образованием в результате вектора  $P$ , символизирующего пропозицию. Пропозиция есть, с одной стороны, сущность содержательная, так как отражает параметры ментальной модели, соотносимые с онтологической ситуацией, а с другой стороны, она носит схематизированный характер, поскольку увязывает содержательные параметры ментальной модели в типизированную структуру, редуцируя изначально богатую, часто концептивно избыточную и не строго упорядоченную ментальную модель до компактной предикатно-аргументной структуры, преобразуемой затем в сентенциональный знак. Из сказанного следует, что пропозициональная матрица ещё не есть пропозиция. Она станет пропозицией тогда, когда конкретный реляционный предикат свяжет в сеть конкретные актанты, коррелирующие с партиципантами онтологической ситуации, которую отражает ментальная модель. Введение понятия пропозициональной матрицы представляется необходимым и обладающим большой объяснительной силой: без обращения к нему нерешаемым оказывается

вопрос о том, каким образом ментальная модель преобразуется в пропозицию.

На данном этапе рассуждения надлежит сделать одну существенную оговорку. Формирование пропозиции оказывается необходимым при семиозисе предложения для осуществления речевой деятельности обычного, пропозиционального типа. Помимо данного типа речи Е.С. Кубрякова указывает на возможность существования и других типов, при мыслительном конструировании которых мышление обходится без создания пропозиции. К таким типам она относит следующие: топикальные, комментные (рематические), перформативные, связанные с формированием предложения бытийного типа, связанные с формированием высказывания несентенциального типа, тип речи, соответствующий извлечению из памяти готового клише сентенциального типа (поговорки, афоризмы, другие разновидности воспроизводимых в стандартном виде предложений) [Человеческий фактор в языке: Язык и порождение речи 1991: 77-79].

Ещё одно важное замечание необходимо сделать по поводу соотношения между ментальными моделями и пропозициональными матрицами как двумя составляющими предзнака, с одной стороны, и рассматриваемыми Е.С.Кубряковой в рамках теории речепорождения энграммами, с другой. Однако прежде следует установить статус энграмм. Понимаемые в качестве своеобразных следов опыта, возникших как следствие отражения мира и деятельности по его познанию в человеческой голове, прежде всего образами вещей и предметов, людей и других живых существ, представлениями и т.п., энграммы подразделяются на два вида: предметно-образные и языковые. Описывая систему соотнесения и соединения первых со вторыми, что существенно при анализе предречевого этапа речепорождения, Кубрякова обращается к понятию перекодирования элементов невербальной памяти в элементы вербальной памяти при изначально невербальной форме мышления. Она полагает, что такое перекодирование связано с работой разных полушарий мозга на этапах, предшествующих перекодированию, и что оно представляет собой объединение правого и левого полушария в единую работающую систему связей. Указанная связь при этом характеризуется следующим образом: “Исходным материалом для любой мысли является фонд энграмм; мысль рождается при их ак-

тивной перегруппировке, новых объединениях; образные и “картинные” энграммы в правом полушарии связываются с их языковыми коррелятами в левом, благодаря чему считают обычно, что работа по порождению речи приходится на левое полушарие”. Как и В.С. Ротенберг, она отмечает как существенный момент для речевой деятельности то, что спецификой “правополушарного” мышления считают готовность к целостному и одномоментному восприятию мира со всеми его составными элементами. С “левополушарным” мышлением связывается, напротив, способность к последовательному, ступенчатому познанию, которое носит соответственно аналитический, а не синтетический характер. Важно также, что левое полушарие обладает способностью к одновременной обработке информации о нескольких объектах. В этом свете становится понятным, почему связь полушарий головного мозга означает фактически переход от целостного видения ситуации (функция правого полушария) к её расчленённому представлению (функция левого полушария), переход от гештальта к его отдельным частям, от холистического образования к составляющим его отдельным структурам, что лингвистически соответствует трансформации многомерных структур в линейно организованные. “В правом полушарии замысел речи существует как бы в виде многозначного контекста, который не поддаётся исчерпывающему объяснению, подобно впечатлениям от воспринятой действительности, в традиционной системе общения. Стратегия же левого полушария заключается в его разбиении на информацию о нескольких объектах, в выборе того, что поддаётся сказыванию, вербализации того, что может быть выражено на национальном (естественном) языке, наконец, того, что можно логически упорядочить, организовать иерархически... Ясно, что не весь образный и символический контекст сводим к словесно-логическому и что в этом смысле первый богаче второго. Ясно в то же время, что именно словесно-логический выделяет суть дела, упорядочивает смутные видения, организует увиденную на внутреннем экране картину за счёт своеобразного редукционизма, отсева несущественного и т.д.” Учёт функциональной специализации полушарий головного мозга необходим Кубряковой для того, чтобы придти к следующему выводу: “На этапе предречи можно предположить сличение энграмм право-

го полушария с энграммами левого” [Человеческий фактор в языке: Язык и порождение речи 1991: 51-53].

Характеризуемые подобным образом энграммы могут, казалось бы, быть поставлены в параллель с ментальными моделями и пропозициональными матрицами; более того, на первый взгляд может показаться, что разница между ними чисто терминологическая, а не содержательная. На самом деле это не так. Действительно, энграммы сродни устанавливаемым нами ментальным моделям и пропозициональным матрицам по двум существенным параметрам. Во-первых, и те и другие описываются в терминах следов разного рода опыта: опыта контакта с миром (энграммы/ментальные модели) и языкового опыта (энграммы/пропозициональные матрицы). Во-вторых, и те и другие мыслятся как некий фонд (весьма, впрочем, подвижный и лабильный) ментальных сущностей, извлекаемых из памяти при осуществлении речемыслительного процесса и служащих инициальным пунктом процесса создания языкового знака. Однако есть и две позиции, по которым анализируемые сущности разнятся. Первая позиция несовпадения состоит в том, что энграмма допускает понимание в качестве запечатлённого в памяти мыслительного образа как объекта, так и слова. Напротив, ментальные модели и пропозициональные матрицы интерпретируются в качестве запечатлённых в памяти комплексных сложно-структурированных сущностей: ментальная модель в типичном случае не есть модель объекта, но есть модель ситуации, предполагающей взаимосвязь объектов; пропозициональная матрица в типичном случае не есть ментальный образ отдельного слова, но есть ментальный образ структуры, связывающей прообразы языковых коррелятов элементов ментальной модели. Второй пункт отличия состоит в том, что энграммы как оперативные мыслительные единицы используются при построении речевого высказывания любого типа. Напротив, ментальные модели и пропозициональные матрицы используются при построении высказываний сентенциально-пропозиционального типа. К сказанному стоит добавить, что недостаток недифференцированного обозначения единым термином “энграмма” ментальных следов опыта принципиально различного вида (опыта контакта с миром и опыта владения языком) преодолевается путём введения термина “ментальная модель” для обозначения мыслительных следов опыта неязыкового и термина

“пропозициональная матрица” для обозначения мыслительных следов опыта языкового.

Итак, при формировании пропозиции, ведущей к построению сентенционального знака, задействуются ментальная модель и пропозициональная матрица. Для понимания сути процесса пропозиционализации необходимо определить природу ментальных операций над ментальной моделью и пропозициональной матрицей.

Как мы видели, Г. Гийом представлял природу ментальных операций, ведущих к построению знака, как движение мысли от общего к частному, от универсального к сингулярному. Уточняя схему Гийома, мы представляем данный процесс как ряд нескольких сопряжённых процедур, а именно:

- 1) выбор ментальной модели относительно определённого ментального пространства;
- 2) селекция пропозициональной матрицы относительно избранной ментальной модели;
- 3) параллельные преобразования как ментальной модели, так и пропозициональной матрицы, ведущие к последующему образованию пропозиции.

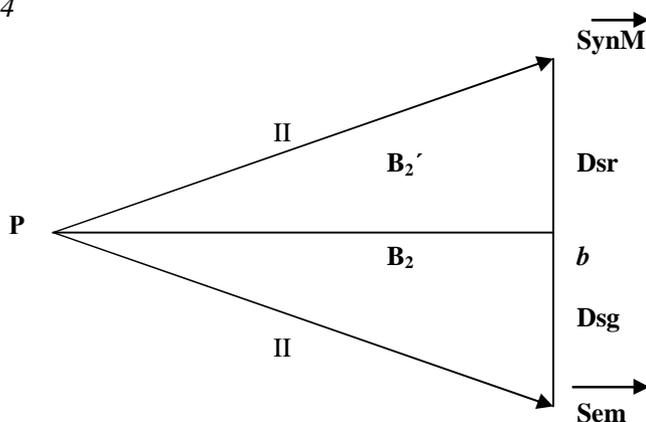
Коммуникативная интенция и замысел речи ведут к селекции говорящим из имеющегося фонда ментальных моделей той, которая в наибольшей степени отвечает коммуникативной цели. Данная ментальная модель, до тех пор пребывавшая в памяти наряду с другими ментальными моделями в относительно статичном состоянии, активируется (о возможности различных степеней активации концептивных сущностей – от инактивной до активной – см. [Chafe 1987: 48]) и ей “подыскивается” соответствующая пропозициональная матрица, которая в свою очередь также извлекается из имеющегося в памяти субъекта речи соответствующего фонда. Преобразование ментальной модели можно представить как ее пропозиционализацию, т.е. качественное изменение в плане типизации, редукции, схематизации, параметризации, иными словами – адаптации к пропозициональной матрице. Природа пропозициональной матрицы, в свою очередь, не может быть безразлична к природе ментальной модели, с которой она соединяется и образует пропозицию. Поэтому мы имеем основания говорить не только о процессе сингуляризации пропозициональной матрицы, т.е. о количественной стороне процесса, но и о процессе тензорного преоб-

разования, т.е. качественной стороне процесса. По всей вероятности, матричное преобразование пропозициональной матрицы является по сути преобразованием инварианта в конкретный вариант, пригодный для совмещения с избранной ментальной моделью. Момент соединения ментальной модели с коррелятивной ей пропозициональной матрицей знаменует собой образование пропозиции, вербализация которой ведёт к появлению билатерального сентенциального знака.

### 2.2.5. Онтология знака

Перейдём к рассмотрению постпропозиционального этапа семиозиса, представленного правой частью схемы 2.

Схема 4



Данная схема иллюстрирует преобразование пропозиции в сентенциальный знак и символизирует тензорное преобразование двоякого рода: тензорное преобразование  $P \hat{\rightarrow} Sem$  имеет своим результатом образование десигнатной (семантической) составляющей знака; тензорное преобразование  $P \hat{\rightarrow} SynM$  имеет своим результатом образование десигнаторной части знака.

Последний процесс является наиболее изученным и наименее интересным в теоретическом плане. С него тем не менее и начнём.

### 2.2.5.1. Синтактика сентенционального знака

Тензорное преобразование пропозиции в синтактику знака, представленное на схеме 4 тензором  $P \hat{\alpha} \text{Syn} M$ , задаётся относительно суббазиса  $B_2'$ , коррелятивного суббазису  $B_2$ . Взаимно двойственные пространства суббазисов  $B_2$  и  $B_2'$  репрезентируют единое пространство языка. Сутью данного преобразования является лиnearизация изначально многомерной объёмной сущности, каковой является пропозиция. Данный процесс характеризуется в количественном и качественном отношении. Количественный аспект процесса предполагает расширение и обогащение изначально минимальной структуры пропозиции за счёт представления элементов актантной сетки на синтаксическом уровне более чем одним элементом, за счёт включения в структуру предложения сирконстантных элементов, получающих синтаксическую нагруженность, но не восходящих к пропозиции, а также за счёт включения в поверхностную структуру всевозможных служебных элементов, набор которых варьируется от языка к языку. Качественный аспект процесса предполагает иерархизацию элементов поверхностной структуры, установление разнообразных синтаксических зависимостей между ними с введением отношений подчинения, соподчинения, инкорпорации и т.п., не отмечаемых в структуре пропозиции.

Синтаксические матрицы, получаемые путём тензорных преобразований пропозиции, носят идиоэтнический (типологически обусловленный) и исчислимый характер. Для каждого из зафиксированных и хорошо исследованных языков определяется свой набор синтаксических матриц, описываемых, как правило, в терминах синтаксических схем, образцов или моделей. Английский язык в этом отношении не исключение. Для него синтаксисты определяют различное количество синтаксических моделей в зависимости от степени дробности классификации. Наибольшее число таких моделей (39) выделяется, насколько нам известно, в концепции Г.Г. Почепцова [Почепцов 1971] (см. также [Актуализация предложения 1997 б]). Думается, здесь нет необходимости приводить список этих моделей – важным для нас является сам факт их выделенности, а также принципиально конечный и обозримый их характер.

Как видно из схемы 4, тензорное преобразование  $\Pi$  переходит не в точку, а в вектор. Это означает, что, несмотря на относительно

устойчивый в синхронном плане характер синтаксических структур языка, к ним в той же степени неприменимо понятие абсолютной статики, в какой это неприменимо к сущностям, обозначаемым всеми остальными элементами схемы 2. В предыдущем разделе работы мы уже показали сугубо динамический (кинетический) характер элементов предзнака, ниже мы укажем на подвижную, изменчивую, неконечную природу семантической составляющей знака. По сравнению с данными сущностями десигнаторная составляющая знака является относительно стабильной, однако любое исследование истории любого живого языка обнаруживает иллюзорность незыблемости его синтаксического устройства. Относительно статичный характер синтаксической составляющей знака объясняется в первую очередь тем, что из четырёх возможных тензорных преобразований, представленных на схеме 2, тензорное преобразование  $P \hat{\rightarrow} SynM$  является единственным, лежащим в формальной плоскости и ведущим к появлению материального экспонента знака. Именно это тензорное преобразование изначально отягощено языковой материей, что естественным образом влечёт за собой его относительную статичность.

Теоретически интересным является вопрос о том, насколько матричное преобразование  $P \hat{\rightarrow} SynM$  является коррелятивным генетически предшествующему ему матричному преобразованию  $PrM \hat{\rightarrow} p(PrM)$ . В этом плане следует отметить, что данные матричные преобразования характеризуются по-разному, т.к. задаются относительно разного типа пространств (базисов) – пространства протознака (ментальное пространство) и пространства знака (языковое пространство). В отношении такой характеристики пространств, как размерность, упомянутой в исходной аксиоматике, два рассматриваемых пространства разнородны: пространство, задаваемое суббазисом  $B_1'$ , является нелинейным, многомерным, объёмным, в то время как пространство, задаваемое суббазисом  $B_2'$ , является одномерным, линейным. Суббазисы  $B_1'$  и  $B_2'$  связаны проективными отношениями неаффинного характера – преобразования объёмных сущностей в линейные по определению не могут быть аффинными. При этом соотношение между элементами ментального пространства не сохраняется при их проецировании в пространство языковое. Кроме того, в случае преобразования  $PrM \hat{\rightarrow} p(PrM)$  мы имеем дело с объёмным матричным преобразова-

нием в определённом ментальном (концептивном) пространстве, не задающем ни линейных, ни плоскостных ограничений тензорным преобразованиям. В случае тензорного преобразования  $P \hat{\rightarrow} SynM$  мы имеем дело с линейным матричным преобразованием, задаваемым относительно пространства языка, которое ограничивает мысль необходимостью приведения ее в номинативно и коммуникативно пригодную форму. Отметим, что трансформация объёмных матричных преобразований в линейные полностью соответствует представлениям о матричных преобразованиях в аналитической геометрии.

Как было указано выше, формирование десигнаторной части сентенциального знака само по себе не является целью коммуникативной деятельности человека и представляет собой лишь средство фиксации семантики знака. Как видно из схемы 4, семантика знака генерируется тензорным преобразованием  $P \hat{\rightarrow} Sem$ , к рассмотрению которого мы приступаем в следующем разделе.

#### **2.2.5.2. Семантика сентенциального знака**

Обсуждению семантической составляющей языкового (сентенциального) знака необходимо предпослать некоторые рассуждения более общего порядка, так как в современной научной литературе найдётся мало проблем, освещение которых носило бы столь же множественный и зачастую противоречивый характер, как семантика. Проблемы семантики стали объектом пристального внимания лингвистов в 70–е годы XX столетия в период так называемого “семантического взрыва”, обусловленного разочарованием как в идеях структурализма блумфилдианского толка, так и в концепции асемантической трансформационно-порождающей грамматики раннего Хомского. Появившееся за последние три десятилетия количество работ, как по общим вопросам семантики, так и по частным её проблемам, воистину не поддаётся обозрению, однако и по сей день не достигнуто сколько-нибудь ясного и общепринятого понимания сферы приложения усилий семасиологов. Иными словами, и поныне вопрос о том, что есть семантика, не является ни риторическим, ни самоочевидным [Худяков 1998 б; Худяков 2000 а]. Сказать, что семантика есть вся содержательная сторона языка и, с

другой стороны, отрасль науки, эту сторону изучающая (семасиология), значит сказать и много, и мало. Много, потому что в самом общем виде такое утверждение не вызывает, по-видимому, особых возражений; мало, потому что понятие содержательной стороны языка само нуждается в объяснении и конкретизации. Семантика в обоих указанных значениях будет интересовать нас в настоящей работе.

### **2.2.5.2.1. Семантика как объект логики**

Прежде всего вспомним то немаловажное обстоятельство, что “семантика” изначально термин логический, введённый в научный обиход американским логиком Ч.С. Пирсом. Пирс не был лингвистом и стремился создать семиотическую теорию, пригодную для универсального приложения, а вовсе не ориентированную на язык. Вполне правомерным поэтому будет наше обращение к логике в поисках ответа на вопрос о том, где коренятся методологические трудности анализа семантики языковой.

Стало общим местом указывать на то, что логика изучает законы мышления. Гораздо меньше внимания, однако, обращается, как правило, на то, в каком ракурсе логика исследует свой предмет. В литературе неизменно отмечается, что логику интересует никак не содержание, а формы правильного мышления. У Н.И. Кондакова, ссылающегося на мнение ряда специалистов в данной науке, например, Э. Мендельсона, Э. Кольмана, О. Зиха, находим следующее понимание специфики логического познания: логика есть анализ методов рассуждений, при этом, изучая эти методы, логика интересуется в первую очередь формой, а не содержанием доводов в том или ином рассуждении. “Современная символическая логика сохраняет полностью важнейшую характеристическую черту формальной логики – она не рассматривает содержание мыслей, а рассматривает только их форму. Как и традиционная логика, символическая логика расчленяет мышление, как бы анализирует его, сводит его к комбинациям простейших элементов. Оставаясь всё-таки формальной, она не в состоянии охватить действительность во всей её полноте” [см. Кондаков 1976: 285, 287]. Показательно в связи с этим мнение В.И. Свинцова, который характеризует логику как

науку об общезначимых интеллектуальных операциях разного рода, рассматриваемых со стороны их формальной корректности [Свинцов 1987: 16]. Для логики основной интерес представляет формализация мышления, т.е. совокупность исследовательских процедур, посредством которых удаётся абстрагироваться от содержательной стороны мышления и сделать объектом изучения его форму [Свинцов 1987: 8].

Чрезвычайно существенным является и то, какого рода иллюстративный материал привлекается в ходе научного анализа. Для логики нового времени таким материалом стала служить математика, и синтез этих двух наук отнюдь не случаен. Так, В.И. Свинцов считает необоснованным даже само противопоставление традиционной (идушей от Аристотеля) и математической логик, поскольку вторая является естественным продолжением и развитием первой. В основе обеих логик лежит формализация мышления; разница состоит в степени его разработки, в уровне абстрагирования от содержательной стороны мышления. Математическая логика есть традиционная формальная логика в наиболее завершённом, законченном виде; степень её отвлечения от содержательной стороны мышления такова, что для возврата к “исходной точке” требуется специальная процедура, называемая интерпретацией [Свинцов 1987: 17]. По мнению В. Зегета, в настоящее время логикой также больше занимаются математики, чем философы, применяется она больше в математике, чем в других науках, а современный учебник по формальной логике больше похож на математический труд, чем на философский [Зегет 1985: 15]. Показательны в связи с этим попытки некоторых логиков, в частности, Г. Фреге, Б. Рассела и А. Уайтхеда, вообще свести всю математику к логике, стереть всяческие границы между этими двумя науками. Так, Рассел в одной из своих работ 1924 года пишет: “Логика стала математической, математика логической. Вследствие этого сегодня совершенно невозможно провести границу между ними. В сущности, это одно и то же. Они различаются как мальчик и мужчина: логика – это юность математики, а математика – это зрелость логики” [цит. по: Гетманова 1995: 359–360]. Итак, для того, чтобы уяснить природу трудностей, связанных с логической проблематикой, необходимо хотя бы кратко охарактеризовать область знания, называемую математикой.

А.Ф. Лосев, посвятивший рассмотрению данного вопроса специальную работу, цитирует слова видного математика А.Н. Колмогорова, считающего, что математика как наука изучает только отношения, безразличные к конкретной природе связываемых ими объектов. Солидаризуясь с данным мнением, Лосев отмечает, что математическое обозначение имеет своим предметом те или иные системы бескачественных отношений при условии однородности, неизменности и неподвижности как самих этих отношений, так и составляющих их элементов. Сравнивая математику и язык, Лосев приходит к убеждению, что количественные акты полагания, свойственные математике, полная их бескачественность и строгая системность ровно ничего существенного в языке не выражают. К тому же в сравнении с неподвижностью математического предмета язык находится в состоянии непрерывного изменения и развития [Лосев 1970: 187–188]. В то время как математическое обозначение имеет своим предметом то или иное всегда одноплановое количественное отношение, обозначение языковое всегда имеет своим предметом ту или иную многоплановую структуру, в которой один план ни в какой мере несводим к другому плану [Лосев 1970: 192–193]. Идея многоплановости, неоднозначности единиц естественного языка в сравнении с формальными искусственными языками, например, языками математических дисциплин, обосновывается Н.В. Перцовым [Перцов 1998: 3]. Говоря об отношениях лингвистики и математики, Г.В. Степанов предупреждает лингвистов о том, что они должны учитывать то обстоятельство, что математики имеют дело с точной аппроксимацией, а лингвисты работают на основе аппроксимативной точности. Математику достаточно иметь неполное описание, языковед, напротив, может удовлетворить только полное, исчерпывающее описание. При этом математик вообще весьма редко интересуется проблемой с тех же позиций, с каких к ней обращается лингвист, он нередко так группирует факты языка, что лингвист с трудом распознаёт свой объект. Математик может иногда отказаться от разработки проблемы, которую сформулировал нематематик, например, лингвист. Он почти всегда сравнивает свойства исследуемого объекта с другими объектами, лингвист же стремится выявить и описать прежде всего свойства самого объекта (языка). Языковед, как указывает Степанов, не может воспользоваться математической формулой для исследования

языка, так как математика есть особый способ осмысления фактов. Проникнув в область языка, она может привести к следующим нежелательным результатам: если языковед передоверяет свой объект (язык) математику, то язык становится “естественно-научным” объектом. Если же, с другой стороны, языковед использует математический аппарат в специфически комплементарных целях, связанных с задачами прикладной лингвистики, то возникает опасность свести математику до примитивного уровня и, пройдя этот этап исследования, снова оказаться лицом к лицу с труднейшей задачей, которая заключается в “точном” описании языка [Степанов 1988: 53–54].

Об этом же, по сути, пишут и чешские исследователи, отмечающие, что лингвистика ни в коем случае не может быть сведена к математике, поскольку между естественным языком и формальным языком логики существует огромная разница. Эта разница коренится в том, что язык является естественным и существует до и независимо от приложения научной мысли, в то время как формально-логические языки как раз являются результатом исследовательского осмысления. Таким образом, эмпирические вопросы лингвистики не имеют прямых аналогий в математике [Sgall, Hajičová, Panevová 1986:10].

Думается, что при подобном положении дел нет никаких оснований ожидать, что семантика, возникшая в лоне логики как науки формально-математической, будет хоть в сколько-нибудь существенной степени иметь отношение к реальности языка как сущности, отражающей и выражающей нормы сознания. Ведь природа сознания и языка как его объективации, с одной стороны, и природа математики, с другой, не только не тождественны, но и разнятся целым рядом существенных свойств. Во-первых, как было показано выше, математику интересуют лишь количественные полагания и правила операций с ними; напротив, естественное сознание и обыденное мышление человека, являющиеся и в филогенезе и в онтогенезе почвой для возникновения и развития языка, ориентированы прежде всего на качественную сторону мира, на отражение и познание действительности в её качественной определённости. Во-вторых, математическое мышление в отличие от наивного обыденного мышления, являющегося средой возникновения естественного языка, ни в коей мере столь же естественным быть признано

не может. Оно есть результат специальным образом организованного обучения умению оперировать мыслительными конструктами и правилами, имеющими сугубо конвенциональный характер. Возникая онтогенетически естественным путём в процессе межличностного общения и взаимодействия с окружающим предметным миром, родной язык без видимых усилий и специально организованной программы обучения становится достоянием индивида в объёме, вполне достаточном для его (индивида) социализации. Математические же знания схожим образом не возникают – не будучи переданы индивиду посредством искусственно созданной методической среды, они не могут быть освоены им подобно языку. В-третьих, математика оперирует величинами абстрактного характера, в то время как мышление человека изначально конкретно, мыслительные и языковые абстракции становятся доступными сознанию индивида лишь на определённой, достаточно высокой ступени его ментального развития и носят хотя и чрезвычайно важный, но всё же хронологически вторичный характер по отношению к мышлению конкретному. Последнее, безусловно, не исчезает с возникновением и развитием способности к абстрагированию, не отменяется, а дополняется ею. Это третье различие между математическим и естественным мышлением (и языком) представляется настолько важным, что требует дополнительного пояснения.

Для математики и логики выражения типа “2 больше, чем 1” будут непреложной истиной в силу именно того факта, что цифрами выражаются числовые, т.е. количественные абстракции с абсолютно выхолощенным предметным содержанием, и именно как таковые они не вызывают возражения и выполняют полезную математическую функцию, для которой они и были созданы. Однако, как только мы попытаемся приписать данным числовым абстракциям некоторые конкретные предметные значения, “увидеть” сквозь них онтологический мир, непреложность истин типа “2 больше, чем 1” исчезает. Например, 2 стола будут больше, чем 1 карандаш, но 2 карандаша не будут больше, чем 1 стол. Но для математики числовые абстракции, выражаемые цифрами, – лишь первый шаг по пути абстрагирования. Следующим шагом является введение буквенных абстракций типа “если  $a$  больше  $b$ , то  $b$  меньше  $a$ , если  $a$  рядом с  $b$ , то  $b$  рядом с  $a$ ” и т.п. И эти абстракции не вызывают сомнений, но лишь до тех пор, пока сквозь них не нач-

нут проступать конкретные онтологические объекты. Так, если выражение “если стол стоит рядом со стулом, то стул стоит рядом со столом” вполне укладывается в вышеприведённые логико-математические формулы и может служить их иллюстрацией, то почему выражение “если велосипед стоит рядом с домом, то дом стоит рядом с велосипедом” воспринимается как аномальное? Почему при каноничности языковых выражений типа “стол стоит на полу” выражения типа “пол лежит под столом”, что является с логико-математической точки зрения обозначением абсолютно симметричных конверсивных и потому равноправных и тождественных пространственных отношений, вовсе не являются естественными, а, напротив, кажутся по меньшей мере странными? Ответ на эти и другие подобные вопросы даёт когнитивная лингвистика, позаимствовавшая и развившая идею гештальт-психологии о фигурно-фоновом принципе перцепции и концептуализации объектов внешнего мира [см., напр., Ungerer, Schmid 1996; Langacker 1990 а; Langacker 1987; Talmy 1987 и др.]; математике, как и формальной логике, справиться с такими кажущимися парадоксами живого человеческого мышления и языка оказывается не под силу.

Итак, как ни старайся, а увидеть в математике нечто похожее на семантику, т.е. отношение знака к миру, что является одной из исследовательских задач семиотики, никак не удаётся. Видимо, не в последнюю очередь в силу осознания этого факта логики школы аналитической философии в конце XIX – начале XX веков переключили своё внимание на естественный язык, сделав его объектом логического анализа и добившись на этом пути немалых интересных результатов. Большим теоретическим подспорьем для логического анализа языка явилось возникновение в начале XX века лингвистического структурализма и обоснование им знаковой природы языка [Соссюр 1977]. Коль скоро язык есть система знаков, а любой знак с точки зрения семиотики характеризуется наличием семантической составляющей, представлялась весьма соблазнительной и перспективной эксплуатация материала естественного языка для иллюстрации качественных параметров и механизмов функционирования знаковых систем вообще. Заметим, что при этом понимание семантики оставалось сугубо логическим, а именно как семантики условий истинности (см., напр., [Huang, May 1992: VII–VIII]). Соединив два указанных аспекта семантики (семантика есть

отношение знака к миру и семантика есть условие истинности), получаем следующую интерпретацию семантики в рамках аналитического подхода: семантика есть выражение условий истинности суждения, переданного средствами языкового выражения. Таким образом, логическая семантика и как теория референции и как теория смысла во главу угла ставит исследование истинностных аспектов языковых выражений. На этом пути, однако, она сталкивается с серьёзными методологическими трудностями, проистекающими из онтологических свойств естественного языка.

Дело в том, что язык оказался куда более капризным объектом приложения усилий логиков, чем традиционно использовавшаяся для этих целей математика. Указанная выше специфика естественного языка в противопоставленность математике постоянно давала о себе знать при попытках подвергнуть его логическому анализу. Так, язык оказался раздражающе алогичен во многих своих проявлениях и на разных уровнях своей организации. Немецкий логик В. Зегет к числу недостатков естественного языка относит следующие: 1) слова естественного языка со временем постепенно и почти незаметно меняют своё значение; 2) в естественном языке часто бывает, что одно слово одновременно имеет два или более различных значения и одновременно обозначает различные предметы, но бывает также, что различные слова имеют одно и то же значение, обозначают один и тот же предмет; 3) значение слов естественного языка часто бывает расплывчатым, неопределённым, т.е. не всегда можно сказать об определённом предмете, что слово обозначает именно его; 4) употребляемые грамматические правила построения выражений естественного языка в логическом смысле также несовершенны, не в любом случае можно определить, имеет данное предложение смысл или нет. Показателен в этой связи призыв Зегета к искоренению вышеперечисленных “недостатков” языка [Зегет 1985: 26–27]. Заметим, что данный перечень “недостатков” языка с точки зрения логики отнюдь не полон и с лёгкостью может быть продолжен, например, за счёт таких его свойств, как способность к трансформациям, транспозициям, перефразированию, тавтологии, плеоназму, семантическим декомпозициям и свёрткам, тропеизму, имплицитности, нестабильности и неконечности значений и др. Эти особенности языка, служившие основанием для упреков в его несовершенстве, в рамках современной

лингвистической парадигмы осознаются как неслучайные, значимые и содержательно наполненные [Никитин 1997 б: 7].

Что касается непосредственно семантики, то, как было сказано выше, её исследование было сведено логиками аналитической школы к анализу условий истинности пропозиции, выраженной в высказывании. Но и здесь язык проявил неуступчивый характер. При ближайшем рассмотрении оказалось, что люди могут делать идеальные по логической форме, но заведомо ложные суждения. Вдобавок во весь рост встала проблема анализа в терминах “истинно/неистинно” произведений художественной литературы. Эти последние, являя собой художественный вымысел, продукт воображения автора, не представлены вместе с тем как ложные, противоречащие действительности.

Стремление разрешить парадокс, заключающийся в одновременной истинности и неистинности художественного произведения, а также постановка в повестку дня логики проблем модальной семантики (семантики возможности и необходимости) и проблемы интенциональных контекстов привели логиков к ряду искусственных для природы языка решений, центральным из которых было выдвижение теории семантики возможных миров. Суть этой теории, выдвинутой ещё несколько столетий тому назад И.Д. Скотом и Г.В. фон Лейбницем и возрождённой в современной логике С. Крипке и Р. Монтегю, ясно изложена современным новозеландским логиком М. Крессвеллом: возможный мир – это такой, которого нет, но который мог бы быть. Используя в качестве примера текст романа Ч. Диккенса “Посмертные записки Пиквикского клуба”, Крессвелл задаёт вопрос: “Существовало ли в реальности всё то, о чём говорится в романе?” И сам отвечает: “Не существовало, но могло бы существовать в одном из возможных миров – мире, созданном воображением Ч. Диккенса, поэтому мы принимаем за исходное допущение, что суждения данного текста истинны, хотя и знаем, что это не так” [Cresswell 1988, Cresswell 1996]. В лингвистике рефлексам идеи семантики возможных миров явились многочисленные работы, как правило, стилистического направления, посвящённые исследованию таких конструкторов сознания, как мир персонажа, мир рассказчика, мир автора, мир героя и т.п. Количество возможных миров объявляется принципиально неограниченным, а раз так, то сложно говорить о наличии каких-либо законо-

мерностей корреляции их с единственным непреложным (онтологическим) миром.

Как справедливо указывает О.В. Трунова, проблема истинности/ложности высказывания, коренная для теории семантики возможных миров, является иррелевантной для лингвистики, так как в языке не существует формальных маркеров, позволяющих отличить истинные высказывания от ложных [Трунова 1991: 7].\* По мнению Ф. Джонсона-Лэрда, принципиальная бесконечность возможных миров делает невозможным их обработку человеческим сознанием, а жизнеспособной альтернативой им могут служить описываемые Джонсоном-Лэрдом ментальные модели, способные к трансформации и адаптации к меняющимся условиям коммуникации [Johnson-Laird 1988]. Другой альтернативой может служить выдвинутая в когнитивной лингвистике концепция ментальных пространств, основное отличие которых от возможных миров коренится в их концептуальной природе. Как пишет Дж. Лакофф, пространства не обладают онтологическим статусом вне мышления и, следовательно, не играют никакой роли в объективистской семантике. В отличие от возможных миров ментальное пространство не относится к числу таких сущностей, которым в качестве примера можно сопоставить реальный мир или его часть. Как следствие, ментальные пространства не могут функционировать в теории значения, основывающейся на отношениях между символами и вещами, реально существующими в мире, что составляет суть логической семантики [Лакофф 1995: 173].

Сказанное убеждает в том, что давно уже назрела необходимость дать принципиальную оценку как школе аналитической философии, так и, шире, применимости логических подходов и методов к анализу естественного языка, ибо без такой оценки невоз-

---

\* Наряду с учёными, ставящими проблему истинности в центр лингвистической проблематики, и теми, кто признаёт данную проблему для лингвистики иррелевантной, существует и третья группа исследователей, представители которой не отказывают проблеме истинности в релевантности для лингвистической проблематики, однако делают при этом существенные оговорки. Так, Дж. Лайонс при определении критерия истинности предложения говорит о необходимости учёта его контекста [Lyons 1981], а некоторые представители пражской школы считают необходимым при определении критериев истинности предложения учёт прагматического фактора [Sgall, Hajičová, Panenová 1986].

возможным окажется решение как общелингвистических проблем, так и анализ языковой семантики. Относительно аналитической философии приведём полностью разделяемое нами мнение Я. Келемена: “Можно констатировать, что результаты, к которым пришла в своём внутреннем развитии аналитическая философия, создали, вне всякого сомнения, зияющий разрыв между философским и лингвистическим подходом к языку” [Келемен 1977: 107]. Проблема истинности, центральная для аналитико-философского направления, получила критический отзыв со стороны Ч. Филлмора, утверждающего, что семантика, в основе которой лежат истинностные процедуры, снабдила лингвистику антиинтуитивным представлением о presuppositions и истине и вывела за их пределы многие аспекты понимания языка [Филлмор 1988: 53].

Развёрнутую критику школы аналитической философии даёт и В.А. Звегинцев, который пишет: “Недостаток этой философской школы заключается, однако, в том существенном факте, что на место мышления она поставила логику. А логика, конечно, несопоставима с мышлением в силу уже того обстоятельства, что наиболее сильной стороной мышления, по-видимому, является его способность действовать как раз наперекор логике. Любые логики, кроме того, располагают слишком скудными и слишком слабыми средствами даже и для статического описания языка и его концептуального богатства. Ведь по сути дела всякая логика также представляет собой всего лишь язык, хотя и более строгий, чем естественный язык, но значительно более элементарный, чем этот последний. Поэтому всякая попытка логического представления естественного языка не может претендовать на адекватность и подобна попытке воспроизвести всё красочное многообразие произведения живописи средствами графической линии. Что же касается объяснительных возможностей логики в проблеме языка и мышления, то они оказываются ещё более сомнительными, хотя бы уже потому, что логика не знает той многозначности отношений, которые существуют в описанном выше триединстве. Связывая мышление жесткими формами правил, которые должны обеспечить мышлению нормативную строгость, логика в контексте разбираемой нами проблемы в лучшем случае может быть определена как орфография мысли. А всякая орфография при всей её практической пользе,

как известно, условна и находится вне динамики живой речи” [Звегинцев 1986: 32-33].

Продолжая далее тему применимости логических методов в языкознании, отметим, что, несмотря на имеющиеся попытки показать, например, комплементарность понятий предикатной логики и семантики предложения [Москальская 1981: 18], превалирующим, похоже, является мнение даже среди логиков о том, что не только логика предикатов, но и вообще никакая другая логика не может непосредственно охватить всё бесконечное и постоянно меняющееся разнообразие конкретных обстоятельств употребления языковых символов [Петров, Переверзев 1993: 7]. Проявлением логической природы языка многие учёные считают дихотомичный, бинарный принцип его структурной организации (см., напр., [Бюлер 1993: 73]), однако и эта точка зрения подвергается в последние годы серьёзной критике, т.к. “гибкость и подвижность языковых знаков в плане их соответствия определённым участкам категориального континуума ставит под сомнение оппозитивный принцип формирования языковых категорий и позволяет предположить нежёсткий характер языковой таксономии в целом” [Болдырев 1994: 54]. К тому же следует помнить, что в лингвистике фундаментальным остаётся разграничение между языком и речью, в то время как логика от этого разграничения абстрагируется – для логики текст (речь) задан, если задан язык [Структура и смысл 1989: 96].

Отсюда следует, что семантика логико-математическая и семантика лингвистическая приложимы к двум принципиально разным объектам: первая – к однозначно интерпретируемым формализованным языкам, вторая – к естественному языку, однозначная интерпретация единиц которого без обращения к контексту невозможна [Вяткина 1991: 48]. Как писал ещё в 1964 году Л. Антал, значительное недопонимание в отношении языковой семантики возникло потому, что в логике развилась одноимённая область исследования. Логическая семантика, полагает Антал, не только не в состоянии заменить собой лингвистическую семантику, но фактически не может дать сколько-нибудь значительного стимула для её развития, поскольку её объект совершенно отличен, хотя некоторые представители логической семантики воображают, что они исследуют значение языка. Таким образом, их объекты различны, что обуславливает их независимое раздельное существование. Однако,

заключает учёный, это имеет и другое следствие, а именно: что методы логики, за исключением лишь некоторых случаев, не могут в целом быть применены в лингвистике, потому что они были разработаны для объекта совершенно другой природы [Antal 1964: 9].

По справедливому замечанию М.В. Никитина, "... формальная (символическая, математическая) логика предлагает замкнуться уровнем символов, и это побуждает к осторожности в принятии её допущений для объяснения механизмов естественного языка" [Никитин 1996: 651]. В свою очередь, Г. Гийом настаивал, что лингвист не должен интересоваться логикой языка, так как логика, по его убеждению, это вымышленное движение вещей, в котором не учитываются дорожные происшествия и те помехи, которые вещи привносят вместе с собой. "Логика – это воображаемая простота. Не знаю, каким был бы язык, построенный по этой воображаемой линии. Не могу этого знать, такого языка не существует. Знаю только то, что наблюдаемый язык не следует такой прямой дорогой. Дорога, которой он следует, – это путь когерентности, где случаются дорожные происшествия, ошибки на уровне мысли, речи и письма" [Гийом 1992: 18-19].

Отчего же именно логика стала той призмой, сквозь которую на протяжении многих веков осуществлялся взгляд на язык? Думается, что ответом на этот вопрос могло бы стать критическое осмысление той роли, которую в истории лингвистической мысли сыграл Аристотель. Известно, что именно Аристотелю принадлежат первые научные идеи об устройстве языка и что именно он впервые сделал язык объектом научного познания. Влияние аристотелевской традиции в языкознании поэтому огромно – последние две с половиной тысячи лет всякое лингвистическое направление так или иначе "возвращалось к истокам", пытаясь освятить свои методологические установки авторитетом античной древности. Аристотелевский же подход к языку был подходом логика, интересовавшегося в основном такими сущностями, как силлогистика, проблема истинности и ложности, логическая непротиворечивость и т.д. Всей лингвистике, таким образом, был изначально задан логический крен, который лишь во второй половине XX века лингвистика, кажется, начала преодолевать. Замечательно по этому поводу пишет Т. де Мауро: "При первой оценке того положительного, что дала языковая концепция Аристотеля, мы не должны, од-

нако, забывать о тех следствиях культурного и логического порядка, которые она повлекла за собой. С точки зрения истории лингвистической культуры аристотелевская концепция оказала противоположное воздействие на двух её последовательных этапах. При своем возникновении она воспринималась как призыв к учету важности языковых форм на фоне их обесценивания у Платона; для самого Аристотеля, для его непосредственных последователей и противников в лице античных стоиков тот призыв воплотился в пристальный, глубокий интерес к фактам языка. Именно благодаря Аристотелю в среде перипатетиков и стоиков возникли и оформились в систему, просуществовавшую долгие века, фундаментальные понятия фонологии, морфологии и синтаксиса <...>. Но в более дальней перспективе концепция Аристотеля <...> оказала влияние в ином направлении: начиная с эпохи древних греков и римлян и до наших дней она душила всякий интерес к специальным лингвистическим исследованиям” [Мауро 2000: 43]. Из удручающих объятий логики, стремящейся, по сути, выхолостить из лингвистики язык, и пытается вырваться языкознание последних десятилетий.

Приведённые наблюдения наталкивают на вполне определённые выводы относительно статуса логики как науки об универсальных законах человеческого мышления и об её субстратной роли в отношении категории языка. Так, Джонсон-Лэрд выделяет следующие шесть проблем ментальной логики:

1. Люди делают ошибочные выводы.
2. Какого рода логика или логики находятся в нашем сознании?
3. Каким образом логика формулируется в сознании?
4. Каким образом логическая система возникает в сознании?
5. Какие из имеющихся в психологии данных подтверждают тот факт, что вывод всегда непосредственным образом связан с содержанием исходных посылок?
6. Человек следует экстралогической эвристике, когда делает спонтанные выводы. По всей вероятности, он руководствуется принципом “поддержки семантического содержания” посылок, но выражает, формулирует вывод в более экономичной лингвистической форме.

Не отвергая в целом доктрину ментальной логики, автор вместе с тем считает, что наступило время для радикально иной кон-

цепции вывода, а именно: стоит отказаться не от той идеи, что человек способен к рациональному мышлению, а от идеи, что основанием этой способности является ментальная логика. Возможно мышление без логики. Что удивительно, замечает Джонсон-Лэрд, так это то, что мышление без логики может быть вполне адекватным. Отбросив поиски ментальных правил вывода, становится возможным обратиться к психологическому аспекту мышления и развить теорию механизмов вывода, из которых автоматически следуют эвристические принципы мышления [Johnson-Laird 1983: 39-40]. “Тезис, который я защищаю, – заявляет учёный, – состоит в том, что мышление обычно осуществляется без обращения к ментальной логике с её правилами формального вывода” [Johnson-Laird 1983: 41]. Люди обычно не мыслят истинностно-функциональным образом – это является возможным способом мышления, но не превалирующим [Johnson-Laird 1983: 51]. (Заметим, что мысль о неединственности алгоритмов мышления не отвергается теперь и самими логиками: “Существует столько типов логик, сколько существует типов научных задач, вынуждающих наше сознание структурно и функционально перестраиваться для эффективного и адекватного их решения” [Жоль 1990: 189]).

Что же предлагается взамен логики с её правилами формального вывода? Джонсон-Лэрд выдвигает на первый план в качестве такой альтернативы уже описанные в предшествующих разделах настоящей работы ментальные модели, конструируемые людьми в процессе мышления и коммуникации. Ментальные модели, по которым люди думают, более напоминают концептуализацию событий, чем цепочку символов, прямо соответствующую лингвистической форме посылок логического суждения. Мышление состоит не в том, чтобы вскрыть логические формы посылок, а затем применить к ним правила вывода с целью прийти к заключению. Это даже не есть процесс подстановки истинностных значений для конститuentов пропозиции и выведения значимости состава пропозиции. Суть процесса состоит в интерпретации посылок как ментальных моделей, которые принимают во внимание общие знания, и поиске контрпримеров для заключений с помощью построения альтернативных моделей посылок. Единственный пример истинностной функции, по которой люди думают в повседневной жизни, – это когда мир ведёт себя “истинностно-функционально”, т.е. по

“логике” так называемых контактно-релейных схем. Реальные утверждения в реальных контекстах лишь иногда порождают такого рода истинностно-функциональные выводы [Johnson-Laird 1983: 53-54]. В целом, как справедливо полагает Р. Кемпсон, не истинностное значение пропозиции предопределяет значение предложения, а, наоборот, именно лингвистическое значение предложений в значительной степени предопределяет условия истинности пропозиции, которую они могут выражать. В одной из своих последующих работ Р. Кемпсон детально останавливается на тех лингвистических проблемах, которые не поддаются решению с позиций семантико-истинностного подхода к предложению [Kempson 1988: 142-150].

На алогичную природу концептуальных сущностей, составляющих каркас мышления и естественный субстрат категории языка, указывает Т. Виноград [Виноград 1983: 154-155]; он же и Ф. Флорес говорят, что явления фона и интерпретации пронизывают всю нашу повседневную жизнь, а значение (семантика) всегда производно от интерпретации [Виноград, Флорес 1995: 220].

Итак, концепция семантики, заимствованная лингвистикой из логики и некритично ею усвоенная, оказывается при ближайшем рассмотрении малопродуктивной, затемняющей суть дела и не отвечающей потребностям лингвистического анализа.

#### **2.2.5.2.2. Семантика как объект лингвистики**

Многие проблемы лингвистической семантики коренятся в том, что, усвоив семиотический термин “семантика”, лингвистика стала применять его без должного переосмысления к своему собственному материалу, специфика которого заключается в том, что в отличие от прочих знаковых систем, для которых верно определение семантики как отношения знака к обозначаемому объекту, для знака языкового такое определение является принципиально неполным и неоправданно упрощённым. Следует со всей определённой подчеркнуть, что знаки языка непосредственно отражают не объективный мир, а нашу концептуализацию этого мира. Коль скоро концептосфера являет собой обработанный сознанием когнитивный слепок с объективного мира, то именно она и должна быть признана объектом лингвистической семантики. Как справед-

ливо замечает А. Вежбицка, предметом семантики является не реальный мир, а концептуализация мира. Говорить о том, что те или иные различия – это “всего лишь различия в концептуализации”, значит забывать или не хотеть признать, что первостепенный и наиболее существенный предмет лингвистики составляет именно концептуализация... Язык отражает мир только косвенным образом. Он отражает непосредственно нашу концептуализацию мира [цит. по: Семантические типы предикатов 1982: 10].

С. ДеЛанси также отмечает, что семантика конструкций как уровня предложений, так и уровня дискурса коренится в когнитивной репрезентации, предваряющей оба уровня, которые, в свою очередь, не являются производными друг от друга. И семантические, и функционально-дискурсивные факты являются отражением лежащих в их основе когнитивных схем, освещение которых должно быть конечной целью семантики и анализа дискурса [DeLancy 1987: 54]. Лингвистическая семантика поэтому не может не быть, с одной стороны, когнитивной, то есть ориентированной на закономерности мышления и, в частности, концептуализации, а с другой стороны, прагматической, ибо отражает, концептуализирует и оперирует языковыми знаками не сам язык, а человек – носитель языка. Т. де Мауро высказывается по этому поводу следующим образом: “Наша многовековая традиция почти всегда упускала из виду, что в действительности формы языка вовсе не наделены какими-либо внутренними семантическими свойствами, – они всего лишь более или менее хитроумные орудия, приспособления, лишенные жизненности и ценности, если не находятся во владении человека и исторической общности людей, которые ими пользуются. Иными словами, ошибка кроется в утверждении и в вере в то, что слова и предложения что-то означивают; означивают только люди, используя слова и предложения. Не в самих языковых формах, а в обществе, которое ими пользуется, следует искать гарантии успешной означивающей и коммуникативной деятельности. Если проследить все следствия, вытекающие из такого взгляда, то прежде всего исчезнет призрак некоммуникабельности, и тогда станет возможным построить семантику на солидной историко-критической основе, семантику как теорию означивающей деятельности в её исторически обусловленных формах” [Мауро 2000: 31].

Исходя из этого, объективистскую, логико-семиотическую в своей основе точку зрения на значение как на нечто внеположенное человеку, несмотря на её глубокую укоренённость в нашей интеллектуальной традиции, следует решительно пересмотреть, ибо её принятие приводит к следующим выводам: люди второстепенны при изучении значения; люди умеют как-то “подключаться” к автономному разуму; разумное мышление можно рассматривать как алгоритмическую манипуляцию с символами (см.: [Ченки 1997: 346]). Напротив, субъективистская концепция значения в полной мере учитывает фактор пользующегося языком человека и делает своим предметом реальные познавательные процессы [Langacker 1990 b].

Таким образом, мы солидарны с когнитивным взглядом на семантику, который вкратце может быть охарактеризован следующим образом. Значение, как было указано выше, при данном подходе приравнивается к концептуализации, которая включает в себя как устоявшиеся, так и новые концепты; сенсорный, двигательный и эмоциональный опыт индивида; установление непосредственного контекста (общественного, физического и языкового) и так далее (см.: [Ченки 1997: 357]). Действительность проецируется в семантику естественного языка, в результате порождается то, что Р. Джэкендофф называет “спроецированным миром”, который отличается от мира действительности, во-первых, в силу специфических особенностей человеческого организма вообще, а во-вторых, в силу специфики конкретных культур (см.: [Рахилина 1997: 372]). Р. Лэнекер, внёсший, пожалуй, наиболее значительный вклад в разработку проблем когнитивной семантики, формулирует помимо перечисленных следующие тезисы: часто употребляемое выражение обычно реализует сеть взаимосвязанных смыслов; семантические структуры характеризуются относительно “когнитивных областей”; семантическая структура получает свою значимость посредством наложения так называемого “профиля” на “основу”; семантические структуры включают в себя условную “образность”, то есть они представляют ситуацию определённым образом. Одним из центральных понятий когнитивной семантики является понятие “области”, то есть своего рода ментального контекста, в котором осмысливается и вербализуется конкретная ситуация. Среди основных областей есть опыт времени и способность концептуализиро-

вать конфигурации в 2- и 3-мерном пространстве. Эти и некоторые другие области являются базовыми, когнитивно нередуцируемыми; предположительно именно с них мы начинаем конструировать нашу ментальную вселенную, приходя к всё более высоким уровням концептуализации [Langacker 1988 с: 49-55].\*

Из сказанного следует, что семантическая структура не является отдельным или автономным “модулем” психологической организации, которую можно вынуть и изучать в изоляции от всей богатой ткани нашего мыслительного опыта. Лэнекер замечает, что рассмотрение семантической структуры как самодостаточного, алгоритмически описываемого компонента лингвистической системы теоретически удобно, но в то же время это неизбежно обедняет и искажает предмет описания радикальным образом [Langacker 1988 с: 56].

Выше уже указывалось, что когнитивный подход к семантике не может не быть одновременно и прагматическим. Это следует из отказа когнитивистов проводить чёткую разграничительную линию между лингвистическими и нелингвистическими (энциклопедическими) знаниями. По этому поводу Лэнекер высказывается в том смысле, что существование такой чёткой границы было признано на методологической (а не фактологической) основе; только при таком подходе семантическая структура (и вообще лингвистическая структура) может быть описана как самодостаточная система, пригодная для алгоритмического формального подхода. Однако теоретическое удобство не образует эмпирического свидетельства. Лэнекер не видит никакой априорной причины принять реальность дихотомии семантика/прагматика. Вместо этого он принимает энциклопедическую концепцию лингвистической семантики, элиминируя, таким образом, границу между нашим лингвистическим и экстралингвистическим знанием сущности, обозначенной словом; при наличии границы по одну её сторону располагаются семантические спецификации, а по другую – прагматические. Гораздо более реалистичным учёный полагает постулирование градации “центральности” в спецификациях, составляющих наши энциклопедические знания. На уровне когнитивной обработки централь-

---

\* Подробный анализ категорий когнитивной семантики (в её американском варианте) в сопоставлении с соответствующими им категориями, принятыми в отечественной семантической школе, см. [Рахилина 2000].

ность может быть эксплицирована как вероятность того, что определённая спецификация будет активирована в конкретном случае употребления слова [Langacker 1988 с: 56-58].

Ещё одним важным вопросом когнитивной семантики является уже упомянутая теория образности. Под образностью понимают не визуальную или сенсорную образность; этот термин относится к нашей удивительной способности “структурировать” или “рассматривать” воспринимаемую ситуацию самыми разными способами [Langacker 1988 с: 63, 65]. Языковым рефлексом этой способности будет, в частности, наше умение обозначать в форме предложения концептуализируемую ситуацию с различной степенью дробности, под разным углом зрения и варьирующей фокусировкой.

Помимо уже упомянутых постулатов когнитивной семантики А.Н. Баранов и Д.О. Добровольский формулируют и следующие: постулат о тенденции к экономии усилий, постулат о множественности воплощения когнитивных структур в языке, постулат о неоднородности плана содержания языкового выражения, постулат о множественности семантического описания, постулат о значимости нестандартных употреблений [Баранов, Добровольский 1997].

Изложенная в предыдущих разделах настоящей работы теория векторного представления семиозиса и тензорных преобразований в семиотическом процессе оказывается вполне приложимой и к обоснованию валидности когнитивной семантики не только с позиций теоретических, но и эмпирических. Эмпирическое обоснование предполагает привлечение данных в первую очередь нейронаук с их инструментально-экспериментальной базой. Именно по пути анализа достижений в области изучения структур мозга пошла, по свидетельству Л. Янды, философ П. Черчлэнд, ставя перед собой задачу выяснить, каким образом результаты данных исследований можно применить к теориям значения и познания и создать единую науку, занимающуюся мозгом-сознанием, под названием “нейрофилософия”. Черчлэнд обнаружила, что результаты исследований в нейробиологии противоречат привычной и прочно укоренившейся компьютерной метафоре для ментальных репрезентаций и процессов обработки информации. Более невозможно утверждать, что мозг хранит и обрабатывает конечные единицы информации в виде последовательностей, содержащих значительное количество дис-

кретных единиц. Процесс обработки сигнала станет при этом астрономически трудным. Учитывая то, что известно о скорости, с которой нейроны возбуждаются, и о количестве этапов, необходимых для решения обычной проблемы (например, достать какой-то предмет рукой), для представления всей операции в виде линейной последовательности, как это делает цифровой компьютер, требуется предусмотреть время совершения операции на несколько порядков большее, чем время, фактически затрачиваемое мозгом при выполнении такого рода заданий. Оказывается, что мозг не хранит информацию в “центрах”, а выполняет это задание, используя сети кодирующих информацию нейронов. Каждый раз, когда осуществляется доступ к любой части сети, активируется (возбуждается) вся сеть. Решение проблемы осуществляется не как последовательная обработка, а скорее как матричное умножение, т.е. модель активности одной нейронной сети проецируется на другую. Это известно как теория тензорной сети, которая обеспечивает возможность принятия относительно простого решения для преобразования векторной информации в такую, которая необходима для того, чтобы, например, поймать мяч (что включает в себя координацию движений мяча и руки). Научное доказательство состоятельности этой теории обеспечивается исследованиями анатомии мозга и экспериментами в области его нейронной структуры, и, вдобавок, данная теория даёт интуитивно правдоподобное объяснение деятельности мозга. Вообще говоря, мы не осуществляем векторные исчисления, когда ловим мяч, мы просто соотносим наше восприятие движения мяча с мускульными движениями руки, с тем чтобы рука перехватила мяч в его движении, или, другими словами, мы, по-видимому, проецируем воспринимаемое движение на мускульное движение. Открытие того, что нейроны пластичны, их информационно релевантные части увеличиваются и сжимаются (и это оказывается существенной характеристикой их функционирования как сущностей обработки информации), проливает свет на принципы усвоения информации мозгом. Теоретические рассуждения в рамках логики множеств и логики символов имеют своим следствием тот вывод, что мозг просто добавляет всё больше и больше единиц информации. Однако теория тензорной сети показывает, что усвоение информации мозгом предполагает расширение нейронных сетей, и это имеет следствием автоматическую интеграцию новой инфор-

мации в существующие модели – процесс, трудно поддающийся объяснению с позиций логического эмпиризма.

Получившие широкую известность работы Э. Рош и её коллег, освещающие вопросы категоризации естественных классов, доказывают состоятельность заявления о психологической реальности структуры значения, сделанного с позиций когнитивной семантики, а нейробиологические исследования идут ещё дальше, показывая, что когнитивная теория значения опирается на физическую реальность (на основе анализа анатомии и функции мозга). Ясно, резюмирует Янда, что фундаментальные послышки когнитивной семантики по меньшей мере совместимы с данными нейробиологов и психологов и фактически даже более совместимы, чем постулаты других современных семантических теорий [Janda 1993: 8-9].

Следует подчеркнуть, что именно когнитивно-прагматический подход к семантике делает её изучение задачей собственно лингвистической, а не логико-семиотической, позволяет в собственно лингвистических терминах описать концептуальный субстрат языка и открывает новые широкие возможности для понимания механизмов его функционирования.

### 2.2.5.3. Семантика предложения

Семантика сентенционального знака, как видно из схемы 4, есть результат тензорного преобразования  $P \hat{\rightarrow} Sem$ , задаваемого относительно суббазиса  $B_2$  (пространство десигната), который совместно с коррелятивным ему суббазисом  $B_2'$  (пространство протодесигнатора) репрезентирует единое пространство языка, задаваемое базисом  $B$ . Как и всякое тензорное преобразование, оно характеризуется в количественном и качественном отношении. По количественному критерию данное тензорное преобразование можно определить как увеличение объёма информации при переходе от пропозиции к предложению. Вообще говоря, информация в акте семиозиса сентенционального знака претерпевает метаморфозы двоякого рода, представленные графически вектором переноса информации ( $TrInf$ ) на схеме 2. Фактически вектор есть результат сложения векторов  $I$  и  $II$  (напомним, что данные векторы есть тензоры). Вектор  $I$  показывает, что объём информации уменьшается

при пропозиционализации ментальной модели – тензорном преобразовании  $MM \xrightarrow{p} (MM)$ , что не ведёт к качественной редукции информации. Напротив, данный процесс ведёт к кристаллизации, конкретизации и спецификации того объёма информации, который генерируется в акте семиозиса. На этапе II, обозначенном тензорным преобразованием  $P \xrightarrow{Sem}$ , объём информации увеличивается за счет вербализации пропозиции – процесса, результатом которого является появление сентенционального знака, протяжённого во времени и пространстве. Появление сентенционального знака есть проекция пространства предзнака (заданного суббазисами  $B_1$  и  $B_1'$ ) на пространство знака (заданного суббазисами  $B_2$  и  $B_2'$ ). Констатация неаффинного характера проекции суббазиса  $B_1$  на суббазис  $B_2$  справедлива в отношении преобразования протодесигната в десигнат в той же степени, в какой она справедлива для преобразования протодесигнатора в десигнатор. Причина неаффинного характера проекции элементов пространства  $ProDsg$  в пространство  $Dsg$  коренится в качественном отличии пространств: первое определяется как ментальное, второе как языковое. Кроме того, пространство протодесигната является нелинейным, многомерным, объёмным, а пространство десигната следует определить как плоскостное или двумерное по следующей причине. Двумерность семантического пространства вытекает из двойственности функциональной нагруженности семантики: семантика сентенционального знака, с одной стороны, “отвечает” за референциальную отнесённость знака, а с другой – за семантическую комбинаторику имён в нём. Таким образом, мы получаем две функциональные линии, а, как известно, две линии задают линейную плоскость.

Качественный аспект рассматриваемого тензорного преобразования связан с иерархизацией информационных потенциалов различных частей предложения, например, в плане его актуального членения (о языковом, а не сугубо речевом характере актуального членения предложения см. [Егорова 1999]).

Результатом анализируемого тензорного преобразования является не точка, а вектор. Это означает, что семантика сентенционального знака носит подвижный, вероятностно-стохастический, изменчивый характер [Никитин 1988; Никитин 1997 а], определяемый её когнитивной сущностью.

Прояснив вопрос о том, что есть семантика вообще и сентенциальная семантика в частности, попытаемся сформулировать те выводы, к которым мы приходим при интерпретации семантики предложения как языкового знака. Мы полагаем, что, взятое в номинативном аспекте, предложение не обнаруживает принципиально иных семантических свойств по сравнению с другими знаковыми единицами языка, прежде всего словом. Подобно тому, как тело словесного знака посредством семантического компонента знака оказывается способным обозначать некий денотат (референт), так и экспонент сентенциального знака благодаря соотнесённости с семантикой является способным обозначать денотативную ситуацию или факт. Не отличаются две стороны сентенциального знака от двух сторон знака словесного и в том отношении, что как для слов, так и для предложений продуктивным оказывается феномен асимметричного дуализма. Семантика предложения оказывается принципиально схожей с семантикой слова и в том, что и та и другая имеют когнитивную природу, подчиняются тенденциям прототипической организации и не внеположены человеку по способу существования. Их отличие проистекает из того очевидного факта, что для предложения, в отличие от слова, выполнение номинативной функции не является не только единственным, но и основным. Предназначенность предложения – изначально коммуникативная; коммуникация же невозможна без осуществления референции к миру, которая и обеспечивается номинативным аспектом предложения. Предложению изначально предопределено функционировать в качестве высказывания, и именно этот его телеологический аспект создаёт контраст между семантикой сентенциальной и лексической: первая самым тесным образом ассоциируется с феноменом смысла, а вторая – нет. Исходя из предположения о том, что генерирование и трансляция именно смысла, а не семантики являются сущностью процесса семиозиса, перейдём к обсуждению природы смысла в третьей главе данной работы.

## ГЛАВА 3

### СЕМИОЗИС РЕЧЕВОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ

#### (ВТОРИЧНЫЙ СЕМИОЗИС)

Сконструированное по принципу тензорных преобразований в ментальном и языковом пространствах предложение языка не есть цель осуществления речемыслительного процесса. Оно лишь орудие, инструмент, с помощью которого достигаются генерирование и трансляция смыслов. Несводимость смысла высказывания к значению предложения заставляет обратиться к рассмотрению природы смысла и, шире, той части лингвистики, которая охватывает теорию речевой коммуникации.

#### 3.1. Теория смысла

Интересующий нас феномен смысла является объектом междисциплинарным, общим для таких наук, как логика, психология и лингвистика. Цель настоящего раздела – раскрытие сущности смысла как явления языка, определение и описание его собственно лингвистических параметров. Реализация этой цели потребует, однако, некоторых предварительных замечаний относительно статуса категории смысла в логике и психологии, без чего анализ его языковой природы был бы принципиально неполным и фрагментарным. Столь же неполным было бы и исследование смысла без обращения к его корреляту – значению, в противопоставлении которому обычно и выявляются сущностные характеристики смысла.

##### 3.1.1. Смысл в логике

Впервые в заострённой форме вопрос о соотношении смысла и значения был поставлен Г. Фреге в его ставшей классической работе “Смысл и денотат” [Фреге 1977], положившей начало многочисленным попыткам анализа смысла в рамках различных логико-философских школ и стимулировавшей интерес учёных к разра-

ботке данной проблематики. Фреге ставит вопрос разграничения смысла и значения в рамках решения проблемы кореферентных имён: если два (или более) имени обозначают один и тот же денотат, чем же они отличаются – смыслом или значением? Отвечая на этот вопрос, Фреге следующим образом разводит значение и смысл: кореферентные имена или выражения экстенционально тождественны, т.е. имеют одно и то же значение, а интенционально различны, т.е. имеют разный смысл. “Понятие смысла Фреге имеет познавательную функцию: оно вводится прежде всего для решения проблемы познавательной ценности или информативности истинных утверждений тождества” [Павилёнис 1983: 48-49]. Смысл, таким образом, рассматривается как способ представления информации в знаке, а значение выводится за пределы языка во внешний мир, отождествляясь с денотатом. Характерно в связи с этим то обстоятельство, что название немецкого оригинала рассматриваемой статьи (“Sinn und Bedeutung”) дословно переводится как “Смысл и значение”, а русский перевод ставит в параллель термину “Bedeutung” (“значение”) термин “денотат”. Фреге, таким образом, закладывает основы объективистской, антипсихологической в своей основе концепции смысла, трактующей смысл как феномен интерсубъективный, по сути не связанный с фактором пользующегося языком и интерпретирующего язык человека [см. Структура и смысл 1989: 96].

По мнению Н.Б. Вяткиной, все логико-философские концепции смысла, так или иначе отталкивающиеся от идей Фреге, можно условно подразделить на три группы. К первой группе она относит референциальные (“экстенциональные”) теории, отождествляющие смысл языковых выражений с их референтами (денотатами) и представленные трудами таких логиков, как С. Крипке и Я. Хинтикка, к числу сторонников которых Р.И. Павилёнис относит также Льюиса, Монтегю, Каплана и Крессвелла [Павилёнис 1983: 57]. В рамках данного подхода понятие интенционала по Фреге остаётся невостребованным, т.к. считается, что истинность языкового выражения зависит в конечном итоге не от способа представления информации в языковом знаке, а от положения дел в мире, то есть референта языкового знака. При этом Хинтикка намечает дальнейшие перспективы исследования феномена смысла, увязывая его на этот раз с понятием информации: деля её на поверхностную и глу-

бинную, он связывает со смыслом языковых выражений именно поверхностный её тип [Вяткина 1991: 50-55].

Ко второй группе относятся теории, связывающие смысл предложения с условиями его истинности. Типичным представителем этой группы теорий выступает, в частности, Д. Дэвидсон [Дэвидсон 1986], который при анализе смысла интенсивно использует теоретические положения семантики возможных миров, по отношению к которым и ставится вопрос истинности/неистинности пропозиций, выражаемых предложениями. В логике вообще, как отмечает Вяткина, весьма распространено представление о смысле (интенционале) предложения или о выраженном в нём суждении как о множестве возможных миров, в которых оно истинно [Вяткина 1991: 56]. Давая оценку истинностным концепциям смысла, Р.И. Павилёнис пишет: "... определение осмысленности в терминах истинности предложения таит в себе порочный круг: знание истинности предложения предполагает знание его смысла, если же известен смысл предложения, нет необходимости прибегать к понятию истинности для определения семантики предложения. Вообще дискуссия по поводу первичности понятия истины в отношении понятия смысла или наоборот, с нашей точки зрения, напоминает спор по поводу первичности курицы или яйца..." [Павилёнис 1983: 53]. В целом концепции данного направления представляют скорее логико-философский, чем лингвистический интерес, т.к. проливают свет на общую теорию значения, мало адаптированную к реалиям языка.

К третьей группе принадлежат теории определения смысла предложения как информации, которую он несёт. Эти теоретические позиции заняты такими авторами, как М. Данн и Г. Прист. Последний, протестуя против идеологии экстенционализма, отвергает и порождаемую ею идею семантики возможных миров, находя её мало приспособленной к решению исследовательских задач в области смысла, и призывает вернуться к интенциональной трактовке смысла в духе Фреге. К числу сторонников информационно-ориентированного подхода к смыслу Вяткина относит также Е.К. Войшвилло, Л. Витгенштейна в поздний период его деятельности и Дж. Остина. Вообще говоря, в рамках именно этого логико-философского подхода к теории смысла, принимающего во внимание фактор межличностной коммуникации, наиболее полно учитыва-

ются реалии естественного языка. Так, Остин, разграничивая в языке констативные и перформативные высказывания, показал неприменимость к последним критерия истинности, а следовательно, и критерия осмысленности по Фреге. Это заставило его выработать более общее и более, так сказать, лингвистическое понимание смысла, которым охватывались бы как констативы, так и перформативы [Остин 1986]. Не менее лингвистичной оказывается и трактовка смысла в работах по теории речевых актов таких учёных, как Г. Грайс, Дж. Сёрль и Д. Вандервекен [Грайс 1985; Сёрль, Вандервекен 1986]. Смысл в рамках такого подхода трактуется как производное от условий речевого общения, предполагающих учёт фактора говорящего, слушателя, времени, места общения и т.п.

Давая общую характеристику логическим концепциям смысла, Н.Б. Вяткина (и в этом с ней трудно не согласиться) пишет, что логика как наука не находится в каком-то особом “изначальном” положении по сравнению с другими науками, а имеет свой собственный, специфический предмет – особый вид смысловой связи между языковыми выражениями, а именно связь логического следования или вывода [Вяткина 1991: 70]. Коль скоро это так, то не приходится рассчитывать, что логические концепции смысла могут быть с большой степенью пригодности и эффективности использованы при истолковании смысла в естественном языке. Как справедливо указывает Н. Мулуд, логически значимые выражения становятся незначимыми или “неозначающими”, если мерить их меркой естественных языков коммуникации, и, наоборот, выражения, имеющие в этих языках смысл, с трудом обеспечиваются логическими кодами. “Можно составить список “парадоксов”, которые, по-видимому, свидетельствуют о невозможности точного перевода фраз разговорного языка в перечень строгой денотации или вывода. Эта “обоюдная непроницаемость” двух типов языка приводит к мысли о каком-то категориальном нарушении” [Мулуд 1979: 266]. И далее в развитие той же мысли: “Анализ обычных фраз повседневной речи подчёркивает характер связей схем действия, их включение в более или менее сложные “программы”; он увенчивается построением речевой модели, весьма отличной от той, которую предлагают “номиналистические” учения о референции” [Мулуд 1979: 238].

### 3.1.2. Смысл в психологии

Обратим теперь своё внимание на сторону, противоположную той, на которой стоит логика. Её антиподом в плане разработки теории смысла является психология, которая отказывается от объективистского, intersubjectного, общезначимого понимания смысла в пользу трактовки его как феномена субъективного, личностного, индивидуального. Заметим, что и в психологии смысл, как правило, рассматривается в противопоставление значению, а само это противопоставление утвердилось с появлением в 1934 году классической работы Л.С. Выготского “Мышление и речь” [Выготский 1934]. Ученик и последователь Выготского А.Р. Лурия следующим образом характеризует рассматриваемую дистинкцию: “Под смыслом, в отличие от значения, мы понимаем *индивидуальное значение слова*, выделенное из этой объективной системы связей, оно состоит из тех связей, которые имеют отношение к данному моменту и к данной ситуации. Поэтому если “значение” слова является объективным отражением системы связей и отношений, то “смысл” – это привнесение субъективных аспектов значения соответственно данному моменту и ситуации” [Лурия 1979: 53]. Такая интерпретация соотношения смысла и значения вызывает возражения К.К. Жоль, который определяет её как квазипсихологическую, т.к. она, по его мнению, делает смысл эпифеноменом значения, мышление (единицами которого являются смыслы) – эпифеноменом сознания (единицами которого являются значения), уничтожая границу между ними\* [Жоль 1990: 68]. Такая критика не представляется нам достаточно убедительной, т.к. исходит из предположения о равновеликости, симметричности, параллелизме смысла и значения, сосуществующих каждый в своей сфере бытия (первый – в сфере мышления, второй – в сфере сознания) и эти две сферы репрезентирующих. Как мы попытаемся показать ниже, с лингвистической точки зрения смысл и значение противопоставле-

---

\* Отметим, что в одной из своих предшествующих работ К.К. Жоль определял разницу между значением и смыслом по-иному, вне проблемы разграничения сознания и мышления: языковое значение определялось им как принадлежащее общественному сознанию, а языковой смысл как принадлежащий индивидуальному сознанию [Жоль 1984: 10-11].

ны друг другу на несколько иных основаниях, причём оба относятся к одной сфере – сфере мышления.

Психологический ракурс рассмотрения смысла приводит Лурия к лингвистически релевантным выводам: “Уже в относительно простых речевых высказываниях или сообщениях наряду с внешним, открытым значением текста есть и его внутренний смысл, который обозначается термином *подтекст*. Он имеется в любых формах высказываний, начиная с самых простых и кончая самыми сложными. <...> Психологически очень важно изучить пути перехода от текста к подтексту, от внешнего значения к внутреннему смыслу” [Лурия 1979: 244]. Изучение взаимоперехода значения в смысл и смысла в значение и вообще их взаимосвязи является не только психологически, но лингвистически важной задачей, к решению которой мы приступаем в дальнейшем изложении.

### 3.1.3. Смысл в лингвистике

В лингвистической литературе феномену смысла традиционно уделяется большое внимание, и разброс мнений по этому вопросу чрезвычайно широк. Одни авторы при анализе смысла делают акцент на общесемиотическом компоненте содержательной стороны языкового знака, приближаясь в какой-то степени к трактовке смысла в духе логических теорий. Другие обращают внимание на когнитивно-познавательный аспект смысла, устанавливая его корреляции с концептуальной системой человека. Третьи в своих исследованиях делают упор на анализ смысла с собственно лингвистических позиций, раскрывая его характеристики через противопоставление языковой системы и речевой деятельности. Положение осложняется тем, что указанные подходы редко встречаются, так сказать, в чистом виде; достаточно типичной является ситуация совмещения разных ракурсов рассмотрения статуса смысла в рамках единой концепции.

Начнём с рассмотрения концепции смысла Ю.С. Степанова, излагаемой им в рамках семиологической грамматики. Объектом приложения теории смысла (и значения) в семиологической грамматике является предложение в виде структурной схемы или пропозициональной функции, т.е. рассматриваемое как статичный

языковой знак, разделяющий эту свою знаковую природу с именем. В предложении выделяются две семантические сферы: экстенционал, денотат или референт как обозначение факта действительности, с одной стороны, и интенционал, сигнификат или смысл как некая мысль об этом факте, с другой. Характерно, что, используя при описании семантики предложения изначально логические термины интенционал и экстенционал, Степанов ставит и решает применительно к предложению чисто логическую проблему–проблему истинности/неистинности высказывания: “...интенционал, смысл предложения – это нечто более общее, чем истина или ложь, нечто, что может соответствовать или истине, или лжи. Сущность интенционала можно – до некоторой степени – пояснить на примере двух связанных сложных предложений: *Верно, что (в Арктике живут белые медведи)*; *Неверно, что (в Арктике живут белые медведи)* – часть, взятая в скобки, есть в более или менее “чистом” виде интенционал, или смысл, тогда как всё высказывание в целом есть одно истина, другое ложь. Таким образом, смысл предложения лежит в интенциональной области, в то время как “истина” или “ложь” – в экстенциональной. Иными словами, истинность или ложность есть не проблема смысла, а проблема значения предложения” [Степанов 1981: 12]. Напомним, что, с нашей точки зрения, проблема истинности или ложности не является проблемой не только смысла, но и значения предложения и, шире, вообще языка (см. гл. 2).

Результатом так понимаемого Степановым разграничения смысла и значения является и разграничение им денотативной (экстенциональной) и смысловой (интенциональной) синонимии. Трансформации предложения (например, залоговые) ведут к смысловой синонимии, но денотативной нетождественности; перифрастические же преобразования сентенционального знака, не затрагивая его денотат, изменяют его смысл [Степанов 1981: 13].

В том же логико-семиотическом ключе трактует феномен смысла и И.И. Ревзин, который также определяет его как способ представления денотата в знаке. Далее, однако, ход мыслей Ревзина совершенно иной, чем у Степанова. Выделяя перифрастический и категориальный смысл, он определяет первый как множество всех знаков, в которые перифразируется данный знак, а само множество таких знаков называет перифрастическим набором; второй

же тип смысла дефинируется как тот способ представления объекта в знаке, который определяется чисто языковыми особенностями означающего [Ревзин 1977: 36-40]. Перифрастический смысл Ревзина имеет лишь отдалённое отношение к перифразам как виду языкового преобразования Степанова: перифрастический смысл может быть как различным, так и тождественным, перифразы же определяются как имеющие только нетождественный смысл. К тому же перифрастический смысл приписывается языковым знакам любого уровня; перифразы, напротив, ограничены лишь уровнем предложения. Категориальный смысл Ревзина тесно связан с понятием внутренней формы языковой единицы (в первую очередь лексической) и не может быть поставлен в соответствие какой бы то ни было аналитической абстракции в концепции Степанова. Для концепции смысла Ревзина характерна ещё одна особенность, отличающая её от подавляющего большинства других, будь то логические, психологические или лингвистические концепции – в ней смысл рассматривается вне противопоставления значению. И тем не менее можно отметить одно важное обстоятельство, роднящее теории смысла Степанова и Ревзина, а именно: интерпретация смысла языковых знаков в отрыве от порождающих эти языковые знаки носителей языка, от коммуникативного процесса, всегда осуществляемого в определённом лингвистическом и нелингвистическом контексте.

Несколько иной ракурс трактовки смысла представлен в концепции тех авторов, которые связывают его с концептивным субстратом языка. Одной из наиболее развёрнутых концепций такого рода является понимание смысла Р.И. Павилёнисом, согласно мнению которого смысл есть часть индивидуальной концептуальной системы человека как системы его мнений и знаний о мире, носящей доязыковой и внеязыковой характер и отражающей его доязыковой и языковой познавательный опыт [Павилёнис 1983: 12]. Другими словами, смысл, или концепт, по Павилёнису есть “...*информация относительно актуального или возможного положения вещей в мире* (т.е. то, что индивид знает, предполагает, думает, воображает об объектах мира)...” [Павилёнис 1983: 102]. В одной из своих последующих работ учёный обосновывает следующие четыре положения относительно интересующей нас проблемы:

“а) смысл является не частью некоторой абсолютной “семантики языка”, а частью того, что ... называется “*индивидуальными концептуальными системами*”, т.е. системами ложной и истинной информации, отражающими познавательный – *невербальный и вербальный* – опыт индивида;

б) усвоение языка основано на существовании достаточно когнитивно богатой *концептуальной структуры*;

в) понимание есть *интерпретация в определённой концептуальной системе*, построенной из взаимосвязанных концептов-смыслов, составляющих когнитивно базисные подсистемы *мнения и знания*;

г) именно мнения составляют основу ориентационного отношения человека к миру и являют собой критерий *субъективной значимости мира*” [Павилёнис 1986: 240-241].

Такая трактовка смысла хоть и является лингвистически релевантной, но всё же имеет скорее философское, общеметодологическое звучание, чем собственно лингвистическое. Более ориентированными на задачи исследования языкового материала являются концепции смысла, сформулированные, в частности, в следующих работах. Так, смысл отождествляется с концептом в теории Н.Н. Болдырева, согласно мнению которого сутью коммуникативного акта является обмен смыслами, или концептами, с помощью языковых единиц [Болдырев 1999: 16]. При этом проблема соотношения смысла и значения также не выпадает из поля зрения автора – значение рассматривается как тот же смысл, только системно закреплённый: “Системное значение слова описывает стоящий за ним концепт, и в речи на основе этого значения формируется соответствующий смысл” [Болдырев 1999: 17]. Смысл трактуется и как реализующийся на синтаксическом уровне и представляющий собой в таком случае интегративный результат взаимодействия лексических и грамматических концептов [Болдырев 1999: 18].

Согласно мнению Т.А. Фесенко, смысл интерпретируется в качестве “сгустка” информации об актуальном или вероятном положении дел в реальном мире, который включает всё, что человек думает, представляет, воображает, предполагает или знает об объектах мира, и как таковой отождествляется с концептом [Фесенко 1999: 113]. Сопоставимое понимание смысла находим и у Н.В. Костенко, в чьей трактовке смысл, или концепт, является гло-

бальным, диффузным отражением какой-либо денотативной ситуации во всей её цельности, без анализа и расчленения [Костенко 1998: 35]. Список авторов, с чьей точки зрения смысл идентичен концепту, может быть легко продолжен. По нашему же мнению, такого рода отождествление не вполне правомерно и вот почему.

Не вызывает никакого сомнения тот факт, что концепты могут обозначаться словами; слова же как языковые знаки имеют значения – значения вообще нередко определяются как концепты, связанные знаками [Никитин 1996: 88]. Но коль скоро это так, то тогда наряду со значениями слов правомерно говорить и о смыслах слов, что ведёт к теоретическим трудностям двоякого рода. С одной стороны, подобное утверждение ведёт к выводу о возможности исчисления (скажем, в форме словарной статьи) смыслов слова подобно исчислению его значений. Однако, по мнению М.В. Никитина, которое мы разделяем, в лексикографической практике дело обстоит следующим образом: “Нельзя ... сказать “сколько смыслов этого слова фиксирует словарь”, надо: “сколько значений...” [Никитин 1996: 392]. Иначе говоря, естественный язык в силу каких-то причин отказывается от использования термина “смысл” для обозначения поименованных словесными знаками концептов в пользу термина “значение”. Стало быть, лексические значения не есть смыслы, но тогда, может быть, они есть обозначения смыслов? Если это так, то в таком случае всякая разница между смыслом и концептом окончательно исчезает, и нам придётся констатировать наличие избыточного терминологического ряда для именованной сущности, объективируемых во внешней знаковой форме с помощью слов.

С другой стороны, никто из сторонников отождествления смысла и концепта не оспаривает наличия смысла у предложения-высказывания, что приводит к ещё одной терминологической проблеме: следует ли постулировать наличие в языке двух типов смысла (*смысл<sub>1</sub>* – лексический и *смысл<sub>2</sub>* – сентенциональный), так как ясно, что предложение не есть конгломерат составляющих его слов, и, следовательно, его смысл не будет результатом механического суммирования их смыслов. Отметим, что в отношении термина “значение” такой проблемы не возникает, так как значение привычно делится на различные подвиды и рассматривается как относящееся ко всем знаковым уровням языковой системы. Остаётся предположить, что слово не является экспликатором смысла, и

смысл поэтому не есть, строго говоря, концепт (ср. также мнение С.А. Васильева о том, что смысл не сводится к понятию о предмете [Васильев 1988: 87]).

Мы полагаем, что решение проблемы смысла с лингвистических позиций может быть найдено в несколько иной плоскости, при этом первостепенное значение приобретает учёт двух взаимосвязанных противопоставлений: слова и предложения, с одной стороны, и языковой системы и речевой деятельности – с другой. Остановимся на этом более подробно.

Как известно, язык в широком смысле, имея знаковую природу, представлен знаками разного рода, важнейшими из которых являются слово и предложение. Вопрос об их значимостном статусе в языке решался разными авторами по-разному. Так, К. Бюлер, критикуя распространённое среди лингвистов и психологов XIX века мнение о том, что в языке первично предложение, а не слово, высказывается в пользу признания равновеликости, равноценности слова и предложения: “Предложение также не может существовать до слова, как и слово до предложения, поскольку они являются коррелятивными элементами одного и того же (скорее всего достаточно продвинутого) состояния человеческого языка. <...> Абстрактная схема предложения без словесного наполнения также не может существовать, как какое-либо отношение без членов этого отношения” [Бюлер 1993: 70-71]. Этой точке зрения противостоит другая, согласно которой языковая номинация подчинена языковой коммуникации и, соответственно, слово – предложению: “И если из чего и состоит язык, то разве только из целых предложений. Ведь язык есть орудие общения, а общение предполагает те или иные высказывания, понятные тем, кто владеет данным языком. Но высказывание чего-нибудь о чём-нибудь есть приписывание чего-нибудь чему-нибудь, частичное или полное отождествление чего-нибудь с чем-нибудь или, попросту говоря, предцирование чего-нибудь о чём-нибудь, т.е. выражаясь грамматически, то или иное предложение. В современной науке роль предложения, а также его различные формы и типы изучены весьма глубоко. И можно сказать, что никакой лексики без предложения вообще в живом языке не существует. Всякая живая лексика уже так или иначе пропозициональна” [Лосев 1982: 246].

С А.Ф. Лосевым солидарны и многие другие авторы. Так, В.М. Солнцев, говоря о значимости синтаксической конструкции для реализации грамматико-семантических свойств входящих в неё лексических единиц, пишет, что именно в рамках действия синтаксической конструкции как бы уже заданы те синтаксические связи, в которые могут вступать слова, а также задан характер реализации их валентностных потенциалов [Солнцев 1977: 297]. Аналогичное суждение высказывает В.Б. Касевич, замечая, что слово вне синтаксической конструкции, даже грамматически оформленное, неопределённо и синтаксически, и семантически [Касевич 1988: 242]. Размышляя о роли предложения в языке в его соотношении со словом, Р.Г. Авоян указывает, что исходным пунктом исследования языкового процесса должно быть признано не слово, а предложение, т.к. без предложения не может быть ни мысли, ни сообщения мысли другому, ни средства воздействовать на поведение людей. Предложение, по мысли учёного, есть не только форма языка, но и форма деятельности, ибо посредством предложения человек не только мыслит, но и действует: если жизнь языка – в действии, то предложение и есть способ действия. Вообще понимание языка напрямую увязывается автором с пониманием именно предложения. По контрасту, значения слов в словаре являются абстракциями от их естественной среды – предложения. “То, что они относятся к миру, создаёт иллюзию, будто их значения не зависят от того предложения, в котором они употребляются. Бытие слова вне предложения есть абстракция” [Авоян 1985: 69-70, 94].

К заключению о примате предложения над словом приходит и Э.Д. Сулейменова в результате предпринятого ею анализа языковой номинации и коммуникации. По её мнению, номинация и как процесс, и как определённая система средств формируется только в условиях коммуникации, самостоятельность и независимость номинации от коммуникации только относительна – свойства номинации полностью реализуются и раскрываются только в процессах коммуникации. Далее она пишет в развитие этой же мысли, что всякая материализация результатов мышления прежде всего ориентирована на сообщение, поэтому неполным оказывается представление о номинации как неизменном и самодостаточном компоненте языка, а о номинативной деятельности как о создании, поиске, выборе и простом воспроизведении имён [Сулейменова 1989: 8].

Отсюда правомерен вывод о ведущей роли предложения в качестве реализатора функции коммуникации по отношению к слову в качестве реализатора функции номинации. С точки же зрения знаковой теории языка некоторые авторы даже отказывают единицам лексического уровня в знаковом статусе, резервируя его для предложений. Например, Ю.Н. Сыроваткин вслед за Л. Приетом, Э. Бейсансом и В.Г. Гаком рассматривает уровень предложения-высказывания как собственно знаковый, трактуя единицы низлежащих уровней, в частности слова, как субзнаки [Сыроваткин 1978: 25].

Соответствующим психологической реальности признает приоритет предложения над словом и У. Кинч. Анализируя результаты психолингвистических экспериментов Миллера, Хайзе и Лихтена, он отмечает, что, в частности, знаменательные слова, предъявляемые испытуемым в условиях шумовых помех, распознаются более точно в контексте предложения, чем в качестве изолированных единиц в форме списка. Сентенциональные контексты, таким образом, способствуют семантизации слов, сужая выбор альтернативных вариантов, которые слушающий потенциально готов воспринять. Схожие результаты были получены и при анализе эксперимента по восприятию слов в составе грамматически правильных и аграмматичных построений: испытуемые легче идентифицируют лексические единицы в составе грамматически правильного контекста. Как далее указывает Кинч, Миллер отвергает теорию, согласно которой речь организуется на “словной” основе (“word-for-word basis”), на том основании, что такая стратегия построения высказывания предполагала бы принятие слишком большого количества решений со стороны говорящего, что повлекло бы неизбежное замедление темпа речи. По Миллеру, слушающий воспринимает больший объем информации, чем отдельное слово – при перцепции слов в грамматически правильном контексте слушающий использует свое знание языка с тем, чтобы организовать набор слов в знакомые и понятные модели [Kintsch 1970: 428] (см. также [Зубкова 1996: 256].\*

---

\* Однозначно отдаёт приоритет предложению перед словом и Л. Витгенштейн, заявляя, что имя обретает значение лишь в контексте предложения [Витгенштейн 1994: 13].

Если согласиться с вышеприведёнными высказываниями о примате предложения над словом, а также если признать правильной мысль о том, что истинной и конечной целью языка является осуществление операций над смыслами (а не значениями, о чём подробнее ниже), то напрашивается вывод о возможности рассмотрения феномена смысла применительно лишь к уровню предложения, но никак не слова. Предложение же правомерно рассматривать в двух модусах – как уровень организации языковой системы и как актуализацию этого уровня в речевой деятельности. Природа смысла в решающей степени будет зависеть от того, в каком из аспектов (системно-статическом или деятельностно-динамическом) рассматривается предложение.

Характер смысла предложения как языкового знака определяется В.М. Солнцевым следующим образом: смысл предложения возникает в результате целого ряда языковых факторов, к числу которых относятся конкретные слова языка, конструкции (или модели), определяющие общее конструктивное значение предложения, само это значение, в сфере и на фоне которого взаимодействуют индивидуальные значения слов, грамматические правила данного языка, регулирующие сочетаемость/несочетаемость слов и способы их соединения. При этом слова в формирующемся предложении приобретают функциональные значения, соотношение которых фактически формирует общее конструктивное значение предложения; конкретный же смысл предложения возникает в результате взаимодействия общего значения предложения и значений отдельных слов, отягчённых в предложении функциональными значениями [Солнцев 1977: 300-301]. Развивая мысль о взаимодействии общего конструктивного значения предложения со значениями входящих в его состав слов, автор приходит к выводу о нелинейном характере такого взаимодействия, т.к. значения входящих в предложение слов органически входят в общее конструктивное значение, конкретизируя его; последнее выступает в качестве организующего момента при формировании смысла. “Накладываясь” друг на друга, общее конструктивное значение и значения слов обнаруживают, таким образом, нелинейное взаимодействие. Говоря о многоаспектном и разнообразном характере взаимодействия разноуровневых значений в предложении, Солнцев приходит к заключению о несуммативной природе его смысла, т.е., по сути, о

невозможности сведения смысла предложения как к совокупной сумме значений составляющих его лексических единиц, так и к “чистому” конструктивному значению без учёта семантики конститuentов конструкции [Солнцев 1977: 311-312]. Таким образом, смысл предложения как относительно стабильного и статичного языкового знака может быть исчислен, т.к. принципиально конечны и обозримы генерирующие его параметры, а именно: модель предложения, по которой оно строится, значения входящих в его состав имён, а также правила их комбинаторики. Такой смысл, по Солнцеву, условимся называть значением предложения, его базовой семантикой.

Второй модус бытия предложения есть его функционирование в качестве высказывания в речевой коммуникации. Правомерно ожидать, что смысл предложения-высказывания, т.е. речевой смысл, будет характеризоваться иначе, чем семантика предложения как виртуального языкового знака. Как полагает А.В. Бондарко, речевой смысл результирует из взаимодействия и взаимосвязи следующих компонентов:

- 1) эксплицитная языковая (по своему источнику) информация, вытекающая из взаимосвязи и интеграции речевых реализаций языковых значений в данном тексте, выраженных формальными языковыми средствами;
- 2) имплицитная контекстуальная информация, не выраженная непосредственно языковыми средствами данного текста, но вытекающая из его соотношения с более широким контекстом;
- 3) прагматическая информация, вытекающая из эмоциональных, экспрессивных, образных и других стилистических элементов текста;
- 4) неязыковая информация – ситуативная (связанная с речевой ситуацией) и энциклопедическая (связанная со знанием и опытом говорящего и адресата) [Бондарко 1976 а: 13-14].

Идея противопоставленности различных видов смысла в рамках противопоставления более общего порядка (язык/речь) находит своё развитие и в других трудах А.В. Бондарко. Так, в одной из его недавно опубликованных статей говорится о том, что в понятии “смысл” могут быть выделены два аспекта: системно-категориальный и речевой. Имеются в виду, с одной стороны, такие понятия,

как семантическая (мыслительная, понятийная, когнитивная, ноэтическая) категория, предикатно-аргументная структура, а с другой – речевой, актуальный смысл, смысл высказывания и текста. В первом случае речь идёт о категориях и категориальных структурах как элементах когнитивной системы, о системе смыслов, а во втором – о смыслах, связанных с процессами и результатами мыслительно-речевой деятельности. Таким образом, в сфере смысла намечаются различия, сходные с соотношением языка и речи [Бондарко 1998: 23].

Сопоставимую трактовку смысла предложения-высказывания находим у Д.А. Сальковой, согласно мнению которой значение предложения, представляющее собой определённый набор лексических и грамматических сем его конструкции, соотносится с его смыслом, как соотносятся постоянные (или высокочастотные) семантические компоненты и случайные. Смысл предложения в данной концепции рассматривается как складывающийся на основе значения связанных в конструкцию его составляющих и многих факторов за пределами конструкции. Значение предложения, таким образом, поддаётся моделированию, которое осуществляется путём регистрации частотности отдельных лексических и грамматических значений в наполнении синтаксической конструкции и в её окружении. “Значение синтаксической конструкции устанавливается с опорой на содержательные характеристики постоянно повторяющихся лексических и грамматических единиц и их отношения” [Салькова 1983: 16, 34].

Отметим, что сама идея разграничения различных видов смысла не нова. В одной из хронологически новейших трактовок она формулируется под следующим углом зрения: “Смысл может быть окказиональным. Обычно в лингвистике говорят о прямом и переносном или непрямом смысле предложения или другого речевого произведения. Можно как прямой рассматривать узуальный смысл, т.е. смысл, соответствующий значениям лексических и грамматических единиц, составляющих предложение, но, безусловно, проблема прямого/непрямого смысла решается не так легко и пока остаётся вообще неразрешённой” [Актуализация предложения 1997 а: 200].

Мы считали бы целесообразным заменить существующую дихотомию контентивной стороны предложения (значение vs. смысл либо узуальный смысл vs. окказиональный смысл) на трихотомию:

значение (базовая семантика) предложения в языке / узуальный смысл предложения в речи / окказиональный смысл предложения в речи. Итак, согласно принимаемому нами терминологическому разграничению, за базовой контенсивной составляющей предложения как сентенционального знака резервируется термин “значение” или “базовая семантика”. “Смысл” приписывается предложению как речевому высказыванию, при этом проводится последовательное разграничение между смыслом узуальным и смыслом (вернее, смыслами) окказиональным. Узуальный смысл исчислим и прогнозируем, так как интегрирует в себе все семантические свойства того предложения, в форме которого осуществляется высказывание. Окказиональный смысл, напротив, есть результат действия случайных факторов, лежащих за пределами лексико-грамматической структуры предложения, произведен от множества самых разнообразных ситуационных и контекстных факторов коммуникации и не поддаётся моделированию и исчислению. Существование такого рода смыслов представляет собой весьма сложную проблему для лингвистов. Анализируя пример *I will return*, Дж. Сэдок отмечает, что, как высказывание, это предложение может быть интерпретировано множеством способов (как обещание, предупреждение или предостережение) в зависимости от контекстно-ситуационных условий его произнесения. При этом Сэдок указывает, что обычно предложение не содержит структурных указателей того, какой именно смысл (мы бы сказали: окказиональный смысл) передается в каждом конкретном акте употребления данного предложения [Sadock 1988: 192].

На данный момент установим, что формирование базовой семантики предложения коррелятивно первичному семиозису, а формирование смысла (узуального и окказионального) коррелятивно вторичному семиозису. Узуальный смысл предложения-высказывания, будучи производным от системно закреплённых языковых значений предложения – языкового знака (конструктивного значения, первичных и/или наиболее частотных значений имён и правил их комбинаторики), является относительно стабильным, прогнозируемым с высокой степенью вероятности и потому потенциально поддающимся исчислению. Как представляется, именно узуальный смысл в изложенном нами понимании имел в виду Л.В. Щерба, который, как пишет В.С. Храковский, полагал,

что “вся грамматика в целом фактически со всеми ее разделами мыслится... не как учение о формах, а как сложная система *соответствий между смыслами, составляющими содержание речи, и внешними формами выражения этих смыслов, их (смыслов) формальными показателями*”. Одним из следствий такого понимания грамматики является возможность относительно независимого описания смыслов, а сверхзадачей исследования, как ее формулировал А.А. Холодович, является создание “библиотеки универсальных смыслов” [Храковский 1996: 42-43].\*

Неразличение двух указанных типов смысла (узуального и окказионального) ведёт к некоторым методологическим трудностям. Например, затруднительным оказывается решение вопроса о возможности/невозможности исчисления смыслов, их типологизации. Так, исследуя смысл предложения-высказывания с точки зрения лингвистики общения, И.П. Тарасова в качестве одной из задач формулирует уточнение номенклатуры смыслов, необходимых для описания смысла предложения-высказывания в функциональном аспекте [Тарасова 1992: 3]. При этом общение понимается как специфическое взаимодействие индивидов-коммуникантов, каждый из которых при осуществлении коммуникативного акта играет определённую социальную роль. Множество же социальных ролей, как признаёт автор, является, скорее всего, открытым [Тарасова 1992: 11, 13]. Но если множество социальных ролей, оказывающих определяющее влияние на характер порождаемых смыслов, является открытым, то каким же образом может оказаться закрытым список результирующих смыслов? Дилемма оказывается неразрешимой, если пренебречь разграничением смысла на узуальный и окказиональный. Первый принципиально обозрим, второй – нет, поскольку смысл предложения-высказывания, как справедливо отмечает Тарасова, не сводится к тем собственно лексическим и грамматическим содержательным компонентам, которые могут быть установлены соответственно по словарям и грамматикам [Тарасова 1992: 39]. Его генерирование и рецепция связаны с различными ипостасями *Я* коммуниканта, кроме того он формулируется от имени той

---

\* Ср. также мнение А.А. Масленниковой о том, что “задать узуальные смыслы, например в виде тезауруса Роже, вероятно, возможно” [Актуализация предложения 1997 а: 198].

или иной психологической роли, а также с позиций социальной роли, “исполняемой” коммуникантом в данной ситуации общения. “Смысл предложения-высказывания, функционирующего в составе процесса общения, отражает реализуемые коммуникантами стратегии и тактики, а они охватывают общее построение диалога, социальные и психологические роли коммуникантов, а также особенности их речевого поведения” [Гарасова 1992: 13, 18]. Следовательно, не приходится ожидать, что обусловленный столь многочисленными и разнообразными факторами (ситуацией и контекстом общения, социальным и психологическим статусом коммуникантов, их психическим состоянием и индивидуальными привычками и навыками речевого общения и т.п.) окказиональный речевой смысл может быть подвергнут типологизации и исчислению в виде номенклатуры.

Окказиональный смысл предложения-высказывания, будучи производным не только от системно закреплённых значений предложения в языке, но и от целого ряда факторов за их пределами, является варибельным, трудно уловимым, ускользающим от аналитических процедур, уникальным для каждого отдельного акта речи, а потому часто не только не совпадающим с узуальным смыслом, производным от базовой семантики предложения, но и отклоняющимся от него иногда до степени вхождения в прямое противоречие с ним. По этому поводу Т.А. Аполлонская, Е.В. Глейбман и И.З. Манюли отмечают, что “одна и та же синтаксическая конструкция с одним и тем же лексическим наполнением, имея одно и то же системно-языковое значение (в нашей терминологии базовая семантика. – А.Х.), может быть использована для выражения разных смыслов (т.е. окказиональных смыслов. – А.Х.)” [Аполлонская, Глейбман, Манюли 1987: 19]. “Трудно исчислить и предугадать весь набор возможных смыслов, так как они ситуативны и подчас наделены чертами неповторимости” [Аполлонская, Глейбман, Манюли 1987: 20]. К выводу о невозможности дать реестр окказиональных смыслов подводит и следующее наблюдение А.Ф. Лосева: “Такую фразу, как *Вы удивительно умны*, можно произнести и очень сухо, и без всякого настроения, чисто объективно, и с похвалой, доходящей до восторга, и с порицанием, доходящим до иронии, и даже до совершенно обратного смысла” [Лосев 1982: 131]. Возможно, осознание именно такой “зыбкой” природы смыс-

ла привело В.А. Михайлова к мысли о том, что понятие смысла относится к числу крайне неопределённых в науке, и, как следствие, к сомнению в том, что ему можно дать строго научную экспликацию [Михайлов 1992: 117].

Справедливости ради следует признать, что деление смысла на узуальный и окказиональный иногда принципиально игнорируется, при этом под смыслом понимается то, что было описано выше как окказиональный смысл, узуальному же смыслу отводится статус псевдосмысла [Звегинцев 1976]. Следствием такого подхода является сохранение статуса предложения лишь за предложением–высказыванием, т.е. есть речевым знаком, и квалификация предложения как языкового знака псевдопредложения. Законченность смысла вкупе с ситуационностью вообще рассматривается в качестве двух определяющих признаков предложения: “Смысл есть принадлежность предложения, – если смысл наличествует в последовательности слов или даже в одном слове, есть и предложение, если нет смысла, то нет и предложения. При этом понятие законченности, которое фигурирует во многих определениях предложения и на которое опирается и это рассуждение, по правде говоря, не очень-то правомерно в отношении смысла. Нет никакой надобности отдельно говорить о законченности смысла: если он существует, он всегда закончен. Незаконченного же смысла или какого-нибудь “полусмысла” не может быть” [Звегинцев 1976: 177]. И далее: “Согласование значимого содержания предложения с ситуативными потребностями акта общения и образует смысл” [Звегинцев 1976: 193].

Отсюда один шаг до концепции М.М. Бахтина, в которой смысл трактуется уже не только как явление сугубо речевое, но и как явление надсентенциональное, контекстно и даже интертекстуально обусловленное: “Целое высказывание – это уже не единица языка (и не единица “речевого потока” или “речевой цепи”), а единица речевого общения, имеющая не значение, а *смысл* (т.е. целостный смысл, имеющий отношение к ценности – к истине, красоте и т.п. – и требующий *ответного* понимания, включающего в себя оценку)” [Бахтин 1979 б: 305]. Несколько ниже он пишет о том, что смысл потенциально бесконечен, но актуализоваться он может лишь соприкоснувшись с другим смыслом, чтобы раскрыть новые моменты своей бесконечности (как и слово раскрывает свои значе-

ния только в контексте). Актуальный смысл принадлежит не одному (одинокому) смыслу, а только двум встретившимся и соприкоснувшимся смыслам. Не может быть единого (одного) смысла. Поэтому, по Бахтину, не может быть ни первого, ни последнего смысла, он всегда между смыслами, звено в смысловой цепи, которая только одна в своем целом может быть реальной. В исторической жизни эта цепь растет бесконечно, и потому каждое отдельное звено ее снова и снова обновляется, как бы рождается заново [Бахтин 1979 б: 350-351].

Как видно из этих высказываний М.М. Бахтина, смысл трактуется им предельно широко, обнаруживая, по сути, надзнаковый характер и, как следствие, выпадая из области компетенции лингвистики. Подобным образом интерпретируемый, он предстает как явление не языкового и даже не речевого, а скорее культурного порядка, всякий раз столь уникальное и полифакторное, что кажется таким же неуловимым и загадочным, как кантовская вещь в себе. Излишне говорить, что всякая попытка описания механизмов порождения смысла в рамках знаковой теории языка при таком подходе заранее обречена на неудачу. Придется поэтому сузить понятие смысла до предложения языкового и предложения как высказывания, вернуться к идее деления смысла на узуальный и окказиональный, восстановив тем самым лингвистику в праве на его изучение.

Обратимся теперь к рассмотрению обозначенной выше проблемы соотношения смысла и значения уже в форме резюме. Для начала будет уместно дать слово лингвистам, уже высказывавшимся по этому поводу. “Смысл – это цель, по отношению к которой значения входящих в предложения единиц (их денотативные и сигнификативные компоненты, экстенсионалы и интенсионалы) выступают как средства ее достижения” [Актуализация предложения 1997 а: 199]; “... значение и смысл диалектически связаны и детерминируют друг друга. Смысл возможен постольку, поскольку существуют значения. Значения существуют не сами по себе, а ради смысла” [Аполлонская, Глейбман, Маноли 1987: 97]; “Обращение к человеку – участнику коммуникативных и когнитивных процессов – показало, что вся семантика языка и языковых единиц вписана в смысл. Значение и смысл взаимнеобходимы” [Сулейменова 1989: 9]; “... генетически языковые значения, как и все прочие единицы

языка, вторичны и являются результатом разложения смысла предложения как единицы речи” [Звегинцев 1976: 193]. К мысли о телеологической вторичности значения по отношению к смыслу склоняется и М.М. Бахтин [Бахтин 1979 а].

Таким образом, бытующее в лингвистике понимание языка как некоего устройства или системы для генерирования, передачи и хранения значений верно лишь отчасти. Оно верно в той степени, в какой язык рассматривается как система знаков, в структуре которых ведущая роль принадлежит десигнатной части по отношению к десигнаторной. Оно объяснимо как здоровая реакция лингвистического сообщества на асемантическую лингвистику дескриптивного периода. Оно, однако, нуждается в кардинальной ревизии как только на сцену выступает проблема смысла, и вопрос стоит уже не о функциональном приоритете одной стороны языкового знака перед другой, а о функциональном приоритете взятого в целом знака, с одной стороны, и процесса коммуникации – с другой. Ответ на этот вопрос достаточно очевиден: коммуникация имеет своей целью трансляцию смыслов от одного индивида к другому, и осуществляется она в форме (или посредством) языковых знаков.

Подтверждают этот вывод и некоторые наблюдения над процессом речепорождения, эксплицирующие последовательность кодовых преобразований смыслов и значений [Худяков 1993 в]. Так, Е.С. Кубрякова полагает, что в самом общем случае процесс порождения речи, начальным толчком к которому служат мотив и замысел коммуникативного акта, протекает путем формирования мысли с кристаллизацией группы личностных смыслов через этап перекодирования этих смыслов в языковые значения, связанные с определенными типами знаков, и заканчивается организацией этих языковых знаков во внешнее речевое высказывание [Человеческий фактор в языке 1991: 46]. Отсюда видно, что языковые знаки (и языковые значения как их компоненты) служат своего рода “средствами доставки” личностных смыслов от одного коммуниканта к другому и вообще “...смысл может быть выражен, поскольку есть язык и выраженные в нем базовые, или исходные, значения, а также принципы их распределения” [Человеческий фактор в языке 1991: 31]. Смыслы рассматриваются в качестве нейрофизиологического субстрата знаковых элементов (а значит, и значений) сообщения и С.Н. Сыроваткиным [Сыроваткин 1979: 34]. В.С. Храков-

ский также считает необходимым определить суть процесса коммуникации как кодирование и декодирование смыслов соответственно говорящим и слушающим с помощью языковых средств [Храковский 1985: 91]. Полагая, что, начиная коммуникативный акт, автор речи формирует некую конфигурацию смысла или образов, т.е. содержание будущих знаков, И.К. Архипов особо акцентирует тот факт, что речь идет именно о будущих знаках, а не уже созданных, так как в обычных (не экспериментальных или учебных) условиях сознание, как правило, не оперирует словами (знаками) [Архипов 2000: 203]. Из сказанного видно, что отношение смысла к значению как цели к средству подтверждается и в исследованиях по порождению речи.

Подведем некоторые итоги. Смысл, рассматриваемый с собственно лингвистических (а не логических или психологических) позиций, представляет собой мыслительное содержание, которое в ходе коммуникативного процесса один индивид передает другому посредством языковых знаков. Рассматриваемый с точки зрения речепорождающего процесса личностный смысл имеет внеязыковой (вернее, доязыковой) характер; он обретает “плоть”, будучи вложенным автором сообщения в некую языковую структуру, посредством которой он передается от одного коммуниканта к другому и в которой он получает объективное существование. Лингвистический статус такой структуры определяется как предложение в двух ипостасях: первичное предложение-высказывание (речевой знак), несущее как узуальный смысл, так и окказиональные смыслы, и вторичное предложение-номинатор ситуации (языковой знак), несущее базовую семантику и представляющее собой абстракцию, извлекаемую из фактов речи путем отбора наиболее рекуррентных и типизируемых ее признаков. Таким образом, смысл предложения, как пишет В.В. Богданов, представляет собой “... сложное многоаспектное образование. В содержании предложения сложнейшим образом сфокусированы характеристики экстралингвистической действительности, ее отражения в сознании человека в виде концептуальных структур, коммуникативных установок участников общения, а также особенности самого языка” [Богданов 1996 б: 162].

Поскольку смысл некоррелятивен слову, то в своей естественной “среде обитания” – на уровне предложения – он носит несум-

мативный, а интегративный характер. И здесь оказывается весьма уместным напомнить уже приведенное во второй главе данной работы мнение Э. Бенвениста о том, что "... смысл не появляется в результате сложения знаков, а как раз наоборот, смысл ... реализуется как целое и разделяется на отдельные "знаки", какими являются слова" [Бенвенист 1974: 88].

Вновь обращаясь к возможностям графической репрезентации процесса семиозиса, покажем, как схема 2, иллюстрирующая первичный семиозис, может быть дополнена тензорными преобразованиями, символизирующими вторичный семиозис.

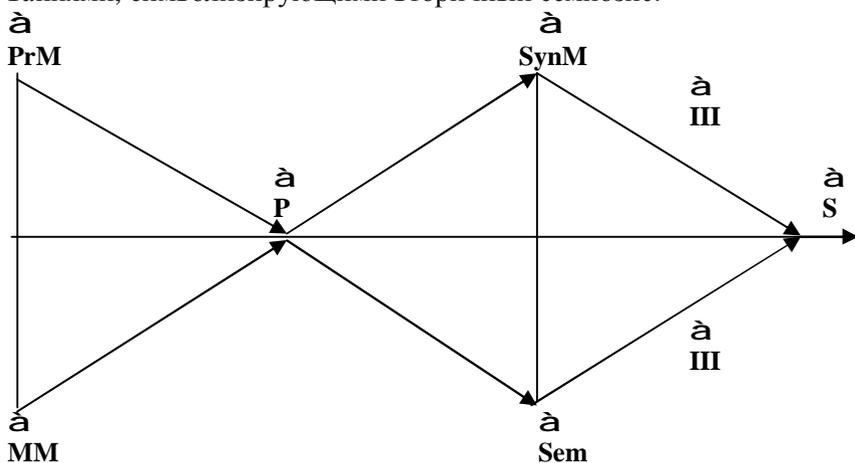


Схема 5

Векторные преобразования  $SynM \rightarrow S$  и  $Sem \rightarrow S$  символизируют переход от значения предложения как языкового знака к смыслу предложения как речевого высказывания; при этом символ  $S$  имеет омонимичное прочтение: он обозначает, с одной стороны, смысл (англ. *sense*, нем. *Sinn*, фр. *sens*), а с другой – сингуляризацию. Сингуляризация трактуется как снятие языковой полисемии, происходящее в речи благодаря наличию ситуационного и вербального контекстов. Важно отметить, что тензорные преобразования III имеют своим результатом не точку, а вектор, что еще раз возвращает нас к мысли о динамическом характере процесса смыслопорождения: данный процесс не останавливается на стадии порождения узуального смысла, а,

как правило, продолжается, вовлекая в свою орбиту операции над окказиональными смыслами.

Наконец, можно отметить, что, хотя каждый акт речи вместе с передаваемым им смыслом всякий раз уникален и неповторим, лингвистические способы кодирования узуальных смыслов принципиально конечны, и их выявление оказывается задачей, решаемой при описании семиозиса предложения – речевого высказывания. Предварительно, однако, следует проанализировать место теории смысла в прагматической концепции языка и ее соотношение с такими понятиями, как речевой акт и иллокутивная сила высказывания.

### 3.2. Лингвистическая прагматика и теория смысла

Термин “прагматика”, введённый в научный обиход Ч. Моррисом и обозначавший в рамках его семиотической концепции отношение между знаком и пользователем знака, был через короткое время усвоен логикой, где в прочной связке с семантикой был адаптирован для решения задач, касающихся определения условий истинности, теории возможных миров и т.п. Показательна в этом отношении трактовка прагматики Р. Монтегю, который призывал её следовать образцу семантики или её версии – теории моделей, рассматривающей прежде всего понятия истины и выполнимости (в модели или при интерпретации). “Следовательно, прагматика будет использовать сходные понятия, хотя теперь мы будем говорить об истине и выполнимости не только по отношению к определённой интерпретации, но и в некоторой ситуации использования” [Монтегю 1981 б: 224]. Идентичные задачи автор ставит перед прагматикой (и семантикой) и в другой своей работе [Монтегю 1981 а: 255].

Вполне в духе Монтегю понимает прагматику и Р.С. Столнейкер. По Столнейкеру, прагматика есть наука, изучающая язык в его отношении к тем, кто его использует; причем это такая наука, которая должна соответствовать уровню, достигнутому формальной (логической) семантикой. При должной формализации прагматика может стать не менее точной наукой, чем современный логический синтаксис или логическая семантика [Столнейкер 1985: 419].

Как отмечают Дж. Серль, Ф. Кифер и М. Бирвиш, для Ч. Морриса и Р. Карнапа мотивацией для введения термина “прагматика” послужило стремление отграничить прагматику от синтаксиса (синтактики) и семантики. В соответствии с ранними воззрениями Морриса на суть этого разграничения синтактика изучает формальные отношения знаков друг к другу. Семантика изучает отношения знаков к объектам, к которым эти знаки приложимы. А прагматика изучает отношения знаков к интерпретаторам. Но данную дистинкцию между семантикой и прагматикой Серль с соавторами оценивают как совершенно неудовлетворительную. Причину этого они видят в том, что, например, строго говоря, вышеприведённые определения своим следствием будут иметь тот факт, что прагматика является частью семантики, поскольку знаки явно приложимы к своим интерпретаторам. Позже Моррис предложил новую формулировку, определив прагматику как отрасль семиотики, которая занимается изучением происхождения, использования и результатов использования знаков. Карнап, вслед за ранней позицией Морриса, дал такое определение, которое оказало большое влияние на последующих авторов: “Если в исследовании имеет место прямая референция к говорящему, или, если представить это в более общем виде, к пользователю языка, тогда мы относим его (исследование) к области прагматики... Если мы абстрагируемся от пользователя языка и начнём анализировать только выражения и их десигнаты, то мы попадём в область семантики. И если, наконец, мы абстрагируемся также и от десигнатов и начнём анализировать только отношения между выражениями, мы попадаем в сферу (логического) синтаксиса. Вся лингвистика, состоящая из перечисленных частей, называется семиотикой” [Searle, Kiefer, Bierwisch 1980: VIII].

Имея в виду эти определения (или недостатки в определениях) Морриса и Карнапа, в настоящее время можно выделить по крайней мере три более или менее традиционных подхода к прагматике. Они возникли в недрах формальной философии, лингвистической семантики и философии обыденного языка. Различия в этих подходах, имеющие корни в соответствующих традициях и ориентациях, в основном предопределяются различными взглядами на природу значения, дающими почву для установления различных взглядов на соотношение семантики и прагматики. Ключевыми понятиями в данных концепциях значения являются денотация, смысл и использование лингвистического выражения. Первая традиция, являю-

шаяся прямым преемником Карнапа, – это формальная философия и логика, представленная в трудах таких авторов, как Монтегю, Льюис, Крессвелл (см., например, уже упомянутые работы Монтегю, а также [Cresswell 1988; Cresswell 1996]). В соответствии с этой точкой зрения язык представляет собой интерпретативную систему, где данная интерпретация приписывает денотацию каждому выражению, принадлежащему системе. В этой концепции значение выражения объясняется в терминах объектов, которые данное выражение обозначает. Прагматика в таком случае касается того, каким образом интерпретация синтаксически определённых выражений зависит от отдельных условий их употребления в контексте. Вторая традиция по контрасту с первой полагает смысл (в его логическом истолковании), а не денотацию центральным понятием семантики. В соответствии с этой концепцией значение выражения определяется смысловыми отношениями (такими, как синонимия, антонимия, вывод и т.д.), в которые оно входит с другими выражениями внутри системы. С этой точки зрения смысл выражения может быть определён как его контекстуально-свободное, буквальное значение в отличие от контекстно-зависимого, актуального значения высказывания данного выражения. Семантика в соответствии с данной традицией изучает все аспекты буквального значения предложения и других выражений. В то время как прагматика изучает условия, в соответствии с которыми говорящие и слушающие определяют контекстуально-зависимые и узусно связанные значения высказываний. В третьей традиции, представленной именами Г. Грайса, Дж. Остина, Дж. Серля\* (см., например, [Грайс 1985; Серль, Вандервекен 1986; Searle 1970; Austin 1962; Vanderveken 1985]), берущей начало частично в работах позднего Л. Витгенштейна [Wittgenstein 1953; Витгенштейн 1994], центральным понятием в теории значения является использование выражений данного языка. Это, в свою очередь, объясняется в терминах конвенциональных интенций говорящих при использовании этих выражений. Хотя в данной традиции термин “прагматика” эксплуатируется куда реже, чем термин “речевой акт”, думается, что именно эта традиция послужила стимулом, создала необходимые предпосылки и предоставила

---

\* А также, возможно (хотя и в меньшей степени), З. Вендлера [Вендлер 1985].

изначальную точку отсчёта для исследования прагматики лингвистической.

Очевидно, именно это последнее обстоятельство имеет в виду Т. ван Дейк, когда отмечает, что в лингвистику прагматика пришла иным путём, нежели семантика. Автор указывает, что в отличие от семантики (за исключением, возможно, контекстуальной семантики) прагматическая теория едва ли имеет свои корни в логике. Она берёт начало в философии языка и теории речевых актов, в частности, в конверсационном анализе, а также в межкультурных различиях, отражающихся в речевых взаимодействиях, – так, как эти различия трактуются в социальных науках [Dijk 1977: 189]. Однако и в лингвистике встречаются иногда попытки увязать рассмотрение проблем прагматики с анализом некоторых чисто логических вопросов. Так, П. Сгалл с соавторами неоднократно говорят о невозможности абстрагироваться от прагматического фактора при решении вопроса об условиях истинности предложения [Sgall, Hajičová, Panevová 1986: 12, 33-34]. Всё же такая точка зрения на прагматику, как будет показано ниже, не отражает тенденций исследования прагматики языка, проявившихся к настоящему времени.

Одной из важнейших таких тенденций является широкое понимание прагматики как изучающей условия использования языка коммуникантами в актах речевого общения; эти условия включают в себя коммуникативные цели собеседников, время и место речевого акта, уровень знаний коммуникантов, их социальные статусы, психологические и биологические особенности, правила и конвенции речевого поведения, принятые в том или ином обществе и т.д. При этом полагается, что лингвистическая прагматика охватывает несколько фундаментальных направлений: учение о речевых актах; исследование правил и конвенций речевого общения (речевые акты при этом выступают как своего рода алфавит, к которому и применяются данные правила); анализ характера знаний и информационных потребностей коммуникантов [Богданов 1996 а]. При рассматриваемом широком подходе прагматика представляет собой ядро деятельностной лингвистики, т.е. такой, которая, по мнению С.А. Аристовой и И.П. Сусова, отправляется от человека, его потребностей, мотивов, целей, намерений и ожиданий, от его практических и коммуникативных действий, от коммуникативных ситуаций, в которых он участвует либо как инициатор и лидер, либо как испол-

нитель “второй” роли [Аристов, Сусов 1999: 2]. Широким социокультурным взглядом на прагматику характеризуется и концепция К. Кэндлина, согласно мнению которого любой прагматический подход содержит возможность объяснения того, как в данном обществе или культуре, в том или ином речевом событии и виде деятельности коммуниканты подвергают ценностному анализу свои высказывания и как подвергаются ценностному анализу их собственные высказывания. В качестве программы исследования Кэндлин формулирует задачу регистрировать то, что говорят люди, и производить лингвистический, или, как подчёркивает автор, прагматический анализ, а также попытаться предложить объяснение того, почему они говорят то, что они говорят, почему они имеют в виду X, произнося Y, соединяя с помощью экспланаторной прагматики системы идей говорящих, системы их ценностей и верований [Candlin 1983: IX]. Широкое понимание прагматики исповедует также К. Фредериксен, трактующий её в рамках теории зависимости порождения и интерпретации связного дискурса от коммуникативного контекста [Frederiksen 1977: 320].

Прагматика в изложенном выше понимании представляет собой “движущую силу”, “каркас” языка и играет ведущую роль по отношению не только к его синтактике, но и к семантике. Разумеется, строевые, конструктивные свойства языка (синтактика в широком смысле) являются первейшим условием его функционирования, так как обеспечивают то регулярное и типическое, без отсылки к которому передача информации от одного индивидуума к другому была бы невозможна. Не будь язык обеспечен техническим аппаратом своего построения, каждое новое сообщение нам необходимо было бы создавать новыми средствами [Почепцов (мл.) 1987: 6]. Однако язык есть не только и не столько структура. “Более того, структурность вообще является вторичным признаком, следствием необходимости успешного функционирования. Структурность (повторяемость) представляет собой средство адекватной коммуникативной передачи... Несмотря на то, что структурность необходима для общения, одной её недостаточно, чтобы общение имело место” [Почепцов (мл.) 1987: 6-7].

Что касается семантики, то и она оказывается в подчинённом положении по отношению к прагматике. Наличие значимой стороны в языке важно не само по себе, а как средство активации в

сознании коммуникантов лежащих за языковыми значениями концептов, ревизии и пополнения структур знания, трансляции идей и смыслов, коррекции оценок, верований и убеждений, стимулирования поведенческой реакции и т.п. – короче говоря, всего того, что является неизмеримо более важным и ценным для духовной жизни человека, чем сами по себе значения языковых единиц. Неслучайно поэтому, различая в содержательной структуре предложения семантические и прагматические аспекты, И.П. Сусов без малейшего сомнения признаёт ведущую роль за прагматическим аспектом [Сусов 1980: 5]. Утверждая, что в основании языка лежит прагматико-эгоцентрический фактор, т.е. фактор интересов, целей и позиция я-говорящего, М.В. Никитин также имеет в виду не уровневую структуру языка, каковую справедливо полагает вторичной и производной от указанного фактора, а базисный принцип строения и функционирования языка [Никитин 1996: 715].

Означает ли сказанное, что базовое для лингвистики понятие значения (традиционный объект семантики) вытесняется на периферию научных интересов, становится менее релевантным, “растворяясь” в идеях и методах, предлагаемых прагматикой? Анализ соответствующей литературы наталкивает на отрицательный ответ на данный вопрос, однако невозможно не видеть, что утверждение в правах прагматического взгляда на язык повлекло за собой и существенную модификацию теории значения.

Реинтерпретация значения осуществляется в нескольких плоскостях. Одни авторы само значение отныне считают включающим два аспекта – семантический и прагматический (к последним относят, например, референциальные индексы, модальности и времена) [Sgall, Hajičová, Panevová 1986: 12]. Другие дробят значение, проводя границу между семантическим значением и прагматическим значением. Так, Дж. Лич говорит о том, что и семантика, и прагматика занимаются значением, но разница между ними может быть прослежена, исходя из двух различных значений глагола “to mean” (“значить”): 1. What does X mean? (“Что значит X?”) и 2. What did you mean by X? (“Что вы имели в виду, говоря X?”). Семантика традиционно имеет дело со значением как двоичным отношением, как в первом примере, в то время как прагматика имеет дело со значением как триадическим отношением, как во втором примере. Таким образом, значение в прагматике определяется по отношению к говоря-

щему или пользователю языка, в то время как значение в семантике определяется исключительно как свойство самих выражений в данном языке, в отвлечении от отдельных ситуаций, говорящих или слушающих [Leech 1983: 5-6].

Такая позиция не находит поддержки у М.В. Никитина, который вообще полагает, что между семантикой и прагматикой отсутствуют жёсткие разграничительные линии: семантика прагматизируется, прагматика семантизируется. Под прагматизацией семантики автор имеет в виду её субъективизацию, уход от объективистских представлений об устройстве языка, навязанных формальной логикой;\* под семантизацией прагматики понимается процесс усвоения прагматикой семантически релевантной проблематики. “С очевидностью выявляется невозможность практически разграничить семантику и прагматику по предмету на основе того определения, что предмет семантики очерчивается отношениями знака к денотату и сигнификату, а предмет прагматики – отношениями между знаками и их пользователями. Классификационно-идентифицирующие возможности этого определения иллюзорны в силу крайней расплывчатости, операционной всеядности термина “отношение”. Каждый раз он значит иное: знак не относится к денотату сам по себе, а его скорее к нему относят, или же денотат соотносят с неким знаком; знак не относится к сигнификату, а скорее связан с ним, вызывает, актуализирует его в сознании” [Никитин 1996: 716-717]. При таком развороте трудно ожидать сколько-нибудь последовательного разграничения (не говоря о противопоставлении) значения семантического и значения прагматического: существует контенсивная сторона языка, обращённая человеком к миру, в котором “фактор человека” и “фактор мира” ясному разграничению не подлежат.

Если всё же оставаться на позициях, с которых условное и нежёсткое разграничение между семантикой и прагматикой признаётся правомерным, то столь же правомерным можно признать и разграничение между значением семантическим и значением праг-

---

\* Ср., однако, следующее понимание субъективности и субъективизации: субъективность понимается как выражение себя и представление в дискурсе точки зрения говорящего (или, в более общем смысле, локутивного агента) – то, что называется фактором говорящего. В свою очередь, субъективизация относится к структурам и стратегиям, которые возникли в языке для лингвистического выражения субъективности или для релевантных процессов лингвистической эволюции [Finegan 1995: 1].

матическим. Первое выделимо как в рамках отдельного слова и словосочетания, так и предложения. Второе выделимо только на уровне предложения, причём не предложения-модели или предложения-образца, а предложения-высказывания, т.е. реального сегмента речевой цепи, погружённого в безбрежный океан контекстно-ситуационных факторов, детерминирующих актуальную речь. Если же ограничиться уровнем предложения-высказывания, то и здесь нежёсткое разграничение семантического и прагматического компонентов значения возможно. Оно реализуется в форме противопоставления языковой компетенции и коммуникативной компетенции.

Как указывает М. Канэйл, с момента введения Хаймсом в середине 60-х годов термина “коммуникативная компетенция” данный термин пользуется всё большей популярностью среди преподавателей, исследователей и вообще всех тех, кто интересуется языком [Canale 1983: 2]. Данный термин, как отмечают пражские учёные, покрывает собой явления, известные со времени появления работ Остина, Грайса и Серля под именем конвенциональных постулатов и импликатур, предварительных условий речевых актов и т.д. [Sgall, Hajičová, Panevová 1986: 12]. В исследованиях последних десятилетий противопоставление коммуникативной (прагматической) и языковой (лингвистической) компетенции принимает разный вид, облекается различной терминологической оболочкой, но становится почти обязательным при попытках оттенить область прагматики.

Так, Т. ван Дейк привязывает рассмотрение данной проблемы к вопросу об интенциональности речи. Успешность с точки зрения интенции, по его мнению, должна быть определена в широком смысле, а именно таким образом, что результатом иллокутивного акта является не некоторое высказывание (продукт), но некоторое планируемое (“intended”) состояние слушающего, к которому приводит понимание высказывания, при этом изменение состояния квалифицируется как эпистемическое: слушающий на данный момент знает, что говорящий обещает, советует и т.д. В этом случае мы говорим, что иллокутивный акт полностью успешен с точки зрения намерения. Он будет не полностью, но частично успешным с точки зрения намерения, если слушающему не удалось понять иллокутивное намерение говорящего, даже если он и понял, что было сказано [Dijk 1977: 198].

Здесь прослеживается явное сходство с вводимым Дж. Лакоффом противопоставлением буквального и фактического значения предложения. По Лакоффу, фактически выражаемые значения предложений выводятся из их буквальных значений, взятых совместно с постулатами речевого общения, при условии принятия перформативного анализа и контекстно-зависимого следования [Лакофф 1985: 465].

Противоположение языковой компетенции коммуникативной преломляется у Г.Г. Почепцова в виде последовательно разграничиваемого им содержания предложения и передаваемого предложением сообщения. Считая, что содержание предложения является принадлежностью синтаксической семантики, автор полагает, что оно связано с лексической семантикой, лексическими заполнениями в виде конкретных слов. “Именно в этой области предлагаются различного рода “правила сложения слов”. Допустим, что подобные правила созданы, и мы можем перейти от значений слов к содержанию предложения. Однако оказывается, что на уровне общения одного содержания всё равно недостаточно. На данном содержании может быть построено большое число разнообразных сообщений” [Почепцов (мл.) 1987: 13-14]. При этом отмечается, что возможны два основных варианта соотношения сообщения и содержания: их совпадение (“фокусировка”) и различие, частичное пересечение (“расфокусировка”) [Почепцов (мл.) 1987: 15]. Отсюда видно, что операции, связанные с конструированием и интерпретацией содержания предложения, ассоциируются с языковой компетенцией человека, а операции, связанные с конструированием и интерпретацией сообщения, ассоциируются с его коммуникативной компетенцией.

Таким образом, при постулировании (очень осторожном) разграничения между семантикой предложения и его прагматикой вырисовываются два ряда противопоставляемых друг другу понятий: с одной стороны, буквальное значение предложения, содержание предложения, языковая компетенция, факультативная реализация речевой интенции и т.п.; с другой – фактическое значение предложения, передаваемое предложением сообщение, коммуникативная компетенция, облигаторная реализация речевой интенции и т.п. Списки, разумеется, не закрыты и могут быть с лёгкостью дополнены при реферировании относящейся к данному вопросу литера-

туры. Например, факт валентностной детерминации глаголом-сказуемым подлежащего можно было бы отнести к явлениям семантического порядка, а факт отсутствия детерминации глаголом-сказуемым топика – к явлениям коммуникативно-прагматического порядка [Ли, Томпсон 1982]. Как бы то ни было, представляется теоретически оправданным изолированное рассмотрение области лингвистической прагматики как изучающей процессы реального коммуникативного взаимодействия между людьми. Контурь такого взаимодействия, как оно видится с точки зрения прагматики, удачно очерчены Т. Виноградом, который полагает, что говорящий конструирует предложения, предвосхищая то, как слушающий проинтерпретирует их, а слушающий интерпретирует их в свете гипотез об интенции говорящего. При этом интерпретация дискурса предполагает использование общих знаний о природе речевого взаимодействия. Существуют разговорные импликатуры, которые создаются исходя из предположения, что говорящий вовлечён в процесс общения и что высказывания релевантны, информативны и полагаются истинными [Winograd 1977: 67, 82].

Прагматика, играющая определяющую роль по отношению к семантике, представляет собой и самый высокий уровень планирования при конструировании высказывания. Как пишет Виноград, процесс конструирования высказывания включает несколько стадий, которые можно приблизительно сгруппировать по следующим трём уровням. Первый уровень предполагает определение набора слов, порядка их следования, интонационных моделей и т.п., которые можно скомбинировать в отдельные высказывания и которые передают необходимое сообщение в соответствии с целями, устанавливаемыми на более высоких уровнях кодирования. Второй уровень предполагает решение вопроса о том, какие ещё промежуточные цели следует установить, чтобы достичь конечной цели коммуникации. Эти промежуточные цели включают установление референции к объектам, фокусирование внимания слушающего и передачу информации, релевантной для той модели, которая уже имеется в сознании слушающего. Для слушающего необходимо иметь адекватную модель происходящего акта коммуникации с тем, чтобы знать, что необходимо сделать для того, чтобы достичь каждой из указанных целей. Третий уровень предполагает понимание того, какой эффект результирующее предложение возымеет на

слушающего, модификацию предложения с тем, чтобы создать правильные коннотации, избежать двусмысленностей и привести к правильным ожиданиям относительно того, что последует за данным высказыванием [Winograd 1977: 69]. Отсюда ясно, что “прагматическое планирование” задаёт изначальный стратегический вектор конструирования речевого высказывания, а “семантическое планирование” отвечает за решение более частных, тактических задач речепроизводства.

Сказанное, думается, достаточно убедительно свидетельствует о том, что термин “прагматика” в его изначальной семиологической интерпретации принципиально неприменим к явлениям языка. “Прагматика” в моррисовском смысле является, возможно, удобным технологическим термином, покрывающим область отношения человека с любой другой знаковой системой, кроме языковой, так как последняя специфична в том плане, что, во-первых, неотчуждаема от человека, ингерентно ему присуща и сама является в известном смысле признаком человека, а, во-вторых, не создаётся человеком искусственно и в основном не носит конвенционального характера: люди не договариваются между собой о придании такого-то значения таким-то словам или синтаксическим конструкциям подобно тому, как они могут договориться о значениях и правилах функционирования любой другой знаковой системы. Естественным поэтому представляется происшедшее за последние годы переосмысление рассматриваемого термина – ныне под прагматикой понимается не только и не столько интенциональность речи (даже в смысле философов, стоящих близко к лингвистике, таких как, например, Дж. Сёрль [Searle 1983]), сколько глобальные стратегии коммуникативной деятельности людей, описываемые в терминах максим речевого общения, конверсационных правил, речевых актов и т.п.

### 3.3. Речевой акт и речевой смысл

Теория речевых актов теснейшим образом связана с прагматикой в изложенном выше понимании.\* При этом отношения между теорией прагматики и теорией речевых актов истолковываются по-разному. Иногда прагматика включается в качестве составной части в теорию речевых актов. Это фактически имеет место в том случае, когда предполагается, что говорить на языке означает включаться в поведение, определяемое правилами, или, выражаясь более смело, говорить – значит совершать акты согласно правилам [Searle 1970: 22]. За прагматикой в таком случае остаётся лишь один специфический аспект речевого поведения – интенциональность речи.

Иногда понятие речевого акта сужается до понятия иллокутивного акта и противопоставляется пропозициональному акту, с одной стороны, и перлокутивному акту – с другой. Теория речевых актов в этом случае исследует закономерности выполнения таких речевых действий, как, например, сделать заявление, задать вопрос, отдать приказ, описать, объяснить, извиниться, поблагодарить, поздравить и т.п. Перлокутивные акты означают те эффекты, которые наши высказывания производят на слушателей и которые не сводятся к пониманию слушателем значения предложения. Такие акты, которые призваны убедить, вызвать досаду, развеселить или испугать, являются примерами перлокутивных актов. Иллокутивные акты, такие как утверждение, часто направлены или осуществляются с целью достижения перлокутивного эффекта, например, убедить, но некоторые представители теории речевых актов, в отличие от пропонентов ранних бихевиористских теорий языка, считают важным отличать иллокутивный акт, который является собственно речевым актом, от достижения перлокутивного эффекта, который может быть, а может и не быть достигнут с помощью только лингвистических средств. Под пропозициональными актами имеются в виду референция к объекту или выражение пропозиции.

---

\* Центральными терминами теории речевых актов являются ‘иллокутивная сила высказывания’ и ‘перлокутивный эффект высказывания’. Встречаются, разумеется, и другие, например, ‘дискурсивные стратегии’, ‘кодовые переключения’, как в [Gumperz 1982].

Сторонникам теории речевых актов, как было сказано выше, представлялось необходимым разграничить пропозициональные и иллокутивные акты, поскольку одна и та же референция или одно и то же выражение пропозиции могут иметь место в различных иллокутивных актах. В группе высказываний *Please, leave the room, You will leave the room, Will you leave the room?* одна и та же пропозиция, а именно – то, что вы выйдете из комнаты, выражена совершением трёх различных типов иллокутивных актов: просьбы, предсказания и вопроса [Searle, Kiefer, Bierwisch 1980: VII-VIII].

В таком случае речевой акт рассматривается как ядро прагматической теории, исследующей помимо иллокутивного акта и все другие релевантные аспекты процесса межличностной коммуникации. О несводимости коммуникативного акта к иллокутивному О.Г. Почепцов высказывается следующим образом: “Тот факт, что главным действующим лицом коммуникативного акта является вся коммуникативная ячейка, то есть и отправитель, и получатель, а главным действующим лицом иллокутивного акта – лишь отправитель, относится к числу наиболее существенных отличий коммуникативного акта от иллокутивного. Данное различие делает коммуникативный акт более “прихотливым” в отношении условий реализации, чем иллокутивный акт. Некоторый иллокутивный акт, как известно, происходит при произнесении любого отмеченного высказывания. Таким образом, если реализация коммуникативного акта предполагает реализацию иллокутивного акта, то из факта совершения иллокутивного акта отнюдь не следует, что был совершён коммуникативный акт” [Почепцов 1986: 6].

Такое положение дел, когда баланс между теорией речевых актов и теорией прагматики не установлен твёрдо, ведёт в исследовательской практике нередко к их смешению, когда, например, анализируют отношение того, о чём говорится в процессе коммуникации, к тому, что достигается посредством коммуникации, называя это прагматикой [Fraser 1983]. Другие авторы квалифицируют этот объект как сферу интересов теории речевых актов [Language and Communication 1983: 26]. Мы примем широкое понимание прагма-

тики, при котором теория речевых актов входит в неё как составная часть.\*

Как же соотносятся речевой акт и речевой смысл? На наш взгляд, речевой акт, будучи одним из видов деятельности человека (речевой деятельности), сам по себе является лишь средством достижения определенной цели, как, впрочем, и большинство видов деятельности вообще. Деятельность, в том числе и деятельность речевая, совершаемая в виде речевого акта, должна быть мотивирована целью, т.е. детерминирована телеологическим аспектом, лежащим вне ее самой. Смысл в соответствии с разрабатываемой нами теорией как раз и является тем телеологическим аспектом и предопределяет факт совершения речевого акта. Таким образом, вырисовывается триада сущностей, в терминах которых можно описать релевантные параметры коммуникации: предложение – речевой акт – смысл.

Семиозис имеет своей целью передачу смысла в коммуникативно приемлемой форме, поэтому весь процесс семиозиса заключается в том, что мы сначала создаем необходимую форму, которая опосредуется речевым способом для реализации определенной цели. Формой является предложение, способом – речевой акт, целью – трансляция смысла.

В чем разница между предложением как формой и речевым актом как способом? Речевой акт есть сущность акциональная, динамическая, кинетическая, в то время как форма есть сущность статичная, кодифицированная, в известной степени застывшая, характеризующаяся типологической обозримостью. Не случайно одному и тому же предложению может соответствовать несколько разных речевых актов, на чем основывается различие прямых и косвенных речевых актов.

---

\* Прагматика в логическом истолковании также часто рассматривается как включающая в себя теорию речевых актов и некоторые другие компоненты. Так, Р.С. Столнейкер полагает, что прагматика занимается изучением речевых актов и тех контекстов, в которых они реализуются. “Соответственно, перед прагматикой встает два рода проблем: во-первых, определение интересных типов речевых актов и “продуктов” речи; во-вторых, описание признаков и свойств речевого контекста, влияющих на определение того, какая именно пропозиция выражается данным предложением” [Столнейкер 1985: 423].

Речевой акт есть совершение действия. Создаваемое в ходе акта первичного семиозиса языковое предложение является тем инструментом, в форме которого или с помощью которого совершается данное действие – речевой акт. Предложение и речевой акт соотносятся в таком случае как форма и содержание. Объемно предложение и речевой акт совпадают в границах речевого высказывания.

Речевой акт является средством трансляции смысла, который выступает в таком случае в качестве цели совершения речевого акта. Речевой акт и смысл, таким образом, соотносятся как форма и содержание. Речевой акт есть некое действие со стороны говорящего лица, направленное на возбуждение в сознании слушающего определенных концептуальных связей, в частности, активацию ментальных моделей, что, в свою очередь, может повлечь за собой самые разнообразные последствия в виде соответствующей поведенческой реакции адресата речи, в виде изменения его эпистемического состояния, что есть результат усвоения слушающим смысла высказывания говорящего.

Итак, предложение, речевой акт и смысл соотносятся как форма, средство и цель коммуникации. Речевой акт имеет содержательную природу, будучи рассмотрен по отношению к предложению; он имеет формальную природу, будучи рассмотрен по отношению к смыслу.

Коль скоро в рамках теории речевых актов выделяется такой конструкт, как иллокутивная сила высказывания, представляется необходимым также определить различие между ней и смыслом. На первый взгляд кажется, что ‘смысл’ есть лишь другое название для обозначения иллокутивной силы. Действительно, смысл имеет прямое отношение к интенции речи и непосредственно связан с такими целями произнесения речевого акта, как просьба, приказ, поздравление, разрешение, запрет и т.п. Тем не менее мы считаем принципиально важным разграничить смысл высказывания и его иллокутивную силу.

Здесь представляется необходимым договориться о терминах. Иногда иллокутивную силу высказывания именуют иллокутивной целью, как, например, это делают Дж. Сёрль и Д. Вандервекен, настаивающие на выделенности только пяти иллокутивных целей: асертивной, комиссивной, директивной, декларативной, экспрессив-

ной [Сёрль, Вандервекен 1986: 252]. Высказанное нами замечание о необходимости разграничения иллокутивной силы и смысла высказывания относится как раз к таким случаям, как этот: употребляя термин ‘цель’, имеют в виду именно силу. Для тех же концепций, в рамках которых под термином ‘иллокутивная цель’ имеется в виду именно цель, не иллокутивная сила, момент отличия между иллокутивной силой (целью) и смыслом снимается: “Иллокутивная цель речевого акта – это ментальный акт, совершения которого добивается от слушающего говорящий, или ментальное состояние, в которое говорящий намерен привести слушающего” [Вендлер 1985: 243].

Итак, смысл в отличие от иллокутивной силы высказывания аккумулирует в себе свойства всех тех промежуточных этапов семиозиса, результатом которого он является. Он, в частности, не может абстрагироваться от формально-структурных, конструктивных особенностей того языкового знака, в форме которого он передается в коммуникации. Например, для теории речевого акта типична трактовка предложений типа *Can you pass me the sugar* как обладающих иллокутивной силой просьбы, а не вопроса, но эта теория никак не объяснит разницу между этим предложением и предложением *Can you pass me a sugar* (узуальный смысл: “часть вещества, не все вещество, а его часть”, “один кусочек”). Как видно из этих примеров, внутри косвенного речевого акта существует тонкая смысловая нюансировка.

Кроме того, теория речевых актов практически никак не комментирует и не объясняет такой вещи, как ироничный смысл, или ирония. В перечне возможных иллокутивных сил высказывания, которые составляются различными авторами с различной степенью подробности, мы нигде не находим такие релевантные в смысловом отношении сущности, как подтрунивание, издевка, сарказм, провокация и т.п. Вдобавок, иллокутивная сила, как правило, не может быть описана в терминах скрытой иллокутивной силы, в то время как смысл зачастую может быть описан как скрытый смысл (см. классификацию скрытых смыслов в [Актуализация предложения 1997 а: 145-187]).

Что касается разграничения смысла и перлокутивного эффекта, то этот вопрос решается проще, чем установление разницы между смыслом и иллокутивной силой. Во-первых, как было упомя-

нуто выше, изменение поведения объекта коммуникативного воздействия может быть достигнуто за счёт использования неязыковых средств; мы же определяем смысл как феномен языковой (в широком смысле), рассматриваем его в рамках теории вербальной коммуникации. Во-вторых, перлокутивный эффект есть скорее результат усвоения смысла получателем речевого сообщения и как таковой должен, по-видимому, рассматриваться в рамках теории рецепции речи (понимания, интерпретации, декодирования и т.п.), а не с точки зрения семиозиса речевого высказывания, т.е. со стороны субъекта речи.

### **3.4. Механика экспликации узуальных смыслов. Смыслопорождающие операторы в английском языке**

Обратимся теперь к весьма важному вопросу о том, поддаётся ли экспликации смысл высказывания, коль скоро установлен факт его (высказывания) нетождественности языковому предложению и, соответственно, смысла высказывания значению сентенционального знака. Если ответ на этот вопрос отрицательный, то дистинкция “смысл – значение” носит чисто умозрительный, фактически бездоказательный характер и лежит в плоскости абстрактного теоретизирования. Однако мы намерены обосновать положительный ответ на сформулированный вопрос, продемонстрировав, что смысл как продукт вторичного семиозиса не равен значению как продукту первичного семиозиса не только на дедуктивно-логических, но и на индуктивно-эмпирических основаниях.\*

---

\* Индуктивно-эмпирический подход предполагает формулировку выводов на основе анализа иллюстративного материала. Считая эмпирический подход не самой лучшей формой обоснования теории, мы согласны с Ю.С. Степановым в том, что “в настоящее время в философии языка примеры не доказывают ничего. Формой доказательства является лишь концепция. <...> Экземплификация есть приведение примеров в рамках определенной, достаточно цельной и доступной формализации, системы. Иными словами, экземплификация – это способ исключения абстракций для отдельных, но практически важных случаев” [Степанов 1998: 484]. Поэтому мы не считаем необходимым привлечение к анализу обильного иллюстративного материала и в дальнейшем изложении ограничимся лишь необходимым минимумом его – тем минимумом, который оказывается достаточным для обоснования валидности развиваемой теории.

Как отмечает Г.Г. Почепцов, типовые переходы от значения к смыслу (в его терминологии – от содержания к сообщению) должны иметь место, ибо без подобных регулярностей понимание было бы невозможным. Дистинкцию “содержание – сообщение” Почепцов рассматривает в рамках более широкого противопоставления “язык – речь”, при этом данная дистинкция отнюдь не носит взаимоисключающего характера: содержание присутствует в речевой реализации, но при этом включается в иерархически более высокую структуру – сообщение [Почепцов 1987: 14-15].

Вообще говоря, проблему выведения смысла во внешний план можно рассматривать в рамках более общей проблемы соотношения языка и речи и в тесной связи с коррелятивной проблемой интерпретации всех тех фактов речи, которые не обусловлены пропозициональным содержанием высказывания. Такого рода исследования уже проведены на материале разных языков с фокусировкой на различных аспектах проблемы. Их общий обзор (по необходимости краткий) мог бы выглядеть следующим образом.

Одним из первых обратил внимание на необходимость прагматической, как сказали бы сейчас, интерпретации элементов высказывания, не обусловленных его пропозициональной структурой, Г. Киршнер. На материале английского языка он попытался каталогизировать эти элементы, дав им название “Gradadverbien” [Kirchner 1955]. В 1957 году появляется работа Р.О. Якобсона, в которой автор описывает природу языковых элементов, называемых им “шифтерами” (“shifters”), т.е. таких, которые обеспечивают, по сути, адаптацию пропозиционального содержания предложения к речевой ситуации его использования [Jakobson 1957]. Основываясь на идее Киршнера, Д. Болинджер публикует в 1972 году объёмный труд, содержащий описание и классификацию так называемых “слов степени” (“degree words”), во вводной части которого излагаются некоторые принципиальные взгляды автора на природу языка. По убеждению Болинджера, привычный взгляд, представляющий язык как нечто стабильное, структурно упорядоченное и сводимое к правилам, не соответствует языковой реальности. Согласно другой точке зрения, которую разделяет учёный, язык находится в постоянном конфликте со структурой, а фактически с самим собой. Противоядием от неколебимой уверенности в строгой системности языка и являются слова со значением степени призна-

ка (вышеупомянутые “degree words”), факт существования которых свидетельствует о том, что, хотя язык и является системой, но такой, которая борется за существование и вынуждена модифицироваться каждую минуту [Bolinger 1972: 18-19].

Примерно в одно время с появлением книги Болинджера выходит в свет и работа А. Вежбицкой (1971 год), чьё внимание привлёк феномен метатекста. Вежбицка заметила, что высказывание о предмете может быть переплетено нитями высказываний о самом высказывании. Эти нити “сшивают” текст в тесно спаянное целое, обеспечивая высокую степень его связности, являясь для него в то же время своего рода “инородным телом”. Будучи извлечёнными из текста и заданными отдельным списком, сами по себе элементы метатекста не несут никакой информации о текстовых референтах (примеры метатекста: *В этом разделе я буду говорить о..., потом перейду к..., в заключение я представлю..., до сих пор я говорил о..., затем я займусь..., сейчас я разберу..., подытожим предыдущие рассуждения..., пора сформулировать выводы...* и т.п.). Зачем же они в таком случае нужны? При ответе на этот вопрос Вежбицка исходит из сочувственно цитируемого ею высказывания М.М. Бахтина о принципиальной диалогичности всякой речи. В сущности это означает, что автор всякого монологического высказывания обязан учитывать фактор адресата, “помогая” ему усвоить содержание речи оптимальным образом: разбить монолог на тематические единства, отделить главное от второстепенного, уяснить общую последовательность изложения и т.д. [Вежбицка 1978]. Эти проницательные наблюдения Вежбицкой послужили стимулом к появлению многих исследований, посвящённых формам экспликации фактора адресата речевого высказывания.

Так, одной из таких форм Т.В. Шмелёва считает русские модальные элементы *конечно, разумеется, естественно*. Анализируя два микроконтекста употребления слова *конечно* – диалогический и монологический, она приходит к выводу о том, что в диалоге *конечно* подтверждает высказанное адресатом в виде вопроса предположение; в монологе же отправитель сообщения как бы предвосхищает такого рода реакцию получателя сообщения и поступает аналогичным образом: подтверждает не высказанное, но естественное (по его, автора, мнению) предположение адресата. “Иначе говоря, – пишет Шмелёва, – модусную семантику *конечно* можно

эксплицировать следующим образом: “вы предположили / можете предположить Р, и я подтверждаю правильность вашего предположения”, отсюда и различие в употреблении: в диалоге предположение адресата реальное, в монологе – воображаемое” [Шмелёва 1995: 150].

И.В. Труфанова, исследуя средства экспликации в русском языке образа слушающего, относит к ним следующее: членение текста на абзацы, на главы, на параграфы и т.п., озаглавливание данных разделов, обозначение темы сообщения не только в заглавиях, но и с помощью именительного представления; членение высказывания на данное и новое; вводные слова, подчёркивающие главное и “к слову” сказанное в сообщении, порядок изложения мысли, жанр, итоги и выводы из сказанного и т.д.; деепричастия, частицы, пояснительные союзы и прочие метатекстовые показатели правил речевого поведения, эксплицитное выражение речевых действий и речевых намерений говорящего в главных предикативных частях сложноподчинённых изъяснительных предложений и т.п. Короче говоря, в перечень включаются все те языковые средства, которые служат облегчению восприятия информации слушающим и адекватной интерпретации им речевых действий и намерений говорящего [Труфанова 1997: 98]. Автор даёт лингвистический анализ и некоторых конкретных способов выявления фактора адресата речи. Так, указывается, что в содержании существительных с диминутивами выявляется компонент “слушающий”. Примеры типа *Взвесьте колбаски*, как указывает Труфанова, трактуются то как средства, выражающие заискивание говорящего перед слушающим, то как знак положительных эмоций к слушающему. Вводное слово *видите ли* трактуется как обозначающее, что слушающему навязывается мысль о его согласии с общим мнением под видом нежелания говорящего показаться категоричным. Любопытно, что слово *конечно* интерпретируется по-иному, чем в трактовке Т.В. Шмелёвой: это модальное слово обозначает, по мнению Труфановой, что имеется общее мнение, которое разделяет слушающий и от которого говорящий в различных ситуациях в разной степени отстраняется [Труфанова 1995: 101]. Нам представляется, что возможность различных трактовок одних и тех же формантов не должна смущать исследователя языка: очевидно, на различные интерпретации одних и тех же экспликаторов образа слушающего

(как в случае с *конечно*) наталкивает анализ разного в количественном и в качественном отношении речевого материала. Принципиальной для нас остаётся возможность выделения у них узувального смысла.

Фактор адресованности речи комментируется и в работе А.Е. Кибрика и Е.А. Богдановой на примере лексемы *сам*, которая причисляется к так называемым дискурсивным лексическим элементам, т.е. таким, семантика которых не поддаётся эксплицитному толкованию обычными средствами. Причину “неуловимости” их значений авторы видят в том, что они имеют функциональную природу: “Эти элементы участвуют не столько в построении денотативного слоя смысла высказывания, сколько в “привязывании” этого смысла к ситуации акта речи. Многие из этих элементов являются сигналами, облегчающими адресату речи правильное согласование смысла текущего высказывания с имеющимися у него знаниями или перестройку активированных знаний в соответствии с информацией, содержащейся в текущем высказывании” [Кибрик, Богданова 1995: 28]. В результате проведённого анализа авторы приходят к следующему выводу относительно лексемы *сам*: все её базовые значения относятся к одной и той же дискурсивной задаче говорящего, которая заключается в фокусировании внимания слушающего на том, что говорящий знает, что информация об *X*-е в текущем сообщении противоречит ожиданиям (знаниям) адресата и что в знания об *X*-е необходимо внести соответствующее исправление [Кибрик, Богданова 1995: 35]. Таким образом, *сам* позволительно трактовать как своего рода оператор – оператор коррекции ожиданий адресата речевого сообщения.\*

Описанные выше исследования нацелены на выявление средств языковой экспликации фактора адресата речи. Существуют и работы, направленные на анализ “средств обнаружения” автора речи. Так, А.Н. Баранов, В.А. Плунгян и Е.В. Рахилина, исследуя дискурсивные слова русского языка, определяют их как такие, которые, с одной стороны, обеспечивают связность текста, а с другой стороны, самым непосредственным образом отражают процесс взаимодействия говорящего и слушающего, позицию говорящего: то, как говорящий интерпретирует факты, о которых он сообщает

---

\* См. во многом схожий анализ английских местоимений с *-self* в [Kemmer 1995].

слушающему, как он оценивает их с точки зрения степени важности, правдоподобности, вероятности и т.п. Именно такие единицы, как отмечают авторы, управляют процессом коммуникации, выражая истинностные и этические оценки, пресуппозиции, мнения субъектов речи. При этом, что очень важно, дискурсивная лексика поддаётся типологизации, т.е. удаётся выделить те инвариантные значения, которые оказываются общими для групп таких слов. Рассматриваются группы таких слов, объединённые общей семантикой: 1) группа единиц, связанных с идеей “неполноты” (*едва, еле, с трудом, чуть, немного, почти*); 2) группа единиц, связанных с идеей “реальности” (*действительно, в самом деле, на самом деле, в действительности*); 3) группа единиц, связанных с идеей “обобщения” (*вообще, в общем, в целом, в принципе*); 4) группа единиц, связанных с идеей “полноты” (*вовсе, совсем*); 5) группа единиц, связанных с идеей “минимизации” (*прямо, просто*). Одним из наиболее теоретически интересных выводов, который делают учёные относительно этих дискурсивных единиц, является, с нашей точки зрения, положение о том, что их значения, по сути, процедурны: такого рода служебная лексика, с одной стороны, регулирует распределение семантической информации внутри плана содержания, а также определяет последовательность прочтения речевого высказывания адресатом. “Таким образом, значения дискурсивных единиц оказывается более естественно рассматривать как комплекс операций (процедур) над планом содержания высказывания/текста” [Баранов, Плунгян, Рахилина 1993: 7-10].\*

Анализу языковых средств экспликации фактора субъекта речи посвящается и сборник [Subjectivity and subjectivisation 1995], авторы которого исследуют роль отдельных речевых сегментов не с формально-грамматических, а с функционально-прагматических позиций. Так, в статье Э. Трауготт делается попытка функционального переосмысления конструкции *I think* и некоторых английских наречий. *I think*, по её мнению, стремительно приобретает статус дискурсивной частицы. Эта конструкция в настоящий момент претерпевает процесс перехода от статуса главного предложения, когда местоимение первого лица выбирается из числа возможных

---

\* См. также интересное исследование дискурсивной лексики, проведенное И.М. Богуславским [Богуславский 1996].

субъектных аргументов предиката *think*, к статусу парентетической конструкции с большей позиционной свободой и далее к фиксированной фразе, индицирующей эпистемическое отношение говорящего. Субъект в *I think* теряет референциальные (объективные) свойства и становится просто начальным пунктом коммуникативной перспективы. Что касается так называемых наречий установки (“*stance adverbs*”) типа *actually, generally, loosely, really, strictly*, то они, как показано в работе, проявляют признаки схожего развития – от наречий образа действия до элементов, кодирующих суждение говорящего относительно степени и условий истинности, и модальных наречий, которые могут действовать преимущественно с целью информировать и убедить слушающего в характере и степени важности оценки говорящим высказывания. Сходным образом, модификаторы степени типа *very (truly), pretty, awfully* и с недавних пор *virtually* претерпели сдвиг от наречий образа действия к частицам, индицирующим оценку со стороны говорящего нормативной отнесённости избранной лексической единицы [Traugott 1995].

Сказанное позволяет сделать два важных обобщения. Первое заключается в том, что для осуществления вторичного семиозиса язык развил определённую систему средств. Уже в рамках теории речевых актов эти средства подвергаются осмыслению и получают терминологические обозначения. Например, Д. Вундерлих, В. Мотш и М. Бирвиш называют их “средствами индикации иллокутивной силы” (“*illocutionary force indicating devices*”). Бирвиш описывает их как элементы, которые более или менее напрямую определяют иллокутивную силу речевого акта, в котором они используются. По Бирвишу, они могут быть двух разных видов, которые требуют принципиально различного анализа. Первый тип составляют эксплицитные перформативные формулы типа *I promise you to* или *I request that* в следующих примерах:

- a) *I promise you to be there before you.*
- b) *I request that you come in the evening.*

Второй тип представлен преимущественно грамматической категорией наклонения, т.е. средствами, характеризующими типы предложений как повелительные или вопросительные, например:

- a) *Could you come in the evening?*
- b) *Come in the evening* [Bierwisch 1980: 1].

Мотш считает, что описание значения средств индикации иллокутивной силы совсем необязательно будет идентичным описанию речевых актов, тем не менее, по его мнению, вся теория предполагает тесную взаимосвязь между лингвистическим анализом и анализом условий речевого взаимодействия [Motsch 1980: 156]. Другие авторы, более склонные к выявлению смысловой релевантности рассматриваемых средств, используют для их обозначения термин “оператор”, например, А.Е. Кибрик и Е.А. Богданова (см. выше).

Второе обобщение касается того, что рассматриваемые средства носят идиоэтнический характер, варьируя от языка к языку, что, разумеется, не исключает зон их совпадения в разных языках. Так, Вундерлих отмечает, что для такого языка как немецкий можно выделить, по крайней мере, следующие классы лингвистических средств, которые служат индикации типа данного речевого акта: а) грамматическая категория наклонения, б) эксплицитные перформативные формулы, в) референция к другому речевому акту в данном отрезке текста, г) выражение ментального состояния, связанного с данным речевым актом, д) имплицитная контекстная реализация [Wunderlich 1980: 299].

Мы склонны рассматривать в рамках развиваемой в настоящей работе теории вторичного семиозиса в качестве смыслопорождающих операторов все те элементы языковой системы, которые служат экспликации смысла высказывания [Худяков 1998 г.]. При этом их можно классифицировать по разным основаниям. Одним из критериев разбиения на группы является признак специализированности на выполнении смыслопорождающей функции, по которому их можно поделить на узуальные и окказиональные. К числу узуальных следует отнести, например, дискурсивную лексику и метатекстовые форманты. В качестве окказиональных операторов могут употребляться практически любые элементы языковой системы, выполняющие в данном высказывании помимо конструктивно-языковой (первичносемиотической) функции функцию генерирования смысла (вторичносемиотическую). К числу окказиональных операторов в русском языке можно, например, отнести глагольную форму будущего времени, употребляемую в специфических синтаксических конструкциях и при соответствующем интонационном оформлении и эксплицирующую узуальный смысл “угроза”: *Ты у меня погуляешь по ночам! Он у Кати будет шляться по*

улицам! [Перцов 1998: 8]. Г.А. Золотова, Н.К. Онипенко и М.Ю. Сидорова, рассматривая употребление инфинитива глаголов несовершенного вида с частицей *только* или *всё* в условиях особого регистра речи, называемого ими информативным, отмечают, что он выражает оценочную характеристику субъекта: “При этом желание приписывается субъекту действия, а говорящий с внешней точки зрения даёт отрицательную оценку поведения, образа жизни этого субъекта; см., например: *Ему только бы спать; Ей только бы есть*” [Золотова, Онипенко, Сидорова 1998: 317]. Нельзя сказать, что глагольная форма будущего времени в русском языке специализирована на выражении смысла “угроза”, а глагольная форма инфинитива – на выражении смысла “осуждения, неодобрения”, но в особых контекстных и ситуационных условиях эти формы способны реализовывать именно эти смыслы. Вот почему формы будущего времени и инфинитива следует считать окказиональными смыслопорождающими операторами.

Согласно другому классификационному признаку смыслопорождающие операторы можно разбить на собственно лингвистические и паралингвистические. Под последними будем понимать вслед за Р.К. Потаповой [Потапова 1998] не мимику и жестикуляцию (их можно отнести к сфере экстралингвистики), а различные произносительные, прежде всего интонационные, средства. Следует отметить, что уже в рамках теории речевых актов фактор интонации рассматривался в качестве одного из релевантных. Так, значение (а по сути иллокутивная сила) предложения, структурированного как императивное, зависит, как указывает А. Вежбицка, от интонации его произнесения: “*Приходи!*, сказанное с интонацией мольбы, означает то же самое, что *Я умоляю тебя прийти; Приходи!*, сказанное с интонацией приказа, означает то же самое, что *Я приказываю тебе прийти; Приходи!*, сказанное с интонацией совета, означает то же самое, что *Я советую тебе прийти* и т.д.” [Вежбицка 1985: 256]. Дж. Лакофф приводит следующие свидетельства релевантности фонетического критерия при моделировании смысловой стороны высказывания: “Р. Лакофф обнаружила, что в американском варианте английского языка (по крайней мере во многих его диалектах) имеется правило саркастической назализации, по которому всё предложение целиком или та его часть, которая употребляется в саркастическом смысле, подвергается наза-

лизации. Таким образом, если *Harry is a real genius*, ‘Гарри – настоящий гений’ или его саркастическая часть – *real genius* ‘настоящий гений’ – назализуется, это предложение может иметь только саркастическое истолкование. Правило назализации, как представляется, действует при некотором трансderivационном условии, сводящем фактически выражаемое значение к диаметральной противоположности буквального значения того же предложения” [Лакофф 1985: 464].

Об этом же пишет и А. Катлер, анализирующая смысловые транспозиции высказывания с точки зрения процесса его понимания как комплементарного процессу его порождения. С её точки зрения, понимание предложения происходит в три этапа – определение границ слов, определение лексических значений и перцепция синтаксической структуры, или синтаксический анализ. Однако Катлер полагает, что этих трёх стадий недостаточно для окончательной характеристики процесса понимания предложения. Рассматривая в качестве примера предложение *Cassandra is a real genius*, автор отмечает, что оно может быть произнесено с интонацией почтения и восхищения, при этом оно будет похвалой Кассандре. Но оно также может быть произнесено в совершенно другой манере – с интонационным контуром, который известен как ироничный. В этом случае такое предложение выражает далеко не похвалу Кассандре, но как раз наоборот. Ироническая интонация, справедливо отмечает Катлер, несёт значение, совершенно противоположное буквальному; и слушатель, без сомнения, сможет воспринять именно это значение, а не буквальное значение высказывания; он поймёт, что говорящий хотел ему сообщить, что Кассандра является кем угодно, но не гением. Трудно представить, как этот факт, касающийся понимания предложения, вписывается в модель, которая включает только операции по идентификации слов, определению лексических значений и синтаксический анализ [Cutler 1976: 133-134].

Отметим, что интонационными средствами маркируется не только ирония, но и сарказм. Для последнего, впрочем, помимо ин-

тонации, выделяется и такие маркеры, как кавычки на письме и гиперформальный стиль [Haiman 1990].\*

Собственно лингвистические смыслопорождающие операторы можно подразделить на лексические, морфологические, синтагматические и артиклевые. При этом следует со всей определённо­стью ещё раз подчеркнуть следующие три момента. Первое. Каждый язык обладает собственным репертуаром средств экспликации смысла; возможность существования схожих смысловых операторов в разных и даже многих языках не отменяет общего принципа их идиоэтничности. Перечисленные выше классы операторов выделяются нами на материале английского языка. Второе. Выделимости и таксономизации поддаются лишь узуальные смыслы как принципиально обозримые и “закодированные” в определённые ячейки языковой системы (ср., например, высказывание Н.А. Кобриной о том, что механизм операции шифтирования гарантирован сеткой отношений внутри языковой системы [Кобрина 1998 а: 12]; см. также [Newmeyer 1988: 6]). Третье. Смысл речевого высказывания не обязательно должен входить в конфликт или хотя бы просто отличаться от кодифицированного значения предложения как языкового знака; частные случаи совпадения значения и смысла не исключаются. Чаще, однако, мы имеем дело со случаями, когда смысл и значение не совпадают – речевое высказывание изменяет, дополняет, уточняет, модифицирует пропозициональное содержание предложения, в форме которого оно (высказывание) осуществляется. Факт осмысления в высказывании значения предложения для нас принципиально важен, ведь, как справедливо указывает А. Катлер, даже при наличии иронической интонации в высказывании (которая, как было показано выше, отрицает пропозицию, каузируемую буквальным прочтением предложения) отрицание пропозиции не может быть понято без понимания самой пропозиции. Другими словами, успешное понимание иронического высказывания обусловлено успешным пониманием буквального значения предложения [Cutler 1976: 143].

---

\* Анализ иронии и сарказма, а также их лингвистических, паралингвистических и экстралингвистических маркеров см. [Katz 1996; Kreuz 1996].

### 3.4.1. Лексические операторы

К лексическим операторам относятся все те лексемы, в структуре словозначения которых доминирует не сема “информация о мире”, а сема “информация об информации”. Поясним это на примерах, для чего рассмотрим следующие предложения: 1) *Tom entered the university*, 2) *Tom failed to enter the university*, 3) *Tom managed to enter the university*. Первое предложение отлично от двух других тем, что, будучи рассмотренным как речевое высказывание, несёт узуальный смысл, сводимый к его языковому (пропозициональному) значению: “Том поступил в университет”. Смысл высказываний 2) и 3), напротив, несводим к пропозициональному значению предложений и может быть эксплицирован следующим образом: 2) “Том пытался поступить в университет, но не поступил”; 3) “Том поступил в университет, хотя это нелегко, т.к. требует приложения усилий: не всякий может поступить в университет”. Узуальные смыслы легко порождаются говорящим и легко “считываются” слушающим, так как носят, как мы уже установили, кодифицированный характер. Передачу именно этих смыслов в ходе коммуникативного акта и может ставить себе задачей говорящий. Но, очевидно, не только их. Целью высказывания может быть и передача окказиональных смыслов, которые, как мы уже установили, “идут” дальше узуальных смыслов, носят контекстно обусловленный и ситуативный характер, а поскольку количество реальных коммуникативных ситуаций неисчислимо и каждый коммуникативный акт является уникальным событием, постольку окказиональные смыслы неисчислимы и необозримы. Возможность порождения и понимания окказиональных смыслов основывается на всём спектре самых разнообразных знаний индивида: на знаниях энциклопедического порядка, на жизненном (житейском) опыте, на понимании (иногда интуитивном) причинно-следственных связей, а также на верованиях, убеждениях, мнениях и т.д. Очертить круг окказиональных смыслов поэтому можно лишь с большей или меньшей степенью вероятности и никогда вполне определённо. Окказиональные смыслы, “вытекающие” из пропозиционального значения и узуального смысла вышеприведённых высказываний, могли бы быть, например, такими, как 1) “Том поступил в университет, теперь может немного и отдохнуть”, “Том поступил в уни-

верситет, теперь в его жизни начинается интересная (тяжёлая, долгая, ответственная и т.д.) пора, связанная с учёбой”, (“Теперь придётся много платить за учёбу”), “Теперь Том уже не мальчик, он студент” и т.д. и т.п.; 2) “Том настолько глуп, что не смог поступить в университет”, “Том – лентяй (бездарь, тупица и т.п.)”, “У Тома слабое здоровье (слабая сила воли)”, “А вообще-то Том и не очень хотел поступать в университет” и т.д. и т.п.; 3) “Том очень умён (трудолюбив, целеустремлён, работоспособен и т.д.)”, “Мы гордимся Томом”, “Мы рады за Тома”, “Не каждому удаётся поступить в университет, а вот Том смог” и т.д. и т.п. В дальнейшем мы воздержимся по указанной выше причине от попыток экспликации окказиональных смыслов, хотя, повторим, именно они и могут быть в фокусе процесса вторичного семиозиса.

К числу лексических операторов относятся также единицы дискурсивной лексики (в традиционной частеречной классификации относимые обычно грамматистами к разряду частиц и/или наречий) и междометия. Что касается частиц типа *even* и *only*, то они уже давно рассматриваются как средства реализации имплицитной предикативности [Старикова 1974]. В высказывании 4) *Even he came* помимо пропозиционального значения “он пришёл” передаются узуальные смыслы “пришёл кто-то ещё” и “не ожидалось, что он придёт”.

Среди такого типа операторов можно выделить группу, прототипический узуальный смысл которых можно было бы обозначить как “наличие ситуации, противоположной обозначаемой данным предложением”: *once, no longer, no more, at first, at the beginning, until now*. Например, 5) *She was once naive* на смысловом уровне читается “она была наивной, но затем перестала быть наивной”, а 6) *At first he was nervous* читается как “он испытывал нервное состояние, затем перестал его испытывать”.

Можно говорить и о группе лексических операторов, прототипическим узуальным смыслом которых является смысл “подобие, похожесть, схожесть”: *too, also and as well*. Например, 7) *She was angry too* эксплицируется “она была сердита, и кто-то ещё был сердит”. *Again* есть оператор узуального смысла “повторяемость”.

К лексическим операторам относятся также всевозможные парентетические элементы типа *by the way, I think, I guess, I suppose, I presume, I am afraid, perhaps, probably, may be, surely, possibly, cer-*

*tainly, of course, I wonder, you know, you see* и под. Возьмём для примера оператор *by the way* как в 8) *By the way, John has gone away*. А. Вежбицка эксплицировала бы смысл высказывания 8), по всей вероятности, следующим образом: “Джон уехал; я хочу сказать об этом кое-что другое; не думай, что это важно для дела, о котором я говорю” [Вежбицка 1978: 411].

Особняком стоит в рассматриваемом классе смыслопорождающих операторов наречие *allegedly*, которое, строго говоря, нельзя отнести к числу дискурсивных слов, так как его семантика поддаётся достаточно чёткому лексикографическому описанию и во внеконтекстных условиях. Тем не менее это лексический оператор, играющий весьма существенную роль в порождении и понимании смысла высказывания. Так, смысл 9) *John is allegedly a coward* может быть эксплицирован весьма пространно: “Джон – трус, но я, говорящий, этого не утверждаю, так как это не моё мнение о Джоне, а мнение других людей, полностью доверять которому у меня нет оснований”. Таким образом, узуальный смысл высказываний с *allegedly* может быть в самом общем виде обозначен как “отстранённость субъекта высказывания от оценки истинности содержащейся в предложении информации”.

Говоря о междометиях, которые в традиционной грамматической теории рассматриваются в качестве слов, выражающих эмоции и аффективные состояния говорящих, Д. Шиффрин указывает и на их дискурсивно-релевантные, мы бы сказали смыслопорождающие, функции. Согласно Шиффрин, английское *oh* способно эксплицировать речевые смыслы, которые можно было бы описать так: “я, говорящий, переориентируюсь в отношении информации (оценки её коммуникативной значимости, истинности, релевантности)”, “я, говорящий, заменяю один информационный блок другим”, “я, говорящий, осознаю, что уже известная информация стала коммуникативно релевантной”, “я, говорящий, получаю новую информацию для её интеграции в уже существующую базу знаний”, “я, говорящий, узнаю уже известную мне информацию”, “я, говорящий, реагирую аффективно и субъективно на дискурсивную информацию”. Таким образом, *oh* играет важную коммуникативную роль, мотивированную с когнитивной точки зрения [Schiffirin 1987].

### 3.4.2. Морфологические операторы

К операторам этого класса будем относить все те, которые представляют собой “неканонизированную” форму реализации грамматических категорий. Проиллюстрируем это на примерах глагольной категории вида и именной категории числа.

Рассмотрим высказывание 10) *You are being kind*. По нормам английской грамматики глагол-связка *be*, как правило, не может употребляться в форме длительного вида. Следовательно, нарушение грамматической нормы оказывается значимым в смысловом отношении: говорящий как бы посылает слушающему сигнал: “Ищи в моём высказывании другой смысл кроме (а иногда вместо) кодифицированного пропозиционального значения”. И, действительно, такой смысл в высказывании 10) мы обнаруживаем: “ты поступаешь (ведёшь себя, говоришь и т.д.) как человек добрый, хотя, вообще-то, доброта тебе не свойственна”.

Смысловые транспозиции имеют место и в случае употребления форм времени. Так, в высказывании 11) *John is leaving* форма настоящего длительного времени, обычно используемая для обозначения действия, происходящего в момент речи, эксплицирует смысл: “уход (отъезд) Джона состоится в ближайшем будущем”.

В сфере категории числа имени существительного внимание привлекают формы множественного числа тех имён, которые нормативно должны употребляться лишь в форме единственного числа. К ним относятся, в частности, так называемые вещественные существительные типа *sand, water, snow, wine, brandy* и под. Форма множественного числа таких слов маркирует следующий узуальный смысл: “я, говорящий, имею в виду не только обозначенное данным словом вещество, но и его массовидность, огромность, как в 12) или сортность, порционность, как в 13)”: 12) *The snows of the Arctic spread over the vast territory*; 13) *There were a lot of wines on the table* [Худяков 1990].

Относительно абстрактных существительных, употребление которых в форме множественного числа должно иметь серьёзную смысловую мотивировку, можно постулировать вариант следующей смысловой экспликации. Высказывание 14) *He was amazed at the intricacies of political life* эксплицируется “он был изумлён запу-

танностью политической жизни, столкнувшись с различными формами (видами, способами, случаями) проявления этой запутанности”.

### 3.4.3. Синтагматические операторы

Под синтагматическими операторами экспликации узуального смысла будем понимать все случаи так называемой “внешней категоризации” – явления, характерного для английского языка как изолирующего с типологической точки зрения [Кобрина 1981; Худяков 1990 а]. Интерпретационно значимым считается при внешней категоризации числовая форма слова-индикатора, “сигнализирующего” тот узуальный смысл, который говорящий вкладывает в содержание всего высказывания или его части. Рассмотрим два примера: 15) *the army was retreating* и 16) *the army were retreating*. В 15) к пропозициональному значению “армия отступала” добавляется узуальный смысл “как нечто единое целое, как некая структурная единица, организовано”. В 16) к тому же пропозициональному значению добавляется иной узуальный смысл: “не как единое целое, а как некая совокупность отдельных индивидов, когда каждый из них совершает действие отступления сам по себе, в независимости от других, разрозненно, возможно хаотично и неорганизованно” [Худяков 1990 в].

Приведём ещё два контрастных примера внешней категоризации несколько иного рода: 17) *a series of windows looks out into the garden* и 18) *a series of windows look out into the garden*. Помимо общего для сравниваемых высказываний пропозиционального значения “окна выходят в сад”, данные высказывания содержат разный узуальный смысл: “я, говорящий, воспринимаю окна, о которых идёт речь, в целостности, как единый архитектурный фрагмент дома” (пример 17); “я, говорящий, воспринимаю окна, о которых идёт речь, как расчленённую множественность, каждое в отдельности, независимо от соседних, подчёркивая идею множественности объектов, а не единичности фрагмента, частью которого они являются” (пример 18) [Худяков 1990 в].

Ещё одним синтагматическим оператором является порядок слов в высказывании, а точнее – выбор из соответствующих альтернатив подлежащего как наиболее топикализованной части высказывания.\* Так, У. Фоли и Р. Ван Валин заметили, что в большинстве языков существует более одного предиката для описания некоторого определённого состояния, события или действия. Например, коммерческая сделка, включающая двух участников и объект, может быть вербализована либо как 19) *Doug bought a sheep from Malcolm*, либо как 20) *Malcolm sold a sheep to Doug*. Разница между этими двумя пропозиционально идентичными высказываниями заключается в выборе говорящим слова, обозначающего участника, иницирующего и контролирующего событие. Если в случае сделки между Дагом и Малколмом Даг считается говорящим главным действующим лицом и инициатором сделки, тогда подходящим будет предложение 19) с глаголом *buy*. Если, с другой стороны, Малколм считается участником, иницирующим и контролирующим сделку, тогда подходящим будет предложение 20) с глаголом *sell* [Foley, Van Valin 1986: 291-292]. Иными словами, узуальный смысл, добавляемый к пропозициональному значению в 19), будет читаться “я, говорящий, считаю Дага инициатором, каузатором, контролёром данной ситуации”, а узуальный смысл, добавляемый к пропозициональному значению в 20), будет читаться “я, говорящий, считаю Малколма инициатором, каузатором, контролёром ситуации”.

#### 3.4.4. Артиклевые операторы

Выносить артикль в отдельный класс операторов вынуждает нас нерешённость вопроса о том, к какому уровню языковой иерархии его следует отнести. Разброс мнений об уровне принадлежности артикля чрезвычайно широк – грамматисты рассматривают его как явление и морфологическое, и лексическое, и синтаксическое и текстовое [Ильиш 1971; Иванова, Бурлакова, Почепцов

---

\* В случаях подобного рода оправданным является также применение термина “лексико-синтаксические операторы”

1981; Блох 1983; Смирницкий 1959; Хаймович, Роговская 1967; Корнеева, Кобрин, Гузеева, Оссовская 1974; Жигадло, Иванова, Иофик 1956; Рейман 1988]. Поэтому включение его в любой из предшествующих разделов было бы насилием над его во многом уникальной природой. Выделение отдельного раздела для артикля, таким образом, представляется вполне оправданным.

Начнём с критики утверждения, что английский определённый артикль указывает на определённую референтность существительного, с которым он употребляется, а неопределённый артикль сигнализирует неопределённость референта существительного. Говоря о категории определённости/неопределённости имён, В.В. Гуревич цитирует высказывание Ш. Балли о том, что когда говорят о нескольких собаках, то число собак бывает или неизвестно, или не выражено, но оно не неопределённо. Неопределённость, заключает Гуревич, отражает не реальное отсутствие у объекта каких-либо отличительных признаков, а лишь некоторое отношение к этому говорящего: незнание, нежелание или отсутствие необходимости в подобном уточнении и т.п. Уже из этого видна субъективность значения неопределённости, ибо в реальности все объекты имеют индивидуальные отличительные признаки, т.е. не являются неопределёнными (ни в количественном, ни в качественном плане) [Гуревич 1998: 29]. Что же актуализируется в речи при помощи артиклей, если отказаться от стереотипного указания на категорию определённости/неопределённости?

Е.Н. Старикова пишет, что, употребляя неопределённый артикль, например, перед существительным *letter* в высказывании 21) *I received a letter yesterday*, говорящий исходит из того факта, что слушающий не знает, о каком именно письме идёт речь, хотя сам говорящий имеет, естественно, вполне определённое представление о нём [Старикова 1985: 107]. Таким образом, узуальный смысл высказывания 21) можно эксплицировать следующим образом: “я, говорящий, сообщаю тебе, что получил письмо, предполагая, что ты не знаешь, о каком письме я говорю”.

На это же, по сути, указывают и У. Фоли и Р. Ван Валин, считающие, что говорящий маркирует именную группу артиклем как определённую, когда он предполагает, что слушающий может однозначно идентифицировать её референт. Авторы предлагают следующую воображаемую, хотя и абсолютно реальную, ситуацию.

Предположим, к вам приходит друг и говорит: 22) *Fred bought the car*. Он полагает, что вы понимаете, о какой машине идёт речь. Если вы не знаете референта слова *car*, вы спросите: “*which car?*”. Если, с другой стороны, он говорит: 23) *Fred bought a car*, то и тогда он говорит об определённой машине, но при этом не предполагает, что вы знаете, о какой именно машине он говорит. Итак, в обоих случаях говорящий имеет в виду определённую машину (слово *car* является референтной именной группой). Но когда именная группа маркирована определённым артиклем *the*, говорящий предполагает, что слушающий может идентифицировать референт. При маркировании же именной группы артиклем *a* говорящий предполагает, что слушающий не может однозначно идентифицировать референт [Foley, Van Valin 1986: 284].

Вообще, как показывают далее Фоли и Ван Валин, определённая именная группа отнюдь не предполагает автоматического маркирования её определённым артиклем. Во многих случаях референтно определённая именная группа маркируется неопределённым артиклем столь же свободно, как и референтно неопределённая. В английском языке существуют случаи, когда определённая/неопределённая референтно именной группы выявляется лишь в контексте, причём неопределённым артиклем маркируются обе именные группы. Предложение 23) *I am looking for a snake* может означать либо “Я ищу определённую змею”, либо “Я ищу любую змею”, что можно продемонстрировать 24) *I am looking for a snake. It is 4 feet long and has red stripes* и 25) *I am looking for a snake; any will do. A snake* в 24) – референтно определённая именная группа, из описания ясно, что говорящий имеет в виду определённую змею с определёнными чертами. *A snake* в 25) является референтно неопределённой группой, поскольку любая змея удовлетворяет желанию говорящего [Foley, Van Valin 1986: 285-286]. Отсюда ясно видно, что определённая референтно именная группа и его детерминация определённым артиклем далеко не всегда совпадают в высказывании.

Итак, выше мы установили, что узуальный смысл артиклевой детерминации, “наслаивающийся” на пропозициональные значения, может быть эксплицирован как “я, говорящий, предполагаю, что слушающему известен/неизвестен предмет, о котором идёт речь”. Какие ещё узуальные смыслы эксплицируются артиклем?

Ответ на этот вопрос даёт оригинальная и в целом малоизвестная теория локализации Дж. Хокинза. Согласно этой теории, использование определённого артикля является инструкцией для слушающего локализовать референт определённой именной группы как одного из членов набора объектов, которые прагматически определяются на основании различных типов общего для говорящего и слушающего знания и на основании ситуации речевого акта. Слушающий локализует референт в том смысле, что он понимает, что объект, к которому осуществляется референция, является членом соответствующего прагматически определимого набора. Отношения между определённой дескрипцией и всеми объектами, удовлетворяющими дескриптивному предикату, внутри соответствующего прагматического набора можно определить как отношения “включения”. Этот вывод, касающийся “инклюзивности”, относится и к существительным в форме множественного числа, и к вещественным существительным, равно как и к исчисляемым существительным в форме единственного числа с определённым артиклем. Так, предложение 26) *bring the wickets in after the game of cricket* обычно понимается как относящееся ко всем wickets (воротцам), о которых идёт речь. Что касается предложения 27) *the king of France is bald*, то общее количество королей Франции, по отношению к которым осуществляется референция, равняется единице. И уникальность определённых дескрипций является лишь частным проявлением более общего правила – правила инклюзивности внутри прагматически определённых параметров. Введение понятия инклюзивности объясняет и фундаментальную разницу между выбором говорящим определённого либо неопределённого артикля, которая заключается, по Хокинзу, в следующем: *the* относится ко всем релевантным, прагматически отграниченным объектам инклюзивно; *a* относится не ко всем – эксклюзивно, т.е. считается, что существуют другие объекты, которые исключаются из референции неопределённой дескрипции. Отсюда нормативность 28) *Fred lost a leg in the war* и ненормативность 29) ? *Fred lost a head in the war* [Hawkins 1978: 17]. Данная теория расширяет диапазон узальных смыслов, эксплицируемых английским артиклем.

Подытоживая анализ смыслопорождающих операторов, отметим следующее. При выявлении реестра таких операторов мы исходили из возможности регистрации и таксономизации лишь уз-

альных смыслов, то есть нас интересовал лишь “первый шаг перехода” [Почепцов 1987: 19] от значения к смыслу. Дальнейшие “шаги” привели бы нас к зыбкой и практически нетипологизируемой средству современных лингвистических методик области окказиональных смыслов, или семиоимпликационных значений [Никитин 1997 а]. Сказав это, мы считаем однако, что область окказиональных смыслов вовсе не является принципиально закрытой для исследователя. Возможно, в дальнейшем будут предложены адекватные аналитические процедуры и инструментарий для научных разысканий именно в этой области, и именно с ней будут связаны исследовательские перспективы в сфере вторичного семиозиса.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод о том, что ментальная деятельность человека в целом куда ярче, богаче и разнообразнее, чем та её часть, которая нацелена на осуществление речевой деятельности. Речемыслительный процесс, осуществляющийся в форме порождения знаков языка и включения их в сферу коммуникации, есть манифестация лишь одной из когнитивных способностей человека, ибо мышление и речь объёмно не равны друг другу: первое включает второе. Однако замечательное свойство языка состоит в том, что он способен в своих формах эксплицитировать ту часть мыслительной деятельности человека, которая скрыта от непосредственного наблюдения и о природе которой мы можем судить лишь косвенно, опираясь на анализ одного из важнейших продуктов этой деятельности, каковым является язык. Основной же единицей языка является предложение, рассматриваемое в двух ракурсах – номинативном и коммуникативном, т.е. как языковой знак и как сегмент речевой цепи в форме этого знака. В силу этого *предложение-высказывание* является столь же законообоснованным объектом рассмотрения с точки зрения семиотического акта, как и *предложение-языковая модель*. Анализ синтаксического семиозиса, понимаемого как процесс мыслительного конструирования предложения, позволяет, следовательно, вынести некоторые суждения относительно механизмов мыслительной деятельности человека и тех операционных сущностей, в форме которых она осуществляется, тех общих закономерностей, которые для неё характерны. Но не только об этом. Такого рода анализ может иметь и лингвистическую ценность, позволяя по-новому взглянуть на многие факты языка, увидеть их в новом свете, реинтерпретировать их функциональную нагруженность и целевую предназначённость.

Применительно к предложению это означает следующее. Его уже крайне недостаточно рассматривать как субъектно-предикатную структуру, как это делалось в конструктивном синтаксисе. Его способность члениться на более мелкие сегменты, обладающие дистрибутивными особенностями, уже не считается его сутью (к разочарованию сторонников структурно-дескриптивной лингвистики). Его способность восходить к некоему ядерному предложе-

нию, на чем настаивают приверженцы трансформационно-порождающей грамматики, является крайне сомнительной. Его рассмотрение как реализации предикатно-аргументной структуры (пропозиции) оставляет без ответа слишком много вопросов: чем диктуется выбор данной глагольной лексики из ряда ей синонимичных в каждом конкретном случае построения предложения, как объяснить природу артиклевой детерминации, на чем основывается ввод в структуру предложения модальных операторов и частиц, каковы причины морфологического варьирования представителей различных частеречных классов? Крайне туманно решается и вопрос о том, откуда, собственно, берется в сознании человека сама пропозиция. Рассуждения о том, что она изоморфна отражаемой ею онтологической ситуации, мало проясняют суть дела: механизм отражения остается совершенно неясным. Как же в таком случае следует рассматривать предложение?

На наш взгляд, определяющей характеристикой предложения является то, что оно есть минимальный носитель смысла. Признание того факта, что смысл генерируется мыслью человека именно в форме предложения, заставляет по-новому оценить такие стороны предложения, как его семантика и синтактика. Семантика видится как результат преобразования ментальной модели, синтактика – как способ репрезентации семантики, модус выведения её во внешнюю знаковую форму. При этом ценность каждой из сторон сентенционального знака и предзнака для пользующегося языком человека принципиально неодинакова. Если ментальная модель и образующаяся на её основе семантическая составляющая языкового знака манифестируют собой содержательно важный, коммуникативно релевантный, телеологически обусловленный аспект семиозиса, то пропозициональная матрица, отражённая на языковом уровне десигнаторной частью сентенционального знака, является необходимым механизмом, средством приведения богатого мыслительного содержания в коммуникативно приемлемую форму, что достигается ценой частичной потери изначального богатства “смысловой палитры” ментальной модели. Таким образом, каждая из сторон предзнака и знака оказывается функционально значимой. Замысел речи активизирует ментальную модель, представляющую собой пучок концептуальных связей. Пропозициональная матрица позволяет ментальной модели преобразоваться в пропозицию –

мыслительную структуру, из которой и может образоваться обычный сентенциональный знак. Семантика языкового знака, будучи производной от ментальной модели, позволяет вывести релевантную информацию из ментально-концептивного плана в план языка, сделать ее достоянием языкового сознания. Синтактика позволяет “отлить” эту информацию в тело знака, сделав ее пригодной для трансляции адресату в ходе осуществления коммуникативного акта.

Мы полагаем адекватным при рассмотрении семиозиса в указанном выше смысле прибегнуть к использованию понятий вектора и тензорных преобразований, как они представлены в современной аналитической геометрии. Вектор в лингвистической интерпретации – направленное движение мысли, проходящее стадии количественных и качественных преобразований, называемых тензорными преобразованиями. Вектор и тензор при этом не противопоставлены, а полагаются тесно связанными – тензор есть тот же вектор, но вектор изменяющийся в соответствии с определенными правилами (по типу матричных преобразований). Две стадии тензорных преобразований имеют коллинеарный (однонаправленный) характер, но различаются двумя существенными моментами. Первое отличие заключается в том, что сутью начального этапа семиозиса является сингуляризация, т.е. сужение векторного пространства, селекция из большого числа потенциальных претендентов на роль элементов пропозиции тех, которые соответствуют интенции речи, проецируемой в структуру сентенционального знака. Соответственно, результатом первого этапа тензорных преобразований является создание (одной) пропозиции. Второй этап тензорных преобразований представляет собой универсализацию, понимаемую как расширение пропозиции, обогащение ее информационного содержания, наполнение ее теми элементами, которые предоставляет в распоряжение человека сложившаяся в его сознании языковая система. С этим первым отличием связано и второе: первый этап тензорных преобразований происходит исключительно в пространстве мысли, предполагает оперирование чисто ментальными сущностями разного рода, составляющими ментальный субстрат пропозиции, – концептами (понятиями), их конфигурациями (категориями), ментальными моделями, пропозициональными матрицами, эксплуатируя мнемонические ресурсы сознания. Второй этап, в отличие от первого, носящего дознаковый (протознаковый) характер,

является уже собственно знаковым, происходит в пространстве языка, имея своим результатом создание линейаризованного, контекстно и ситуационно адаптированного языкового знака.

Возможность осуществления параллельных процессов в области конструирования как предзнака (в плане совершения одновременных операций в сфере протодесигната и в сфере протодесигнатора), так и знака (в плане совершения одновременных операций в области семантики и в области синтактики) обеспечивается модулярным принципом устройства мозга и сознания. Модульный характер мышления предполагает не только параллелизм мыслительных процессов разных групп модулей (например, одновременность мыслительных процедур в области ментальных моделей и пропозициональных матриц), но и параллелизм, так сказать, внутримодульный, т.е. одновременность мыслительных процедур в области ментальных моделей, одновременность мыслительных процедур в области пропозициональных матриц и т.д. Этим обеспечивается очень высокая степень скорости, лабильности и надежности речемышлительных операций, нежесткая заданность тактических ходов при соблюдении глобальной стратегии и общего алгоритма операций.

В развиваемой нами концепции семиозиса важнейшее место отводится фактору пространства и времени. Будучи протяженным в пространстве и времени, мыслительный акт конструирования предложения не может не отражать в структуре своего продукта онтологических свойств пространства и времени. Основные (и не только) части речи, выполняющие определенные синтаксические функции, обнаруживают связь с пространственными и/или временными категориями либо в своей лексической семантике, либо в грамматических флексиях, либо и в том и в другом. В предложении как в синтаксическом образовании, рассматриваемом в качестве продукта первичного семиозиса, т.е. в его номинативном плане, превалирующим оказывается пространственное измерение, поскольку предложение как языковой знак может абстрагироваться от динамики обозначаемой им ситуации, информируя о ней лишь как о фрагменте первичной онтологии. В предложении, рассматриваемом как продукт вторичного семиозиса, т.е. в высказывании, превалирующим оказывается временной аспект, ибо в этой своей ипостаси предложение не только номинирует и коммуницирует

некое событие, но и само является неким (речевым) событием, протяженным по времени. Временной аспект никак не исключает, а, напротив, инкорпорирует пространственный, подобно тому, как коммуникативный аспект не исключает, а включает в себя номинативный.

При развиваемой в данной монографии теории семиозиса в центре внимания оказывается не значение, интерпретируемое как базовая семантика сентенционального знака (результат первичного семиозиса), а смысл, генерирование и трансляция которого представляет собой конечную цель процесса коммуникации как вторично-семиотической деятельности. Подразделяемый на узуальный и окказиональный, смысл оказывается принципиально обозримым и исчислимым лишь в первой, узуальной его разновидности. Узуальный смысл, будучи “закодированным” в элементы базовой семантики предложения, может быть эксплицирован путем их анализа и подвергнут таксономизации. Особое внимание при попытках экспликации узуального смысла уделяется тем элементам предложения, которые изначально нацелены не столько на формализацию его пропозиционального содержания, сколько на реализацию коммуникативно-прагматической функции высказывания в форме этого предложения. Такие элементы мы называем смыслопорождающими операторами и выявляем их идиотническую природу. Таким образом, реестр смыслопорождающих операторов будет в решающей степени зависеть от типологического “лица” каждого конкретного языка. Так, для английского языка нами выделяются следующие группы таких операторов: лексические, морфологические, синтагматические и артиклевые. Окказиональные смыслы, в отличие от узуальных, характеризуются столь высокой степенью привязки к каждому конкретному акту языкового творчества, столь тесной спаянностью с никогда не повторяющимися в точности речевыми событиями, что их выявление и тем более каталогизация средствами наличествующего исследовательского инструментария современной лингвистической науки представляются либо сугубо вероятностными, либо попросту невозможными.

Предложенная в данной монографии трактовка семиозиса как порождения смысла в форме предложения, а не как манипуляции уже созданными знаками позволяет значительно расширить рамки лингвистики. Теперь ей пристало заниматься не только языком, но

и, условно говоря, “предъязыком” – тем ментальным субстратом, который является питательной почвой для языка, в который своими корнями уходят многие языковые явления. Соответственно этому наука о языке приобретает новые черты: сосредоточиваясь на моменте движения, изменения, кинетизма, динамики своего объекта, она утрачивает свойство имманентности, становясь процедурной лингвистикой. С другой стороны, смысл также становится законным объектом лингвистической науки, еще более расширяя ее границы, ведь именно трансляция смыслов представляет собой цель всего сложнейшего психофизиологического механизма человека, называемого его речемыслительной деятельностью.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК\*

1. Авоян Р.Г. Значение в языке. Философский анализ: Монография. – М.: Высш. шк., 1985. – 103 с.
2. Адмони В.Г. Партитурное строение речевой цепи и система грамматических значений в предложении // Филол. науки. – 1961. – № 3. – С. 3-15.
3. Актуализация предложения: В 2 т. Т. 1: Категории и механизмы / Отв. ред. А.В. Зеленщиков. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1997 а. – 236 с.
4. Актуализация предложения. В 2 т. Т.2.: Синтаксические модели и их варианты / А.В. Зеленщиков, В.В. Бурлакова, Е.С. Петрова, С.В. Силинский и др.; Под ред. А.И. Варшавской. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1997 б. – 176 с.
5. Альбрехт Э. Критика современной лингвистической философии. – М.: Прогресс, 1977. – 160 с.
6. Амирова Т.А., Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В. Очерки по истории лингвистики / Отв. ред. Г.В. Колшанский. – М.: Наука. Гл. ред. восточной лит., 1975. – 559 с.
7. Андреев Н.Д. Структурно-вероятностная типология отношений между семантикой слова и его грамматическими категориями // Типология грамматических категорий. – М.: Наука, 1975. – С.77-90.
8. Анисимова О.В. Проблема моделирования временных отношений на пространственной основе // Сб. ст. *Studia Linguistica* – 8. Слово, предложение и текст как интерпретирующие системы / Отв. ред. В.М. Аринштейн, Н.А. Абиева. – СПб.: Тригон, 1999. – С. 369 – 373.
9. Аполлонская Т. А., Глейбман Е. В., Маноли И. З. Порождающие и распознающие механизмы функциональной грамматики / Отв. ред. Р. Г. Пиотровский. – Кишинев: Штиинца, 1987. – 172 с.
10. Апресян Ю. Д. Экспериментальное исследование семантики русского глагола / Отв. ред. С. К. Шаумян. – М.: Наука, 1967. – 251 с.

---

\* Данный библиографический перечень включает не только труды, непосредственно упоминаемые в тексте монографии, но также и те, которые, по мнению автора, так или иначе относятся к разрабатываемой теме и могут представлять интерес для всех специалистов, интересующихся проблемами семиозиса.

11. Аракин В. Д. Очерки по истории английского языка / Под ред. М. И. Перпер. – М.: Учпедгиз, 1955. – 348 с.
12. Ардентов Б. П. Мысль и язык. – Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1965. – 87 с.
13. Аристов С.А., Сусов И.П.. Коммуникативно-когнитивная лингвистика и разговорный дискурс // <http://homepages.tversu.ru/~susov/Aristov.htm>. – 1999. – 14 с.
14. Арнольд И.В. Современные лингвистические теории взаимодействия системы и среды // Вопросы языкознания. – 1991. – № 3. – С. 118-126.
15. Арутюнова Н.Д. Вариации на тему предложения // Инвариантные синтаксические значения и структура предложения (доклады на конференции по теоретическим проблемам синтаксиса) / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова. – М.: Наука, 1969. – С. 38-48.
16. Арутюнова Н. Д. Лингвистические проблемы референции // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.13 / Сост., ред., вступ. ст. Н.Д. Арутюновой. – М.: Радуга, 1982. – С.5-40.
17. Арутюнова Н.Д. Логические теории значения // Принципы и методы семантических исследований / Отв. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Наука, 1976 а. – С. 92-118.
18. Арутюнова Н.Д. О номинативном аспекте предложения // Вопросы языкознания. – 1971. – № 6. – С. 63-73.
19. Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. – М.: Наука, 1976 б. – 383 с.
20. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт / Отв. ред. Г.В. Степанов. – М.: Наука, 1988. – 341 с.
21. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – Изд. 2-е, испр. – М.: Языки русской культуры, 1999. – XV, 896 с.
22. Архипов И.К. Творчество языковой личности, текст и контекст // Сб. ст. *Studia Linguistica* – 9. Когнитивно-прагматические и художественные функции языка / Отв. ред. В.М. Аринштейн, Н.А. Абиева, О.Е. Филимонова. – СПб.: Тригон, 2000. – С. 202-213.
23. Ахманова О.С. Очерки по общей и русской лексикологии. – М.: Учпедгиз, 1957. – 296 с.
24. Базылев В.Т. Геометрия дифференцируемых многообразий: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 1989. – 221 с.

25. Банару В.И. Проблематика содержательно-формальной организации предложения: Автореф. дисс. ... д-ра филол. наук. – Киев, 1980. – 34 с.
26. Баранов А.Н., Добровольский Д.О. Постулаты когнитивной семантики // Известия РАН. Сер. лит. и яз. – 1997. – Т. 56. – № 1. – С. 11-21.
27. Баранов А.Н., Плунгян В.А., Рахилина Е.В. Путеводитель по дискурсивным словам русского языка. – М.: Помовский и партнёры, 1993. – 208 с.
28. Бархударов Л.С. Глубинная структура предложения в семиотическом аспекте // Проблемы синтаксической семантики: материалы научной конференции / Отв. ред. Л.С. Бархударов. – М., 1976 а. – С. 8-13.
29. Бархударов Л.С. Проблема предложения в трактовке различных грамматических направлений // Вопросы языкознания. – 1976 б. – № 3. – С.89-100.
30. Бархударов Л.С. Структура простого предложения современного английского языка. – М.: Высш. шк., 1966. – 200 с.
31. Бахтин М.М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук. – СПб.: Изд-во “Азбука”, 2000. – 335 с.
32. Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и др. гуманитарных науках. – М., 1979 а. – С. 281-307.
33. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979 б. – 423 с.
34. Бейкер А. Пресуппозиция и типы предложений // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. Лингвистическая прагматика. Сборник: Пер. с разн. яз. / Сост. и вступ. ст. Н.Д. Арутюновой и Е.В. Падучевой. Общ. ред. Е.В. Падучевой. – М.: Прогресс, 1985. – С. 406-418.
35. Белошеев В.П. Стохастическая интерпретация психосемантики Гюстава Гийома // Физиология человека. – 1996. – № 2. – С. 139-142.
36. Бенвенист Э. Общая лингвистика / Под ред., с вступ. ст. и коммент. Ю.С. Степанова. – М.: Прогресс, 1974. – 448 с.
37. Бенвенист Э. Уровни лингвистического анализа // Новое в лингвистике. – М., 1965. – Вып. 4. – С. 434-449.
38. Берестнев Г.И. О “новой реальности” языкознания // Филол. науки. – 1997. – № 4. – С. 47-55.

39. Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка: Учебник для студентов филол. фак-тов ун-тов и фак-тов англ. яз. педвузов. – М.: Высш. шк., 1983. – 383 с.
40. Блумфильд Л. Язык / Пер. с англ. Е.С. Кубряковой и В.П. Мурат. Под ред. и с предисл. М.М. Гухман. – М.: Прогресс, 1968. – 387 с.
41. Блэк М. Лингвистическая относительность // Новое в лингвистике. – М., 1960. – Вып. 1. – С. 199-212.
42. Богданов В.В. Лингвистическая прагматика и её прикладные аспекты // Прикладное языкознание: Учебник / Л.В. Бондарко, Л.А. Вербицкая, Г.Я. Мартыненко и др.; Отв. ред. А.С. Герд. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1996 а. – С. 268-275.
43. Богданов В.В. Моделирование семантики предложения // Прикладное языкознание: Учебник / Л.В. Бондарко, Л.А. Вербицкая, Г.Я. Мартыненко и др.; Отв. ред. А.С. Герд. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1996 б. – С. 161-200.
44. Богданов В.В. Семантико-синтаксическая организация предложения. – Л.: ЛГУ, 1977. – 204 с.
45. Богородицкий В.А. Очерки по языковедению и русскому языку. – 4 изд., перераб. – М.: Учпедгиз, 1939. – 224 с.
46. Богуславский И.М. Сфера действия лексических единиц. – М.: Школа “Языки русской культуры”, 1996. – 464 с.
47. Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. Т.2. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – 388 с.
48. Болдырев Н.Н. Категориальное значение глагола: Системный и функциональный аспекты. – СПб., 1994. – 171 с.
49. Болдырев Н.Н. Концептуальные структуры и значения языковых единиц // Филология и культура. 1 часть: Тезисы II-й Международной конференции, 12 – 14 мая 1999 / Отв. ред. Н.Н. Болдырев. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 1999. – С. 15-18.
50. Болдырев Н.Н. О функционально-семиологическом подходе к анализу языковых единиц // Когнитивная лингвистика: современное состояние и перспективы развития. 1 часть: Материалы Первой международной школы-семинара по когнитивной лингвистике, 26 – 30 мая 1998 / Отв. ред. Н.Н. Болдырев. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 1998. – С. 116-119.

51. Бондарко А.В. Введение. Основания функциональной грамматики // Теория функциональной грамматики. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1987. – С. 5-39.
52. Бондарко А.В. Грамматическая категория и контекст / Отв. ред. В.М. Жирмунский. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1971. – 115 с.
53. Бондарко А.В. О некоторых аспектах функционального анализа грамматических явлений // Функциональный анализ грамматических категорий. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1973. – С. 5-31.
54. Бондарко А.В. Понятийные категории и языковые семантические функции в грамматике // Универсалии и типологические исследования: Мещаниновские чтения. – М.: Наука, 1974. – С. 54-79.
55. Бондарко А.В. Синтаксическая семантика и речевой смысл // Проблемы синтаксической семантики: материалы научной конференции / Отв. ред. Л.С. Бархударов. – М., 1976 а. – С. 13-17.
56. Бондарко А.В. Теория морфологических категорий / Отв. ред. С.Д. Кацнельсон. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1976 б. – 255 с.
57. Бондарко А.В. Функциональная модель грамматики (теоретические основы, итоги и перспективы) // Язык и речевая деятельность. – 1998. – Т.1. – С. 17-30.
58. Бороздина И.С. Проблемы категоризации пространственных отношений (на примере предлогов удаления) // Когнитивная лингвистика: современное состояние и перспективы развития. 2 часть: Материалы Первой международной школы-семинара по когнитивной лингвистике, 26 – 30 мая 1998 / Отв. ред. Н.Н. Болдырев. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 1998. – С. 113-115.
59. Бруннер К. История английского языка. Том 1 / Пер. с нем. С.Х. Васильевой; Под ред. и с предисл. Б.А. Ильиша. – М.: Изд-во иностр. лит., 1955. – 324 с.
60. Брутян Г.А. О гипотезе Сепира-Уорфа // Вопросы философии. – 1969. – № 1. – С. 56-66.
61. Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка. – М.: Учпедгиз, 1959. – 624 с.
62. Бюлер К. Теория языка: Репрезентативная функция языка / Пер. с нем., общ. ред. и коммент. Т.В. Булыгиной. – М.: Прогресс, 1993. – 528 с.

63. Ван Валин Р., Фоли У. Референциально-ролевая грамматика // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 11. Современные синтаксические теории в американской лингвистике: Переводы / Сост., общ. ред. и вступ. ст. А.Е. Кибрика. – М.: Прогресс, 1982. – С.376-410.
64. Вандриес Ж. Язык: Лингвистическое введение в историю / Под ред. и с предисловием Р.О. Шор. – М.: Соцэкгиз, 1937. – 410 с.
65. Вардуль И.Ф. Об изучении семантического аспекта языка // Вопросы языкознания. – 1973. – № 6. – С. 9-21.
66. Варшавская А.И. Смысловые отношения в структуре языка. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. – 136 с.
67. Васильев Л.М. Современная лингвистическая семантика: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 1990. – 176 с.
68. Васильев С.А. Категории мышления в языке и тексте // Логико-гносеологические исследования категориальной структуры мышления. – Киев: Наукова думка, 1980. – С. 66-115.
69. Васильев С.А. Синтез смысла при создании и понимании текста / Отв. ред. М.В. Попович. – Киев: Наукова думка, 1988. – 240 с.
70. Васильев С.А. Философский анализ гипотезы лингвистической относительности / Отв. ред. Е.Е. Ледников. – Киев: Наукова думка, 1974. – 136 с.
71. Вежбицка А. Метатекст в тексте // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8. Лингвистика текста / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Т.М. Николаевой. – М.: Прогресс, 1978. – С. 402-421.
72. Вежбицка А. Речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. Лингвистическая прагматика. Сборник: Пер. с разн. яз. / Сост. и вступ. ст. Н.Д. Арутюновой и Е.В. Падучевой. Общ. ред. Е.В. Падучевой. – М.: Прогресс, 1985. – С. 251-275.
73. Вежбицка А. Язык. Культура. Познание / Пер. с англ. Отв. ред. М.А. Кронгауз, вступ. ст. Е.В. Падучевой. – М.: Русские словари, 1997. – 416 с.
74. Вейнрейх У. О семантической структуре языка // Новое в лингвистике. – М., 1970. – Вып. 5. – С. 163-249.
75. Вендлер З. Иллокутивное самоубийство // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. Лингвистическая прагматика. Сборник: Пер. с разн. яз. / Сост. и вступ. ст. Н.Д. Арутюновой и Е.В. Падучевой; Общ. ред. Е.В. Падучевой. – М.: Прогресс, 1985. – С. 238-250.

76. Визгалов П.И. Некоторые вопросы диалектики соотношения языка и мышления / Под ред. А.С. Фидровской и Д.М. Прониана. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1962. – 50 с.
77. Виноград Т. К процессуальному пониманию семантики // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XII. Прикладная лингвистика: Переводы/ Сост. В.А. Звегинцева; Пер. с англ. под ред. и с предисл. Б.Ю. Городецкого. – М.: Радуга, 1983. – С. 123-170.
78. Виноград Т., Флорес Ф. О понимании компьютеров и познания // Язык и интеллект / Сост. и вступ. ст. В.В. Петрова; Пер. с англ. и нем. под общ. ред. В.И. Герасимова и В.П. Нерознака. – М.: Издательская группа “Прогресс”, 1995. – С. 185-229.
79. Виноградов В.В. Избранные труды. Исследования по русской грамматике / Ред. Н.Ю. Шведова; Сост. М.В. Ляпон, Н.Ю. Шведова. – М.: Наука, 1975. – 560 с.
80. Виноградов В.В. Из истории изучения русского синтаксиса (от Ломоносова до Потебни и Фортунатова). – М.: Изд-во МГУ, 1958. – 400 с.
81. Виноградов В.В. “Синтаксис русского языка” акад. А.А. Шахматова // Вопросы синтаксиса современного русского языка / Под ред. В.В. Виноградова. – М.: Учпедгиз, 1950. – С. 75-126.
82. Винокур Г.О. О возможности всеобщей грамматики // Вопросы языкознания. – 1988. – № 4. – С. 71-90.
83. Витгенштейн Л. Философские работы. Часть 1. Пер. с нем. / Составл., вступ. статья, примеч. М.С. Козловой; Перевод М.С. Козловой и Ю.А. Асеева. – М.: Гнозис, 1994. – 612 с.
84. Волков А.Г. Язык как система знаков. – М.: Изд-во Московского университета, 1966. – 88 с.
85. Воронцова Г.Н. Очерки по грамматике английского языка. – М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1960. – 399 с.
86. Выготский Л.С. Мышление и речь. Психологические исследования. – М.-Л.: Соцэргиз, “Полиграфкнига” в Мск., 1934. – 324 с.
87. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. – М., 1956.
88. Вяткина Н.Б. Смысл и онтология в логике / Отв. ред. М.В. Попович. – Киев: Наукова думка, 1991. – 122 с.
89. Гак В.Г. Высказывание и ситуация // Проблемы структурной лингвистики 1972. – М.: Наука, 1973. – С. 349-372.

90. Гак В.Г. К проблеме синтаксической семантики // Инвариантные синтаксические значения и структура предложения. – М.: Наука, 1969. – С. 77-85.
91. Гак В.Г. Об исчислении лексико-синтаксических синонимов // Язык: система и функционирование: Сб. науч. тр. / Отв. ред. Ю.Н. Караулов. – М., 1988. – С. 61-69.
92. Галкина-Федорук Е.М. Безличные предложения в современном русском языке. – М.: Изд-во МГУ, 1958. – 332 с.
93. Гетманова А.Д. Логика: Учеб. пособие: Науч. ред. А.И. Панченко. – М.: Новая школа, 1995. – 416 с.
94. Гийом Г. Принципы теоретической лингвистики / Общ. ред., послесл. и комментарии Л.М. Скреблиной. – М.: Прогресс, 1992. – 222 с.
95. Гончарова Н.Ю. Концепт “факт” в представлении человека // Связи языковых единиц в системе и реализации. Когнитивный аспект. Вып. II: Межвуз. сб. науч. тр. / Отв. ред. Н.Н. Болдырев. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 1999. – С. 48-52.
96. Гончарова Н.Ю. К проблеме языкового представления знания фактов // Когнитивная лингвистика: современное состояние и перспективы развития. 1 часть: Материалы Первой международной школы-семинара по когнитивной лингвистике, 26 – 30 мая 1998 / Отв. ред. Н.Н. Болдырев. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 1998. – С. 190-192.
97. Гордон Д., Лакофф Дж. Постулаты речевого общения // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. Лингвистическая прагматика. Сборник: Пер. с разн. яз. / Сост. и вступ. ст. Н.Д. Арутюновой и Е.В. Падучевой; Общ. ред. Е.В. Падучевой. – М.: Прогресс, 1985. – С. 276-302.
98. Горелов И. Н. Невербальные компоненты коммуникации / Отв. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Наука, 1980. – 104 с.
99. Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. Лингвистическая прагматика. Сборник: Пер. с разн. яз. / Сост. и вступ. ст. Н.Д. Арутюновой и Е.В. Падучевой; Общ. ред. Е.В. Падучевой. – М.: Прогресс, 1985. – С. 217-237.
100. Грамматика общая и рациональная Пор-Рояля / Пер. с фр., коммент. и послесл. Н.Ю. Бокадоровой; Общ. ред. и вступит. ст. Ю.С. Степанова. – М.: Прогресс, 1990. – 272 с.

101. Гулыга Е.В., Шендельс Е.И. Грамматико-лексические поля в современном немецком языке. – М.: Просвещение, 1969. – 184 с.
102. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию / Под ред. и с предисл. Г.В. Рамишвили. – М.: Прогресс, 1984. – 397 с.
103. Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Е.В. Гулыги и Г.В. Рамишвили. – М.: Прогресс, 1985. – 451 с.
104. Гуревич В.В. О “субъективном” компоненте языковой семантики // Вопросы языкознания. – 1998. – № 1. – С. 27-35.
105. Гурочкина А.Г. Понятия “скрипт” и “сценарий” и их роль в процессе восприятия и интерпретации текста // Сб. ст. *Studia Linguistica* – 9. Когнитивно-прагматические и художественные функции языка. – СПб.: Тригон, 2000 – С. 235-239.
106. Гухман М.М. К вопросу о соотношении языка и мышления // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. – 1973. – Т.32. – Вып. 4. – С. 356-361.
107. Гухман М.М. Лингвистический механицизм Л. Блумфилда и дескриптивная лингвистика // Труды института языкознания АН СССР. – 1954. – Т. 4. – С. 111-189.
108. Гухман М.М. Понятийные категории. Языковые универсалии и типология // Вопросы языкознания. – 1985. – № 3. – С. 3-12.
109. Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация: Пер. с англ. / Сост. В.В. Петрова; Под ред. В.И. Герасимова; Вступ. ст. Ю.Н. Караулова и В.В. Петрова. – М.: Прогресс, 1989. – 312 с.
110. Динсмор Дж. Ментальные пространства с функциональной точки зрения // Язык и интеллект / Сост. и вступ. ст. В.В. Петрова; Пер. с англ. и нем. под общ. ред. В.И. Герасимова и В.П. Нерознака. – М.: Издательская группа “Прогресс”, 1995. – С. 385-411.
111. Долинина И.Б. Синтаксически значимые категории английского глагола / Отв. ред. Т.В.Бульгина. – Л.: Наука, 1989. – 216 с.
112. Долинина И.Б. Системный анализ предложения / на материале английского языка /: Учеб. пособие для ин-тов и фак-тов ин. яз. – М.: Высш. шк., 1977. – 176 с.
113. Дэвидсон Д. Истина и значение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 18. Логический анализ естественного языка: Пер. с англ. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. В.В. Петрова. – М.: Прогресс, 1986. – С. 99-120.

114. Егорова О.С. Основные типы высказывания в современном французском языке. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 1999. – 128 с.
115. Ельмслев Л. Прологомены к теории языка // Новое в лингвистике. – М., 1960. – Вып. 1. – С. 264-389.
116. Ермолаева Л.С. Неогумбольдтианское направление в современном буржуазном языкознании // Проблемы общего и частного языкознания. – М.: Изд-во ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 1960. – С. 47-85.
117. Есперсен О. Философия грамматики / Под ред. и с предисл. Б.А. Ильиша. – М.: Изд-во иностр. лит., 1958. – 404 с.
118. Ефимов Н.В., Розендорн Э.Р. Линейная алгебра и многомерная геометрия. Изд-е 2-е. – М.: Наука. Глав. ред. физ.-мат. лит., 1974. – 544 с., ил.
119. Жигадло В.Н., Иванова И.П., Иофик Л.Л. Современный английский язык: Теоретический курс грамматики: Учеб. для спец. яз. учеб. заведений. – М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1956. – 350 с.
120. Жирмунский В.М. Об аналитических конструкциях // Аналитические конструкции в языках различных типов. – М.-Л.: Наука, 1965. – С. 5-57.
121. Жоль К.К. Язык как практическое сознание (философский анализ). – Киев: Выща школа, 1990. – 236 с.
122. Жоль К.К. Мысль. Слово. Метафора: Проблемы семантики в философском освещении / Отв. ред. В.А. Рыжко. – Киев: Наукова думка, 1984. – 303 с.
123. Залевская А.А. Когнитивизм, когнитивная психология, когнитивная наука и когнитивная лингвистика // Когнитивная лингвистика: современное состояние и перспективы развития. 1 часть: Материалы Первой международной школы-семинара по когнитивной лингвистике, 26 – 30 мая 1998 / Отв. ред. Н.Н. Болдырев. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 1998. – С. 6-9.
124. Звегинцев В.А. Глоссематика и лингвистика // Новое в лингвистике. – М., 1960 а. – Вып. 1. – С. 215-243.
125. Звегинцев В.А. Естественный язык с точки зрения логики и лингвистики // Язык. Наука. Философия. Логико-методологический и семиотический анализ / Отв. ред. и сост. Р.И. Павилёнис. – Вильнюс, 1986. – С.23-35.

126. Звегинцев В.А. Очерк по общему языкознанию. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1962. – 384 с.
127. Звегинцев В.А. Предложение и его отношение к языку и речи. – М.: Изд-во МГУ, 1976. – 308 с.
128. Звегинцев В.А. Теоретико-лингвистические предпосылки гипотезы Сепира-Уорфа // Новое в лингвистике. Вып. 1. – М., 1960 б. – С.111-134.
129. Зегет В. Элементарная логика / Пер. с нем. И.М. Морозовой; Под ред. и с предисл. Е.В. Кузиной. – М.: Высш. шк., 1985. – 256 с.
130. Зеленов Ю.С. Уровни переработки речевого сообщения при его смысловом восприятии // Текст, контекст, подтекст / Сост. и отв. ред. Ю.В. Ванников, Ю.А. Сорокин. – М.: Институт языкознания АН СССР, 1986. – С. 44-53.
131. Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. – М.: Институт русского языка РАН; МГУ, 1998. – 528 с.
132. Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса / Отв. ред. Ю.В. Рождественский. – М.: Наука, 1982. – 368 с.
133. Золотова Г.А. Синтаксический словарь: Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса / Отв. ред. Ю.Н. Караулов. – М.: Наука, 1988. – 440 с.
134. Зубкова Т.И. Психолингвистика // Прикладное языкознание: Учебник / Л.В. Бондарко, Л.А. Вербицкая, Г.Я. Мартыненко и др.; Отв. ред. А.С.Герд. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1996. – С. 245-267.
135. Ибраев Л.И. К проблеме генезиса знаков и их классификации // Философские науки. – 1984. – № 5. – С. 30-39.
136. Ибраев Л.И. Надзнаковость языка // Вопросы языкознания. – 1981. – № 1. – С. 17-35.
137. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика современного английского языка: Учебник для ин-тов и фак-тов ин. яз. – М.: Высш. шк., 1981. – 285 с.
138. Ильиш Б.А. Строй современного английского языка: Учебник по курсу теор. грамматики для студентов пед. ин-тов. – 2-е изд. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-ние. – 1971. – 366 с.

139. Иофик Л.Л., Чахоян Л.П., Поспелова А.Г. Хрестоматия по теоретической грамматике английского языка: 3-е изд., перераб.: Уч. пособие. – Л.: Просвещение, 1981. – 223 с.
140. Исаченко А.В. О грамматическом значении // Вопросы языкознания. – 1961. – № 1. – С. 28-43.
141. Исследование речевого мышления в психолингвистике / Отв. ред. Е.Ф. Тарасов. – М.: Наука, 1985. – 239 с.
142. Караулов Ю.Н. Активная грамматика и ассоциативно-вербальная сеть. – М.: ИРЯ РАН, 1999. – 180 с.
143. Карцевский С. Об асимметрическом дуализме лингвистического знака // Звегинцев В.А. История языкознания 19-20 веков в очерках и извлечениях. Ч.П. – 3-е изд., доп. – М.: Просвещение, 1965. – С. 85-90.
144. Касевич В.Б. Онтолингвистика, типология и языковые правила // Язык и речевая деятельность. – 1998. – Т.1. – С. 31-40.
145. Касевич В.Б. Семантика. Синтаксис. Морфология / Отв. ред. Ю.С. Маслов. – М.: Наука. Глав. ред. восточной лит., 1988. – 309 с.
146. Касевич В.Б. Язык и знание // Язык и структура знания / Отв. ред. Р.М. Фрумкина. – М., 1990. – С. 8-25.
147. Касевич В.Б. Языковые структуры и когнитивная деятельность // Язык и когнитивная деятельность / Отв. ред. Р.М. Фрумкина. – М., 1989. – С. 8-18.
148. Категории мышления и индивидуальное развитие / Отв. ред. К.А. Абишев. – Алма-Ата: Гылым, 1991. – 216 с.
149. Кацнельсон С.Д. Общее и типологическое языкознание / Отв. ред. А.В. Десницкая. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1986. – 297 с.
150. Кацнельсон С.Д. Порождающая грамматика и процесс синтаксической деривации // Progress in Linguistics. – The Hague – Paris: Mouton, 1970. – P. 102-113.
151. Кацнельсон С.Д. Речемыслительные процессы // Вопросы языкознания. – 1984. – № 4. – С. 3-12.
152. Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1972. – 216 с.
153. Келемен Я. Текст и значение // Семиотика и художественное творчество. – М.: Наука, 1977. – С. 104-124.
154. Кибрик А.А., Плунгян В.А. Функционализм // Фундаментальные направления современной американской лингвисти-

- ки: Сб. обзоров / Под ред. А.А. Кибрика, И.М.Кобозевой и И.А.Секериной. – М.: Изд-во Московского университета, 1997. – С.276-339.
155. Кибрик А.Е., Богданова Е.А. *СМ* как оператор коррекции ожиданий адресата // Вопросы языкознания. – 1995. – № 3. – С. 28-47.
  156. Кисловская Е.Н Когнитивные основы описания грамматического механизма английского языка // Когнитивная лингвистика: современное состояние и перспективы развития. 1 часть: Материалы Первой международной школы-семинара по когнитивной лингвистике, 26 – 30 мая 1998 / Отв. ред. Н.Н. Болдырев. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 1998. – С. 169-71.
  157. Кобозева И.М. Две ипостаси содержания речи: значение и смысл // Язык о языке: Сб. ст. / Под общ. рук. и ред. Н.Д. Арутюновой. – М.: Языки русской культуры, 2000. – С. 303-359.
  158. Кобрин Н.А. Механизмы речепорождения и восприятия текста в рамках когнитивной лингвистики (перспективы изучения) // Когнитивная лингвистика: современное состояние и перспективы развития. 1 часть: Материалы Первой международной школы-семинара по когнитивной лингвистике, 26–30 мая 1998 / Отв. ред. Н.Н. Болдырев. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 1998 а. – С. 11-13.
  159. Кобрин Н.А. О типологических чертах современного английского в сравнении с русским // Проблемы сопоставительной типологии родного /русского/ и иностранных языков. – Л., 1981. – С. 50-64.
  160. Кобрин Н.А. Плюрализм лингвистических концепций в семантике // Творческое наследие В.Г. Адмони и современная филология (межвузовский сборник научных трудов) / Отв. ред. Н.О. Гучинская. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 1998 б. – С. 100-107.
  161. Кобрин Н.А. Понятийные категории и их реализация в языке // Понятийные категории и их языковая реализация. – Л., 1989. – С. 40-50.
  162. Кобрин Н.А. Язык как когнитивно-креативная деятельность человека // Сб. ст. *Studia Linguistica* – 9. Когнитивно-прагматические и художественные функции языка / Отв. ред.

- В.М. Аринштейн, Н.А. Абиева, О.Е. Филимонова. – СПб.: Тригон, 2000. – С. 23-29.
163. Колесников А.А. О типах морфологической недостаточности слова в связи с вопросом о семантических формах мышления // Семантика грамматических форм. – Ростов-на-Дону, 1982. – С. 11-21.
  164. Колшанский Г.В. Логика и структура языка. – М.: Высш. шк., 1965. – 240 с.
  165. Колшанский Г.В. Соотношение субъективных и объективных факторов в языке. – М.: Наука, 1975. – 231 с.
  166. Комлев Н.Г. Компоненты содержательной структуры слова. – М.: Изд-во Московского университета, 1969. – 192 с.
  167. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Наука, 1976. – 720 с.
  168. Копров В.Ю., Земскова Л.П. Концепции предикативного и информативного минимума в синтаксисе простого предложения // Связи языковых единиц в системе и реализации. Когнитивный аспект. Вып. II: Межвуз. сб. науч. тр. / Отв. ред. Н.Н. Болдырев. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 1999. – С. 13-18.
  169. Корнеева Е.А., Кобрин Н.А., Гузеева К.А., Осовская М.И. Пособие по морфологии английского языка (с упражнениями): Учеб. пособие для ин-тов и фак-тов иностр.яз. – М.: Высш. шк., 1974. – 232 с.
  170. Костенко Н.В. Значение и смысл как категории когнитивной лингвистики (на материале английских и русских лексико-фразеологических единиц с общим значением “соединить”) // Когнитивная лингвистика: современное состояние и перспективы развития. 2 часть: Материалы Первой международной школы-семинара по когнитивной лингвистике, 26 – 30 мая 1998 / Отв. ред. Н.Н. Болдырев. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 1998. – С. 34-36.
  171. Костюшкина Г.М. Систематика сложноподчиненного предложения во французском языке / Науч. ред. Т.Г. Игнатьева. – Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1991 а. – 153 с.
  172. Костюшкина Г.М. Систематика сложноподчиненного предложения во французском языке: Автореф. дисс. ... д-ра филол. наук. – М., 1991 б. – 43 с.

173. Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление. Психологический очерк / Пер. с англ. П. Тульвисте; Под ред. и с предисл. А.Р. Лурия. – М.: Прогресс, 1977. – 261 с.
174. Кравченко А.В. Естественнонаучные аспекты семиозиса // Вопросы языкознания. – 2000. – № 1. – С. 3-8.
175. Кравченко А.В. Лингводидактический аспект когнитивного подхода к грамматике (на материале английского языка) // Когнитивная лингвистика: современное состояние и перспективы развития. 1 часть: Материалы Первой международной школы-семинара по когнитивной лингвистике, 26 – 30 мая 1998 / Отв. ред. Н.Н. Болдырев. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 1998. – С. 122-125.
176. Красиков Ю.В. Алгоритмы порождения речи. – Орджоникидзе: Ир, 1990. – 240 с.
177. Красных В.В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность? (Человек. Сознание. Коммуникация): Монография. – М.: Диалог-МГУ, 1998. – 352 с.
178. Куайн У.В.О. Слово и объект // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 18. Логический анализ естественного языка: Пер. с англ. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. В.В. Петрова. – М.: Прогресс, 1986. – С. 24-98.
179. Кубрякова Е.С. Номинативный аспект речевой деятельности / Отв. ред. Б.А. Серебренников. – М.: Наука, 1986. – 159 с.
180. Кубрякова Е.С. Память и её роль в исследовании речевой деятельности // Текст в коммуникации: Сб. науч. тр. / Отв. ред. А.А Романов, А.М. Шахнарович. – М.: Институт языкознания АН СССР, 1991. – С. 4-21.
181. Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века (опыт парадигмального анализа) // Язык и наука конца XX века / Под ред. Ю.С. Степанова. – М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 1995. – С. 144-238.
182. Кубрякова Е.С. Язык пространства и пространство языка (к постановке проблемы) // Известия РАН. Серия лит. и яз. – 1997. – Т. 56. – № 3. – С. 22-31.
183. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику / Пер. с англ. яз. под ред. и с предисл. В.А. Звегинцева. – М.: Прогресс, 1978. – 544 с.

184. Лакофф Дж. Когнитивное моделирование // Язык и интеллект / Сост. и вступ. ст. В.В. Петрова; Пер. с англ. и нем. под общ. ред. В.И. Герасимова и В.П. Нерознака. – М.: Издательская группа “Прогресс”, 1995. – С. 143-184.
185. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Язык и моделирование социального взаимодействия: Переводы / Сост. В.М. Сергеева, П.Б. Паршина; Общ. ред. В.В. Петрова. – М.: Прогресс, 1987. – С. 126-170.
186. Лакофф Дж. Мышление в зеркале классификаторов // Новое в зарубежной лингвистике: Когнитивные аспекты языка. Вып. 23 / Сост., ред. и вступ. ст. В.В. Петрова и В.И. Герасимова. – М., 1988. – С.12-15.
187. Лакофф Дж. Прагматика в естественной логике // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. Лингвистическая прагматика. Сборник: Пер. с разн. яз. / Сост. и вступ. ст. Н.Д. Арутюновой и Е.В. Падучевой; Общ. ред. Е.В. Падучевой. – М.: Прогресс, 1985. – С. 439-470.
188. Лаптева О.А. Экстралингвистика и смысл (синтаксические двусмысленности) // Язык: система и функционирование: Сб. науч. тр. / Отв. ред. Ю.Н. Караулов. – М., 1988. – С. 145-151.
189. Леонтьев А.А. Язык и разум человека. – М.: Политиздат, 1965. – 128 с.
190. ЛеПор Э В каких отношениях неудовлетворительна теоретико-модельная семантика? // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 18. Логический анализ естественного языка: Пер. с англ. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. В.В. Петрова. – М.: Прогресс, 1986. – С. 173-193.
191. Ли Ч.Н., Томпсон С.А. Подлежащее и топик: новая типология языков // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 11. Современные синтаксические теории в американской лингвистике: Переводы / Сост., общ. ред. и вступ. ст. А.Е. Кибрика. – М.: Прогресс, 1982. – С. 193-235.
192. Линский Л. Референция и референты // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 13 / Сост., ред., вступ. ст. Н.Д. Арутюновой. – М.: Радуга, 1982. – С. 161-178.
193. Ломтев Т.П. Предложение и его грамматические категории. – М.: Изд-во МГУ, 1972. – 199 с.

194. Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. Труды по языкознанию. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 480 с.
195. Лосев А.Ф. О пределах применимости математических методов в языкознании // Ленинизм и теоретические проблемы языкознания / Отв. ред. Ф.П. Филин. – М.: Наука, 1970. – С. 184-194.
196. Лупандин В.И., Сурнина О.Е. Субъективные шкалы пространства и времени. – Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1991. – 124 с.
197. Лурия А.Р. Язык и сознание / Под ред. Е.Д. Хомской. – М.: Изд-во МГУ, 1979. – 320 с.
198. Лэм С.М. Очерк стратификационной грамматики / Пер. с англ. Д.Г. Богусевича и В.А. Соркиной. – Минск: Высшая школа, 1977. – 136 с.
199. Мак-Коннел А. Дж. Введение в тензорный анализ. С приложениями к геометрии, механике и физике / Пер. с англ. под ред. Г.В. Коренева. – М.: Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1963. – 412 с.: ил.
200. Мартынов В.В. Категории языка: Семиологический аспект / Отв. ред. Ю.С. Степанов. – М.: Наука, 1982. – 192 с.
201. Маслиева О.В., Насилов Д.М. К соотношению объективной действительности, логики и языка // Логика и язык. – М.: Центр. совет филос. /методол./ семинаров при Президиуме АН СССР, 1985. – С. 96-101.
202. Мауро Т. де. Введение в семантику / Перевод с итал. Б.П. Нарумова. – М.: Дом интеллектуальной книги, 2000. – 240 с.
203. Мацуо Комацу. Многообразие геометрии / Пер. с япон. – М.: Знание, 1981. – 208 с.: ил.
204. Медведева И.Л. Что стоит за формулой “знать слово”? // Когнитивная лингвистика: современное состояние и перспективы развития. 2 часть: Материалы Первой международной школы-семинара по когнитивной лингвистике, 26 – 30 мая 1998 / Отв. ред. Н.Н. Болдырев. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 1998. – С. 23-25.
205. Мейзерский В.М. Структуры языкового сознания // Логико-гносеологические исследования категориальной структуры мышления. – Киев: Наукова думка, 1980. – С. 116-143.
206. Мельничук А.С. Философские корни глоссематики // Вопросы языкознания. – 1976. – № 6. – С. 19-32.

207. Мещанинов И.И. Новое учение о языке на современном этапе развития // Русский язык в школе. – 1948. – № 6. – С. 1-16.
208. Мещанинов И.И. Понятийные категории в языке // Тр. ВИИЯ. – М., 1945. – № 1. – С. 5-15.
209. Мещанинов И.И. Понятийные категории и грамматические понятия // Вестник Московского университета. – 1946. – № 1. – С. 7-24.
210. Мещанинов И.И. Соотношение логических и грамматических категорий // Язык и мышление. – М.: Наука, 1967. – С. 7-16.
211. Мещанинов И.И. Типологические сопоставления и типология систем // Филол. науки. – 1958. – № 3. – С. 3-13.
212. Мещанинов И.И. Члены предложения и части речи. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1978. – 387 с.
213. Милосердова Е.В. Смысл как интерпретация языкового знака в дискурсе // Связи языковых единиц в системе и реализации. Когнитивный аспект. Вып. II: Межвуз. сб. науч. тр. / Отв. ред. Н.Н. Болдырев. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 1999. – С. 160-164.
214. Михайлов В.А. Смысл и значение в системе речемыслительной деятельности / Науч. редактирование, заключит. ст. В.М. Павлова, Н.Л. Сухачева; Предисл. Я.А. Слинина. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1992. – 200 с.
215. Михеев А.В. Структура концептуальных классов и работы Э. Рош // Экспериментальные методы в психолингвистике / Отв. ред. Р.М. Фрумкина. – М., 1987. – С. 29-49.
216. Моисеева Н.И. Время в нас и время вне нас. – Л.: Лениздат, 1991. – 156 с.
217. Монтегю Р. Прагматика // Семантика модальных и интенциональных логик / Пер. с англ.; Сост., общ. ред. и вступ. ст. В.А. Смирнова. – М.: Прогресс, 1981 а. – С. 254-279.
218. Монтегю Р. Прагматика и интенциональная логика // Семантика модальных и интенциональных логик / Пер. с англ.; Сост., общ. ред. и вступ. ст. В.А. Смирнова. – М.: Прогресс, 1981 б. – С. 223-253.
219. Москальская О.И. Проблемы системного описания синтаксиса (на материале немецкого языка): Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1981. – 175 с.

220. Мостепаненко А.М. Пространство – время и физическое познание. – М.: Атомиздат, 1975. – 216 с.
221. Мостепаненко А.М. Пространство и время в макро-, мега- и микромире. – М.: Политиздат, 1974. – 240 с.
222. Мулуд Н. Анализ и смысл: Очерк семантических предпосылок логики и эпистемологии / Пер. с фр. Н.С. Автономовой и Ю.А.Муравьева; Общ. ред. и вступ. статья В.И. Метлова. – М.: Прогресс, 1979. – 348 с.
223. Найссер У. Познание и реальность: Смысл и принципы когнитивной психологии / Пер. с англ. В.В. Лучкова; Вступ. статья и общ. ред. Б.М. Величковского. – М.: Прогресс, 1981. – 230 с.
224. Ниинилуото И. Заметки о логике восприятия // Модальные и интенциональные логики и их применение к проблемам методологии науки / АН СССР, Ин-т философии; Отв. ред. В.А. Смирнов. – М.: Наука, 1984. - С. 329 - 340.
225. Никитин М.В. Курс лингвистической семантики: Учеб. пособие к курсам языкознания, лексикологии и теоретической грамматики. – СПб.: Научный центр проблем диалога, 1996. – 760 с.
226. Никитин М.В. Лексическое значение в слове и словосочетании: Автореф. дисс. ... д-ра филол. наук. – Л., 1974. – 44 с.
227. Никитин М.В. Лексическое значение слова (структура и комбинаторика): Учеб. пособие для студ. пед. ин-тов. – М.: Высш. шк., 1983. – 127 с.
228. Никитин М.В. Об отражении картины мира в языке // Сб. ст. *Studia Linguistica* – 8. Слово, предложение и текст как интерпретирующие системы / Отв. ред. В.М. Аринштейн, Н.А. Абиева. – СПб.: Тригон, 1999. – С. 6-14.
229. Никитин М.В. Основы лингвистической теории значения: Учеб. пособие. – М.: Высш. шк., 1988. – 168 с.
230. Никитин М.В. Предел семиотики // Вопросы языкознания. – 1997 а. – № 1. – С. 3-14.
231. Никитин М.В. Пресуппозиция в языке и языкознании // Сб. ст. *Studia Linguistica* – 4. Языковая система и социокультурный контекст / Отв. ред. В.М. Аринштейн, Н.А. Абиева. – СПб.: Тригон, 1997 б. – С. 6-26.

232. Никитина Е.С О понятии линейности речи // Лингвистические и психолингвистические структуры речи / Отв. ред. Р.М. Фрумкина. – М., 1985. – С. 158-173.
233. Новое в зарубежной лингвистике: Когнитивные аспекты языка. Вып. 23 / Сост., ред. и вступ. ст. В.В. Петрова и В.И. Герасимова. – М., 1988.– 314 с.
234. Обухов В.Е. Проблема анализа пространственно-временных моделей развивающегося объекта // Пространство и время в научной картине мира: Тезисы докл. / Отв. ред. В.Н. Финюгентов. – Уфа, 1991. – С. 24-27.
235. Общение. Текст. Высказывание / Отв. ред. Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов. – М.: Наука, 1989. – 175 с.
236. Остин Дж. Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория речевых актов / Общ. ред. Б.Ю. Городецкого. – М.: Прогресс, 1986. – С. 120-128.
237. Павилёнис Р.И. Проблема смысла: современный логико-философский анализ языка / Под ред. Д.П. Горского. – М.: Мысль, 1983. – 286 с.
238. Павилёнис Р.И. Язык, смысл, понимание // Язык. Наука. Философия. Логико-методологический и семиотический анализ / Отв. ред. и сост. Р.И. Павилёнис. – Вильнюс, 1986. – С. 240-263.
239. Падучева Е.В. Пространство в облиии времени и наоборот (К типологии метонимических переносов) // Логический анализ языка. Языки пространств / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова, И.Б. Левонтина. – М.: Языки русской культуры, 2000. – С. 239-254.
240. Панфилов В.З. Взаимоотношение языка и мышления. – М.: Наука, 1971. – 232 с.
241. Панфилов В.З. Гносеологические аспекты философских проблем языкознания / Отв. ред. Г.В. Степанов. – М.: Наука, 1982. – 357 с.
242. Панфилов В.З. Грамматика и логика: Грамматическое и логико-грамматическое членение простого предложения / Отв. ред. В.М. Жирмунский. – М.-Л.: Изд-во АН СССР. Ленингр. отд-ние, 1963.–79 с.
243. Панфилов В.З. К вопросу о соотношении языка и мышления // Мышление и язык. – М.: Госполитиздат, 1957. – С. 117-165.
244. Пауль Г. Принципы истории языка / Пер. с нем. под ред. А.А. Холодовича. – М.: Изд-во иностр. лит, 1960. – 500 с.

245. Переверзев К.А. Высказывание и ситуация: об онтологическом аспекте философии языка // Вопросы языкознания. – 1998. – № 5. – С. 24-52.
246. Переверзев К.А. Пространства, ситуации, события, миры: К проблеме лингвистической онтологии // Логический анализ языка. Языки пространств / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова, И.Б. Левонтина. – М.: Языки русской культуры, 2000. – С. 255-267.
247. Перцов Н.В. К проблеме инварианта грамматического значения. I. (Глагольное время в русском языке) // Вопросы языкознания. – 1998. – № 1. – С. 3-26.
248. Петерсен М.Н. Академик Ф.Ф. Фортунатов // Ф.Ф. Фортунатов. Избранные труды. Т. 1 / Отв. ред. М.Н. Петерсен. – М.: Госпедгиз, 1956. С. 5-16.
249. Петров В.В. От философии языка к философии сознания: Новые тенденции и их истоки // Философия. Логика. Язык. – М.: Прогресс, 1987. – С. 3-17.
250. Петров В.В., Переверзев В.Н. Обработка языка и логика предикатов / Отв. ред. В.В. Целищев. – Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та, 1993. – 158 с.
251. Петров В.В. Язык и искусственный интеллект: рубежи 90-х годов // Язык и интеллект / Сост. и вступ. ст. В.В. Петрова; Пер. с англ. и нем. под общ. ред. В.И. Герасимова и В.П. Нерознака. – М.: Издательская группа “Прогресс”, 1995. – С. 5-13.
252. Петрова С.Н. Когнитивная парадигма и семантика понимания // Мышление, когнитивные науки, искусственный интеллект / Отв. ред. В.В. Петров. – М.: Центр. совет филос. (методол.) семинаров при Президиуме АН СССР, 1988. – С. 119-130.
253. Пешковский А.М. Избранные труды / Подг. к печати, вступ. ст. и прим. И.А. Василенко, И.Р. Палей. – М.: Учпедгиз, 1959. – 252 с.
254. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении: Учеб. пособие. Изд. 6-е / Вступ. ст. С.И. Бернштейна. – М.: Учпедгиз, 1938. – 452 с.
255. Поляков И.В. Лингвистика и структурная семантика. – Новосибирск: Наука, 1987. – 190 с.
256. Попова М.И. Когнитивная основа пространственной модели временных отношений в современном английском языке: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Иркутск, 1997. – 16 с.

257. Пospelов Н.С. О двух рядах грамматических значений глагольных форм времени в современном русском языке // Вопросы языкознания. – 1966. – № 2. – С. 17-29.
258. Пospelов Н.С. О разграничении прямого и относительного употребления форм настоящего времени в русском языке // Проблемы современной филологии: Сб. статей к семидесятилетию акад. В.В. Виноградова / Гл. ред. М.Б. Храпченко. – М.: Наука, 1965. – С. 220-223.
259. Пospelов Н.С. О соотношении грамматических значений глагольных форм времени в русском языке // Проблемы современной лингвистики: Сб. работ лингвистов филологического факультета МГУ / Под ред. Ю.С. Степанова. – М.: Изд-во МГУ, 1968. – С. 111-137.
260. Потапова Р.К. Коннотативная паралингвистика: Монография. – М.: Триада, 1998. – 70 с.
261. Потeбня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. 1-2 / Общ. ред., предисл. и вступ. ст. В.И. Борковского. – М.: Учпедгиз, 1958. – 536 с.
262. Почепцов Г.Г. / мл. / Коммуникативные аспекты семантики: Монография. – Киев: Выща школа. Изд-во при Киевском гос. ун-те, 1987. – 132 с.
263. Почепцов Г.Г. Конструктивный анализ структуры предложения. – Киев: Выща школа, 1971. – 192 с.
264. Почепцов О.Г. Основы прагматического описания предложения. – Киев: Выща школа. Изд-во при Киевском гос. ун-те, 1986. – 116 с.
265. Пратусевич Ю.М. и др. Системный анализ процесса мышления / Под ред. К.В. Судакова. – М.: Медицина, 1989. – 336 с.
266. Пригожин И. От существительного к возникающему: Время и сложность в физических науках / Пер. с англ.; Под ред. Ю.Л. Климонтовича. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1985. – 328 с.
267. Пространство и время / Отв. ред. М.А. Парнюк. – Киев: Наукова думка, 1984. – 296 с.
268. Пространство и время в современной физике (к 50-летию создания общей теории относительности Альбертом Эйнштейном) / Отв. ред. А.З. Петров, П.С. Дышлевый. – Киев: Наукова думка, 1968. – 300 с.

269. Рассел Б. Описания // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 13 / Сост., ред., вступ. ст. Н.Д. Арутюновой. – М.: Радуга, 1982. – С. 41-54.
270. Рассел Б. Исследование значения и истины / Общ. науч. ред. и прим. А.А. Ледникова; Пер. с англ. Ледникова Е.Е., Никифорова А.Л. – М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999. – 400 с.
271. Рассел Б. Человеческое познание: Его сфера и границы / Общ. ред. и вступ. статья Э. Кольмана. – М.: Изд-во иностр. лит., 1957. – 555 с.
272. Расторгуева Т.А. История английского языка: Учебник. – М.: Высш. шк., 1983. – 347 с.
273. Рахилина Е.В. Основные идеи когнитивной семантики // Фундаментальные направления современной американской лингвистики / Под ред. А.А. Кибрика, И.М. Кобозевой и И.А. Секеиной. – М.: Изд-во МГУ, 1997. – С. 370-389.
274. Рахилина Е.В. О тенденциях в развитии когнитивной семантики // Известия РАН. Серия лит. и яз. – 2000. – Т. 59, № 3. – С. 3-15.
275. Рачков П.А. Мышление и язык. – М.: Изд-во Московского университета, 1960. – 40 с.
276. Ревзин И.И. Современная структурная лингвистика: Проблемы и методы / Отв. ред. Вяч. Вс. Иванов. – М.: Наука, 1977. – 264 с.
277. Резников Л.О. Понятие и слово / Отв. ред. С.Д. Кацнельсон. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1958. – 124 с.
278. Рейман Е.А. Английский артикль. Коммуникативная функция / Отв. ред. О.Н. Труевцева. – Л.: Наука, 1988. – 116 с.
279. Рейхенбах Г. Философия пространства и времени / Пер. с англ. Ю.Б. Молчанова; Общ. ред. А.А. Логунова; Послесл. А.А. Логунова и И.А. Акчурина. – М.: Прогресс, 1985. – 349 с.
280. Реферовская Е.А. Лингвистическая концепция Гюстава Гийома // Вопросы языкознания. – 1977. – № 3. – С. 113-123.
281. Реферовская Е.А. Роль языка в формировании понятия // Логика и язык. – М.: Центр. совет филос. /методол./ семинаров при Президиуме АН СССР, 1985. – С. 78-85.
282. Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / Отв. ред. Б.А. Серебренников. – М.: Наука, 1988. – 212 с.

283. Рубашкин В.Ш. Представление и анализ смысла в интеллектуальных информационных системах. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989. – 192 с.
284. Руденко Д.И. Имя в парадигмах философии языка. – Харьков: Основа, 1990. – 299 с.
285. Сабанеева М.К. Histoire. Epistemologie. Language // Вопросы языкознания. – 1998. – № 1. – С. 140-146.
286. Савченко А.Н. Части речи и категории мышления. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 1959. – 67 с.
287. Салькова Д.А. Синтаксические поля и семантическое моделирование (на базе значений немецких придаточных предложений). – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1983. – 128 с.
288. Свинцов В.Л. Логика: Учебник для фак-тов журналистики ун-тов. – М.: Высш. шк., 1987. – 286 с.
289. Сгалл П. Значение, содержание и прагматика // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. Лингвистическая прагматика. Сборник: Пер. с разн. яз. / Сост. и вступ. ст. Н.Д. Арутюновой и Е.В. Падучевой; Общ. ред. Е.В. Падучевой. – М.: Прогресс, 1985. – С. 384-398.
290. Семантика и категоризация / Отв. ред. Ю.А. Шрейдер. – М.: Наука, 1991. – 168 с.
291. Семантические типы предикатов / Отв. ред. О.Н. Селиверстова. – М.: Наука, 1982. – 365 с.
292. Сепир Э. Язык: Введение в изучение речи / Пер. с англ., прим. и вводная статья А.М. Сухотина. – М.–Л.: Соцэкгиз, 1934. – 223 с.
293. Серебренников Б.А. О материалистическом подходе к явлениям языка / Отв. ред. В.П. Нерознак. – М.: Наука, 1983. – 319 с.
294. Серебренников Б.А. Описание языков при помощи понятийных категорий // Принципы описания языков мира. – М., 1976. – С. 11-14.
295. Серебренников Б.А. Развитие человеческого мышления и структуры языка // Ленинизм и теоретические проблемы языкознания. – М.: Наука, 1970. – С. 320-348.
296. Серебренников Б.А. Роль человеческого фактора в языке: Язык и мышление / Отв. ред. В.М. Солнцев. – М.: Наука, 1988. – 244 с.
297. Сёрль Дж., Вандервекен Д. Основные понятия исчисления речевых актов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 18. Логи-

- ческий анализ естественного языка: Пер. с англ. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. В.В. Петрова. – М.: Прогресс, 1986. – С. 242-263.
298. Скребнев Ю.М. Введение в коллоквиалистику. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1985. – 208 с.
  299. Скрелина Л.М. Грамматическая синонимия: Учеб. пособие к спецкурсу / Науч. ред. Р.Г. Пиотровский. – Л.: ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1987. – 84 с.
  300. Скрелина Л.М. Об одном направлении во французской лингвистике: Школа Гийома // Филол. науки. – 1971. – № 2. – С. 60-75.
  301. Скрелина Л.М. О концептуальной схеме предложения // Проблемы синтаксиса простого предложения: Межвуз. сб. науч. тр. / Науч. ред. Л.М. Скрелина. – Л.: ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1980. – С. 61-71.
  302. Скрелина Л.М. Система языка и речевой деятельности: Методы исследования: Лекция / Отв. ред. Р.Г. Пиотровский. – Л.: ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1981. – 38 с.
  303. Слобин Д., Грин Дж. Психолингвистика / Под общ. ред. А.А. Леонтьева. – М.: Прогресс, 1976. – 350 с.
  304. Слюсарева Н.А. Проблемы функционального синтаксиса современного английского языка / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова. – М.: Наука, 1981. – 207 с.
  305. Слюсарева Н.А. Теория Ф. де Соссюра в свете современной лингвистики / Отв. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Наука, 1975. – 112 с.
  306. Смирницкий А.И. Морфология английского языка. – М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1959. – 440 с.
  307. Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка. – М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1957. – 286 с.
  308. Солнцев В.М. Язык как системно-структурное образование / Отв. ред. В.Н. Ярцева. – 2-е изд., доп. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1977. – 344 с.
  309. Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию / Пер. с фр. под ред. А.А. Холодовича. – М.: Прогресс, 1977. – 696 с.
  310. Сотникян П.А. Основные проблемы языка и мышления / Отв. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Наука, 1977. – 341 с.
  311. Старикова Е.Н. Имплицитная предикативность в современном английском языке. – Киев: Выща школа, 1974. – 143 с.
  312. Старикова Е.Н. Имплицитные аспекты предложения // Мышление, когнитивные науки, искусственный интеллект / Отв.

- ред. В.В. Петров. – М.: Центр. совет филос. (методол.) семинаров при Президиуме АН СССР, 1988. – С. 173-179.
313. Старикова Е.Н. Проблемы семантического синтаксиса (на материале английского языка). – Киев: Выща школа. Изд-во при Киевском гос. ун-те, 1985. – 124 с.
314. Степанов Г.В. Язык. Литература. Поэтика. – М.: Наука, 1988. – 382 с.
315. Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка: Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства / Отв. ред. В.П. Нерознак. – М.: Наука, 1985. – 336 с.
316. Степанов Ю.С. Изменчивый “образ языка” в конце XX века // Язык и наука конца XX века / Под ред. Ю.С. Степанова. – М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 1995. – С. 7-34.
317. Степанов Ю.С. Имена. Предикаты. Предложения (Семиологическая грамматика) / Отв. ред. Ю.Н. Караулов. – М.: Наука, 1981. – 360 с.
318. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. – М.: Наука, 1975. – 311 с.
319. Степанов Ю.С. Язык и Метод. К современной философии языка. – М.: Языки русской культуры, 1998. – 784 с.
320. Стернин И.А. Концепт и языковая семантика // Филология и культура. 1 часть: Тезисы II-й Международной конференции, 12 – 14 мая 1999 / Отв. ред. Н.Н. Болдырев. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 1999. – С. 19-21.
321. Стернин И.А., Быкова Г.В. Концепты и лакуны // Языковое сознание: формирование и функционирование. Сб. статей / Отв. ред. Н.В. Уфимцева. – М.: Институт языкознания РАН, 1998. – С. 55-67.
322. Столнейкер Р.С. Прагматика // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. Лингвистическая прагматика. Сборник: Пер. с разн. яз. / Сост. и вступ. ст. Н.Д. Арутюновой и Е.В. Падучевой; Общ. ред. Е.В. Падучевой. – М.: Прогресс, 1985. – С. 419-438.
323. Стросон П.Ф. Грамматика и философия // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 18. Логический анализ естественного языка: Пер. с англ. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. В.В. Петрова. – М.: Прогресс, 1986. – С. 160-172.

324. Структура и смысл (формальные методы анализа в современной науке) / Отв. ред. М.В. Попович. – Киев: Наук. думка, 1989. – 232 с.
325. Сулейменова Э.Д. Понятие смысла в современной лингвистике. – Алма-Ата: Мектеп, 1989. – 160 с.
326. Сусов И.П. Семантика и прагматика предложения: Учеб. пособие. – Калинин: Изд-во Калининского гос. ун-та, 1980. – 52 с.
327. Сыроваткин С.Н. Принципы и методы лингвистических исследований в свете семиотики: Учеб. пособие / Науч. ред. Р.Р. Гельгардт. – Калинин: Изд-во Калининского гос. ун-та, 1979. – 84 с.
328. Сыроваткин С.Н. Теория перевода в аспекте функциональной лингвосемиотики: Учеб. пособие / Науч. ред. Е.В. Розен. – Калинин: Изд-во Калининского гос. ун-та, 1978. – 84 с.
329. Тарасова И.П. Смысл предложения-высказывания и коммуникация: Автореф. дисс. ... д-ра филол. наук. – М., 1992. – 44 с.
330. Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура / Отв. ред. Т.В. Цивьян. – М.: Наука, 1983. – С. 227-284.
331. Трунова О.В. Природа и языковой статус категории модальности (на материале английского языка): Учеб. пособие. – Барнаул – Новосибирск: Барнаульский гос. пед. ин-т, 1991. – 130 с.
332. Труфанова И.В. Образ слушающего в языке // Филол. науки. – 1997. – № 2. – С. 98 – 104.
333. Тураева З.Я. Категория времени: Время грамматическое и время художественное /на материале английского языка/: Учеб. пособие для ин-тов и фак-тов иностр. яз. – М.: Высш. шк., 1979. – 219 с.
334. Ульдалль Х.И. Основы глоссематики // Новое в лингвистике. – М., 1960. – Вып. 1. – С. 390-436.
335. Уфимцева А.А. Семиологический принцип исследования лексики // Семантические категории языка и методы их изучения. 1 часть: Тезисы докл. всесоюзн. науч. конференции / Отв. ред. Л.М. Васильев. – Уфа, 1985. – С. 7-10.
336. Уорф Б.Л. Лингвистика и логика // Новое в лингвистике. – М., 1960 а. – Вып. 1. – С. 183-198.
337. Уорф Б.Л. Наука и языкознание // Новое в лингвистике. – М., 1960 б. – Вып. 1. – С. 169-182.

338. Уорф Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в лингвистике. – М., 1960 в. – Вып. 1. – С. 135-168.
339. Федотов Е.В. Проблема многообразия форм времени // Пространство и время в научной картине мира: Тезисы докл. / Отв. ред. В.Н. Финогентов. – Уфа, 1991. – С. 47-49.
340. Фесенко Т.А. Концептуальные системы в контексте проблем менталитета // Филология и культура. 3 часть: Материалы II-й Международной конференции, 12 – 14 мая 1999 / Отв. ред. Н.Н. Болдырев. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 1999. – С. 112-116.
341. Филлмор У. Дело о падеже // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 10. Лингвистическая семантика. – М.: Прогресс, 1981 а. – С. 369-495.
342. Филлмор У. Дело о падеже открывается вновь // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 10. Лингвистическая семантика. – М.: Прогресс, 1981 б. – С. 496-530.
343. Филлмор Ч. Основные проблемы лексической семантики // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 12. Прикладная лингвистика: Переводы / Сост. В.А. Звегинцева; Пер. с англ. под ред. и с предисл. Б.Ю. Городецкого. – М.: Радуга, 1983. – С. 74-122.
344. Филлмор Ч. Фреймы и семантика понимания // Новое в зарубежной лингвистике: Когнитивные аспекты языка. Вып. 23 / Сост., ред. и вступ. ст. В.В. Петрова и В.И. Герасимова. – М., 1988. – С. 52-92.
345. Философские основы зарубежных направлений в языкознании / Отв. ред. В.З. Панфилов. – М.: Наука, 1977. – 295 с.
346. Фортунатов Ф.Ф. Избранные труды. Т.1 / Отв. ред. М.Н. Петерсен. – М.: Госпедгиз, 1956.
347. Фреге Г. Смысл и денотат // Семиотика и информатика. Вып. 8. – М., 1977. – С. 181-210.
348. Фрумкина Р.М. Идеи и идеологемы в лингвистике // Язык и структура знания / Отв. ред. Р.М. Фрумкина. – М., 1990. – С. 177-190.
349. Фрумкина Р.М. “Теории среднего уровня” в современной лингвистике // Вопросы языкознания. – 1996. – № 2. – С. 55-67.
350. Фундаментальные направления современной американской лингвистики / Под ред. А.А. Кибрика, И.М. Кобозевой и И.А. Серкиной. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1997. – 455 с.

351. Хаймович Б.С., Роговская Б.И. Теоретическая грамматика английского языка (на англ. языке). – М.: Высш. шк., 1967. – 298 с.
352. Хауген Э. Направления в современном языкознании // Новое в лингвистике. М., 1960. – Вып. 1. – С. 244-263.
353. Хокинг С. От большого взрыва до черных дыр: Краткая история времени: Пер. с англ. / Под ред. и с послесл. Я.А. Смородицкого. – М.: Мир, 1990. – 168 с.
354. Холодович А.А. Проблемы грамматической теории / Отв. ред. В.С. Храковский. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1979. – 304 с.
355. Хомский Н. Синтаксические структуры // Новое в лингвистике / Сост. В.А. Звегинцев. – М.: Изд-во иностр. лит., 1962. – Вып. 2. – С. 412-527.
356. Хомский Н. Язык и мышление / Под общ. ред. В.А. Звегинцева. – М.: Изд-во МГУ, 1972. – 121 с.
357. Храковский В.С. Некоторые особенности функциональной грамматики и ее единиц // Семантические категории языка и методы их изучения. 1 часть: Тезисы докл. всесоюзн. науч. конференции / Отв. ред. Л.М. Васильев. – Уфа, 1985. – С. 91-92.
358. Хрестоматия по истории языкознания XIX-XX веков / Сост. В.А. Звегинцев. – М.: Учпедгиз, 1956. – 458 с.
359. Худяков А.А. В поисках семантики // Сб. ст. *Studia Linguistica* – 9. Когнитивно-прагматические и художественные функции языка / Отв. ред. В.М. Аринштейн, Н.А. Абиева, О.Е. Филимонова. – СПб.: Тригон, 2000 а. – С. 30-42.
360. Худяков А.А. Взаимодействие лексической и грамматической семантики в собирательных существительных // Лексическая, категориальная и функциональная семантика: Межвуз. сб. науч. тр. / Отв. ред. К.А. Гузеева. – Ленинград: ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1990 а. – С. 108-113.
361. Худяков А.А. Взаимодействие понятийного, системно-формального и функционально-прагматического факторов в речепорождении // Категориально-формальный и функционально-прагматический аспекты языка: Межвуз. сб. науч. тр. / Отв. ред. Л.М. Скредина, Н.А. Кобрина. – СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 1993 а. – С. 132-137.
362. Худяков А.А. Взаимоотношение понятийных и грамматических категорий // Ломоносовские чтения: Программа и тезисы научной конференции 12–17 ноября 1990 года / Отв. ред.

- И.М. Нетунаева. – Архангельск: АГПИ им. М.В. Ломоносова, 1990 б. – С. 89-91.
363. Худяков А.А. К вопросу о понятийной основе категории числа имени существительного // Понятийные категории и их языковая реализация: Межвуз. сб. науч. тр. / Отв. ред. Н.А. Кобрин, Л.В. Шишкова. – Ленинград: ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1989 а. – С. 119-125.
364. Худяков А.А. Категориальное устройство языка в свете природы языковых категорий // Общие проблемы строения и организации языковых категорий (Грамматические, словообразовательные, лексические и текстовые категории): Материалы науч. конф. 23-25 апреля 1998 года. – Москва: Ин-т языкознания РАН, 1998 а. – С. 153-154.
365. Худяков А.А. Концепт и значение // Языковая личность: культурные концепты: Сб. науч. тр. / Науч. ред. В.И. Карасик. – Волгоград – Архангельск: ВГПУ, ПМПУ, 1996 а. – С. 97-103.
366. Худяков А.А. Лингвистическая семантика в когнитивном аспекте // Герценовские чтения: Иностранные языки: материалы конференции (12 – 14 мая 1998 г.) / Отв. ред. Л.Б. Копчук. – СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 1998 б. – С. 122-123.
367. Худяков А.А. Ментальная деятельность человека и ментальные основы категорий языка: Методические рекомендации. – Архангельск: АГПИ им. М.В. Ломоносова, 1989 б. – 20 с.
368. Худяков А.А. Модели лингвистической категоризации // VI Ломоносовские чтения: Программа и тезисы научной конференции 16–19 ноября 1994 года / Отв. ред. В.И. Голдин. – Архангельск: ПМПУ им. М.В. Ломоносова, 1994. – С. 143-144.
369. Худяков А.А. Отношение категории числа существительного к понятийной категории количественности и количеству. – Л.: ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1989 в. – Деп. в ИНИОН АН СССР от 02.10.89 № 39612. – 10 с.
370. Худяков А.А. Полистатутность и полифункциональность как явления языка и речи // VIII Ломоносовские чтения: Тезисы докладов / Отв. ред. В.В. Ануфриев. – Архангельск: ПМПУ им. М.В. Ломоносова, 1996 б. – С. 80-81.
371. Худяков А.А. Понятийная категория количественности и ее реализация в имени существительном и номинативном словосочетании: Дисс. ... канд. филол. наук. – Л., 1990 в. – 171 с.

372. Худяков А.А. Понятийная сущность концептов и мыслительных референтов // Язык и время: Тезисы докладов международного симпозиума “Теория и методы преподавания романских языков” / Отв. ред. Л.М. Скредина. – Архангельск: ПГПУ им. М.В. Ломоносова, 1993 б. – С. 70-71.
373. Худяков А.А. Понятийность в методологическом аспекте // Проблемы теории и методики преподавания иностранных языков: Межвуз. сб. науч. тр. / Отв. ред. Т.Я. Кузнецова. – Архангельск: ПГУ им. М.В. Ломоносова, 1997 а. – С. 126-134.
374. Худяков А.А. Понятийные категории как объект лингвистического исследования // Аспекты лингвистических и методических исследований: Сб. науч. тр. / Отв. ред. Н.В. Чичерина, Т.А. Клепикова. – Архангельск: ПГУ им. М.В. Ломоносова, 1999. – С. 3-19.
375. Худяков А.А. Понятийный аспект типологического анализа // Язык и культура: материалы международной научной конференции 4–6 ноября 1996 года / Отв. ред. Э.Е. Курлянд. – Барнаул: Барнаульский гос. пед. университет, 1997 б. – С. 166-167.
376. Худяков А.А. Пропозиции и пропозициональные модели: когнитивный аспект // Семантика. Грамматика. Дискурс: Материалы Ломоносовских чтений 1997 г. / Отв. ред. С.В. Козлов. – Архангельск: ПГУ им. М.В. Ломоносова, 1998 в. – С. 33-35.
377. Худяков А.А. Роль понятийного субстрата в процессе порождения речи // V Ломоносовские чтения: Программа и тезисы научной конференции 17-20 ноября 1993 года / Отв. ред. В.П. Базаркина. – Архангельск: ПГПУ им. М.В. Ломоносова, 1993 в. – С. 104-105.
378. Худяков А.А. Роль фактора времени в семиозисе предложения // Res philologica: Уч. записки. Вып. 2 / Науч. ред. Э.Я. Фесенко. – Архангельск: ПГУ им. М.В. Ломоносова, 2000 б. – С. 7-12.
379. Худяков А.А. Семиозис речи и регистровые операторы // Языковая личность: жанровая речевая деятельность: Тезисы докладов научной конференции 6 – 8 октября 1998 года. / Отв. ред. В.И. Шаховский, В.И. Карасик. – Волгоград: ВГПУ, 1998 г. – С. 100-101.
380. Циммерлинг А.В. Американская лингвистика сегодняшнего дня глазами отечественных языковедов // Вопросы языкознания. – 2000. – № 2. – С. 118-133.

381. Чейф У. Данное, контрастивность, определенность, подлежащее, топики и точка зрения // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 11. Современные синтаксические теории в американской лингвистике: Переводы / Сост., общ. ред. и вступ. ст. А.В. Кибрика. – М.: Прогресс, 1982. – С. 277-316.
382. Чейф У.Л. Значение и структура языка / Пер. с англ. Г.С. Щура. – М.: Прогресс, 1975. – 432 с.
383. Чейф У.Л. Память и вербализация прошлого опыта // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 12. Прикладная лингвистика: Переводы / Сост. В.А. Звегинцева; Пер. с англ. под ред. и с предисл. Б.Ю. Городецкого. – М.: Радуга, 1983. – С. 35-73.
384. Человеческий фактор в языке: Язык и порождение речи / Отв. ред. Е.С. Кубрякова. – М.: Наука, 1991. – 240 с.
385. Ченки А. Семантика в когнитивной лингвистике // Фундаментальные направления современной американской лингвистики / Под ред. А.А. Кибрика, И.М. Кобозевой и И.А. Секериной. – М.: Изд-во МГУ, 1997. – С. 340-369.
386. Черч А. Введение в математическую логику / Под ред. и с предисл. В.А. Успенского. – М.: Изд-во иностр. лит., 1960. – 485 с.
387. Чесноков П.В. Основные единицы языка и мышления / Отв. ред. В.А. Магин. – Ростов-на-Дону: Ростовское книжное изд-во, 1966. – 287 с.
388. Чикурова М.Ф. Логико-семантические основы синтаксических построений (на материале английского языка): Учеб. пособие / Отв. ред. А.А. Мальченко. – Тула: ТГПИ им. Л.Н. Толстого, 1980. – 72 с.
389. Шабес В.Я. Событие и текст: Монография. – М.: Высш. шк., 1989. – 175с.
390. Шабес В.Я. Соотношение когнитивного и коммуникативного компонентов в речемыслительной деятельности. Событие и текст: Автореф. дисс. ... д-ра филол. наук. – СПб., 1990. – 32 с.
391. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка / Ред. и комментарии Е.С. Истриной. – Л.: Учпедгиз, 1941. – 620 с.
392. Шендельс Е.И. Связь языкознания с другими науками. – М.: Высш. шк., 1962. – 64 с.
393. Шендельс Е.И. Совместимость/несовместимость грамматических и лексических значений // Вопросы языкознания. – 1982. – № 4. – С. 78-82.

394. Шенк Р. Обработка концептуальной информации / Пер. с англ. Г.В. Сенина под ред. В.М. Брябрина. – М.: Энергия, 1980. – 361 с.
395. Шингарева Е.А. Семиотические основы лингвистической информатики: Учеб. пособие / Науч. ред. Р.Г. Пиотровский. – Л.: ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1987. – 83 с.
396. Шмелёва Т.В. Диалогичность модуса // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. – 1995. – № 5. – С. 147-156.
397. Щедровицкий Г.П. “Языковое мышление” и его анализ // Вопросы языкознания. – 1957. – № 1. – С. 56-68.
398. Юдакин А.П. Развитие структуры предложения в связи с развитием структуры мысли / Отв. ред. В.З. Панфилов. – М.: Наука, 1984. – 168с.
399. Язык и мышление / Отв. ред. Ф.П. Филин. – М.: Наука, 1967. – 312 с.
400. Язык и наука конца 20 века / Под ред. Ю.С. Степанова. – М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 1995. – 432 с.
401. Язык и структуры представления знаний: Сборник научно-аналитических обзоров / Отв. ред. Ф.М. Березин, Е.С. Кубрякова. – М., 1992. – 164 с.
402. Язык. Наука. Философия. Логико-методологический и семиотический анализ / Отв. ред. и сост. Р.И. Павилёнис. – Вильнюс, 1986. – 292 с.
403. Языковая номинация: Общие вопросы / Отв. ред. Б.А. Серебренников, А.А. Уфимцева. – М.: Наука, 1977. – 359 с.
404. Языковое сознание: Формирование и функционирование / Отв. ред. Н.В. Уфимцева. – М.: Институт языкознания РАН, 1998. – 255 с.
405. Ярцева В.Н. Взаимоотношение грамматики и лексики в системе языка // Исследования по общей теории грамматики. – М.: Наука, 1968. – С. 5-57.
406. Яхонтов С.Е. Понятийные категории, скрытые категории, таксономические категории // Типология. Грамматика. Семантика / Под ред. Н.А. Козинцевой, А.К. Оглоблина. – СПб.: Наука, 1998. – С. 131-141.
407. Advances in role and reference grammar / Ed.R.D. Van Valin, Jr. – Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1993. – 202 pp.

408. Anderson J.R. *The Architecture of Cognition*. – Cambridge (Mass.); London: Harvard University Press, 1983. – XI, 345 pp.
409. Antal L. *Content, Meaning, and Understanding*. – The Hague: Mouton & Co., 1964. – 63 pp.
410. Austin J.L. *How to do things with words*. The William James lectures delivered at Harvard University in 1955. – Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1962. – X, 166 pp.
411. Bain A. *A Higher English Grammar: New edition, revised and enlarged*. – New York; Bombay: Longmans, Green, and Co., 1904. – XXIII, 358 pp.
412. Bach E. *Categorial Grammars as Theories of Language // Categorical Grammars and Natural Language Structures / Eds. R.T. Oehrle et al.* – Dordrecht, etc.: D. Reidel Publishing Company, 1988. – P. 17-34.
413. Bierwisch M. *Semantic Structure and Illocutionary Force // Speech Act Theory and Pragmatics / Eds. J.R. Searle et al.* – Dordrecht, etc.: D. Reidel Publishing Company, 1980. – P. 1-35.
414. Boden M.A. *Agents & Creativity // Cognitive Technology. In search of a Humane Interface / Eds. B. Gorayska, J.L. Mey.* – Amsterdam, etc.: Elsevier, 1996. – P. 119-127.
415. Bolinger D. *Degree Words*. – The Hague – Paris: Mouton, 1972. – 324 pp.
416. Boom H. van der et al. *Mental Operations // Language Invariants and Mental Operations: International Interdisciplinary Conference held at Gummersbach/Cologne, Germany, September 18-23, 1983 / Eds. H. Seiler, G. Brettschneider.* – Tübingen: Günter Narr Verlag, 1985. – P. 59-62.
417. Brazil D. *A Grammar of Speech*. – Oxford: Oxford University Press, 1995. – XVI, 264 pp.
418. Campbell J. *Conceptual Structure // Meaning and Interpretation / Ed. C. Travis.* – New York: Basil Blackwell, 1986. – P. 159-174.
419. Canale M. *From Communicative competence to communicative language pedagogy // Language and Communication / Eds. J.C. Richards, R.W. Schmidt.* – London; New York: Longman, 1983. – P. 2-27.
420. Candlin C.N. *Preface // Language and Communication / Eds. J.C. Richards, R.W. Schmidt.* – London; New York: Longman, 1983. – P. 7-10.

421. Carey S. On the origin of causal understanding // *Causal Cognition: A Multidisciplinary Debate* / Eds. D. Sperber, D. Premack, A.J. Premack. – Oxford: Clarendon Press, 1995. – P. 268-302.
422. Carlson G.N., Tanenhaus M.K. Introduction // *Linguistic Structure in Language Processing* / Eds. G.N. Carlson, M.K. Tanenhaus. – Dordrecht, etc.: Kluwer Academic Publishers, 1989. – P. 1-26.
423. Chafe W. Cognitive Constraints on Information Flow // *Coherence and Grounding in Discourse* / Ed. R.S. Tomlin. – Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1987. – VIII, P. 21-51.
424. Chomsky N. Knowledge of Language: Its Nature, Origin, and Use. – New York, etc.: Praeger, 1986. – XXIX, 307 pp.
425. Chomsky N. Mental Constructions and Social Reality // *Knowledge and Language. Vol. 1. From Orwell's Problem to Plato's Problem* / Eds. E. Reuland, W. Abraham. – Dordrecht, etc.: Kluwer Academic Publishers, 1993. – P. 29-58.
426. *Cognitive Models of Speech Processing. Psycholinguistic and Computational Perspectives* / Ed. G.T.M. Altmann. – Cambridge (Mass.); London: The MIT Press, 1990. – X, 540 pp.
427. Cooper W.E., Paccia-Cooper J. *Syntax and Speech*. – Cambridge (Mass.); London: Harvard University Press, 1980. – IX, 275 pp.
428. Cresswell M.J. *Semantical Essays: Possible Worlds and Their Rivals*. – Dordrecht, etc.: Kluwer Academic Publishers, 1988. – VIII, 212 pp.
429. Cresswell M.J. *Semantic Indexicality*. – Dordrecht, etc.: Kluwer Academic Publishers, 1996. – IX, 220 pp.
430. Croft W. *Syntactic Categories and Grammatical Relations: The Cognitive Organization of Information*. – Chicago; London: The University of Chicago Press, 1991. – XII, 331 pp.
431. Curme G.O. *English Grammar*. – New York: Barnes & Noble, 1966. – 308 pp.
432. Curtiss S. Abnormal language acquisition and the modularity of language // *Linguistics: The Cambridge Survey. Vol. 2. Linguistic Theory: Extensions and Implications* / Ed. F.J. Newmeyer. – Cambridge, etc.: Cambridge University Press, 1988. – P. 96-116.
433. Cutler A. Beyond parsing and lexical look up: an enriched description of auditory sentence comprehension // *New approaches to Language Mechanisms: A Collection of Psycholinguistic Studies* / Eds.

- R.J. Wales, E. Walker. – Amsterdam, etc.: North-Holland Publishing Company, 1976. – P. 133-149.
434. Daneš F. One Instance of Prague School Methodology: Functional Analysis of Utterance and Text // *Method and Theory in Linguistics* / Ed. P.L. Garvin. – The Hague – Paris: Mouton, 1970. – P. 132-146.
435. Daneš F. On Prague School Functionalism in Linguistics // *Functionalism in Linguistics* / Eds. R. Dirven, V. Fried. – Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1987. – P. 3-38.
436. Davise K. M.A.K. Halliday's Functional Grammar and the Prague School // *Functionalism in Linguistics* / Eds. R. Dirven, V. Fried. – Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1987. – P. 39-79.
437. Davis M. Tacit knowledge, and the structure of thought and language // *Meaning and Interpretation* / Ed. C. Travis. – New York: Basil Blackwell, 1986. – P. 127-158.
438. DeLancey S. Transitivity in Grammar and Cognition // *Coherence and Grounding in Discourse* / Ed. R.S. Tomlin. – Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1987. – VIII, P. 54-68.
439. Dijk T.A.van. Text and Context. Explorations in the semantics and pragmatics of discourse. – London; New York: Longman, 1977. – XVII, 261 pp.
440. Dik S.C. Auxiliary and Copula BE in a Functional Grammar of English // *Linguistic Categories: Auxiliaries and Related Puzzles. Vol. Two: The Scope, Order, and Distribution of English Auxiliary Verbs* / Eds. F. Heny, B. Richards. – Dordrecht, etc.: D. Reidel Publishing Company, 1983. – P. 121-143.
441. Dik S.C. Some Principles of Functional Grammar // *Functionalism in Linguistics* / Eds. R. Dirven, V. Fried. – Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1987. – P. 81-100.
442. Dixon R.M.W. A New Approach to English Grammar, on Semantic Principles. – Oxford: Clarendon Press, 1991. – XVI, 398 pp.
443. Dixon P. Actions and Procedural Directions // *Coherence and Grounding in Discourse* / Ed. R.S. Tomlin. – Amster-

- dam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1987. – VIII, P. 69-89.
444. Ehrlich M.-F. Text Comprehension and Memory for Inferences // Cognition and Memory / Eds. F. Klix, J. Hoffmann. – Amsterdam, etc.: North-Holland Publishing Company, 1980. – P. 186-195.
445. Fauconnier G. Domains and connections // Cognitive Linguistics. – 1990. – Vol. 1-1. – P. 151-174.
446. Fauconnier G. Roles and connecting paths // Meaning and Interpretation / Ed. C. Travis. – New York: Basil Blackwell, 1986. – P. 19-44.
447. Finegan E. Subjectivity and subjectivisation: an introduction // Subjectivity and subjectivisation. Linguistic perspectives / Eds. D. Stein, S. Wright. – Cambridge: Cambridge University Press, 1995. – P. 1-15.
448. Firth J.R. A Synopsis of Linguistic Theory, 1930-1955 // Studies in Linguistic Analysis. – Oxford: Basil Blackwell, 1957. – P. 1-32.
449. Foley W.A. The conceptual basis of grammatical relations // The Role of Theory in Language Description / Ed. by W.A. Foley. – Berlin, New York, 1993. – P. 131-174.
450. Foley W.A., Van Valin, Jr.R.D. Information packaging in the clause // Language typology and syntactic description. Vol. 1. Clause structure / Ed. T. Shopen. – Cambridge: Cambridge University Press, 1986. – P. 282-364.
451. Fraisse P. The Adaptation of the Child to Time // The Developmental Psychology of Time / Ed. W.J. Friedman. – New York, etc.: Academic Press, 1982. – XII, P. 113-140.
452. Fraser B. The domain of pragmatics // Language and Communication / Eds. J.C. Richards, R.W. Schmidt. – London; New York: Longman, 1983. – P. 29-59.
453. Frederiksen C.H. Structure in Discourse Production and Comprehension // Cognitive Processes in Comprehension / Eds. M.A. Just, P.A. Carpenter. – Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1977. – P. 313-322.
454. Fries C.C. The structure of English: An Introduction to the Construction of English Sentences. – London, Harlow: Longmans, Green and Co. Ltd, 1952. – 304 pp.
455. Garner R. “Presupposition” in Philosophy and Linguistics // Studies in Linguistic Semantics / Eds. C.J. Fillmore, D.T. Lan-

- gendoen. – New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1971. – VIII, P. 23-42.
456. Garrett M.F. Syntactic Processes in Sentence Production // *New Approaches to Language Mechanisms: A Collection of Psycholinguistic Studies* / Eds. R.J. Wales, E. Walker. – Amsterdam, etc.: North-Holland Publishing Company, 1976. – P. 231-256.
457. Geeraerts D. Editorial statement // *Cognitive Linguistics*. – 1990. – Vol. 1-1. – P. 1-3.
458. Givon T. Prototypes: Between Plato and Wittgenstein // *Noun Classes and Categorization* / Ed. C. Craig. – Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1986. – P. 77 – 102.
459. Gumperz J.J. *Discourse Strategies*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1982. – XII, 225 pp.
460. Guillaume G. *Foundations for a Science of Language*. – Amsterdam/Philadelphia.: John Benjamins Publishing Company, 1984. – 178 pp.
461. Haiman J. Sarcasm as theater // *Cognitive Linguistics*. – 1990. – № 1-2. - P. 181-205.
462. Halliday M.A.K. *An Introduction to Functional Grammar*. – Baltimore: Edward Arnold, 1985. – XXXV, 387 pp.
463. Halliday M.A.K. Categories of the Theory of Grammar // *Word. Journal of the Linguistic Circle of New York*. – 1961. – Vol. 17. – № 3. – P. 241-292.
464. Halliday M.A.K. *Explorations in the Functions of Language*. – London: Edward Arnold, 1974. – 143 pp.
465. Halliday M.A.K. Language as social semiotic. The social interpretation of language and meaning. – London: Edward Arnold, 1978. – 256 pp.
466. Halliday M.A.K. *Some Aspects of Systematic Description in Grammatical Analysis* // *Studies in Linguistic Analysis*. – Oxford: Basil Blackwell, 1957. – P. 54-67.
467. Halliday M.A.K. *System and Function in Language*. – London: Oxford University Press, 1976. – 250pp.
468. Hamp E.P. *American Schools of Linguistics (Other Than Generative-Transformational)* // *Linguistics Today* / Ed.A.A. Hill. – New York; London: Basic Books, Inc., Publishers, 1969. – P. 239-249.

469. Harder P. *Functional Semantics: A Theory of Meaning, Structure and Tense in English*. – Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1996. – XV, 586 pp.
470. Harner L. *Talking about the Past and the Future // The Developmental Psychology of Time / Ed. W.J. Friedman*. – New York, etc.: Academic Press, 1982. – XII, 286 pp.
471. Hawkins J.A. *Definiteness and Indefiniteness. A Study in Reference and Grammaticality Prediction*. – London: Croom Helm; Atlantic Highlands, New Jersey: Humanities Press, 1978. – 316 pp.
472. Herrmann T. and Grabowski J. *Pre-Terminal Levels of Process in Oral and Written Language Production // Aspects of oral communication / Ed. by Uta M. Quasthoff*. – Berlin; New York: de Gruyter, 1995 (Research in text theory; Vol. 21) VI, 493 pp.
473. Hewson J. *Article and Noun in English*. – The Hague – Paris: Mouton, 1972. – 137 pp.
474. Hilton D.J. *Logic and language in causal explanation // Causal Cognition: A Multidisciplinary Debate / Eds. D. Sperber, D. Premack*. – Oxford: Clarendon Press, 1995. – P. 495-525.
475. Hirtle W.H. *The Science of Language and Gustave Guillaume // Etudes Anglaises*. – 1965. – № 2. – P. 139-144.
476. Hirtle W.H. *Time, Aspect and the Verb*. – Quebec: Les Presses de l'Université Laval, 1975. – 149 pp.
477. Hopper P.J., Thompson S.A. *The discourse basis for lexical categories in universal grammar // Language*. – 1984. – Vol. 60. – P. 703-752.
478. Hopper P.J., Thompson S.A. *The Use of Prototypes in the Study of Language Universals // Language Invariants and Mental Operations: International Interdisciplinary Conference held at Gummersbach/Cologne, Germany, September 18-23, 1983 / Eds. H. Seiler, G. Brettschneider*. – Tübingen: Günter Narr Verlag, 1985. – P. 238-251.
479. Huang C.-T.J., May R. *Introduction // Logical Structure and Linguistic Structure: Cross-Linguistic Perspectives / Eds. Huang C.-T.J., May R*. – Dordrecht, etc.: Kluwer Academic Publishers, 1992. –P. VII-XXVIII.
480. Hudson R. *Word Grammar*. – Oxford: Basil Blackwell, 1984. – VI, 267 pp.

481. Jackendoff R. Grammar as Evidence for Conceptual Structure // Linguistic Theory and Psychological Reality / Eds. M. Halle, J. Bresnan, G.A. Miller. – Cambridge (Mass.); London, 1978. – P. 201-228.
482. Jackendoff R. Patterns in the mind: Language and human nature. – New York: BasicBooks, A Division of HarperCollins Publishers, Inc., 1994. – XI, 246 pp.
483. Jackendoff R. Towards a Cognitively Viable Semantics // Georgetown University Roundtable on Languages and Linguistics 1976. Semantics: Theory and Application. Cl. Rameh (ed.). – Georgetown University Press. Washington D.C.. – 1976. – P. 59-80.
484. Jackendoff R. X-Bar Semantics // Semantics and the Lexicon / Ed. J. Pustejovsky. – Dordrecht, etc.: Kluwer Academic Publishers, 1993. – P. 15-26.
485. Jakobson R. Shifters, Verbal Categories and the Russian Verb. – Russian Language Project. – Department of Slavic Languages and Literatures, Harvard University, 1957. – 10 pp.
486. Janda L.A. A Geography of Case Semantics. The Czech Dative and the Russian Instrumental. – Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1993. – XIII, 225 pp.
487. Jespersen O. Essentials of English Grammar. – London: G. Allen & Unwin Ltd., 1933. – 387 pp.
488. Jespersen O. The Philosophy of Grammar. – London: George Allen & Unwin, Ltd.; New York: Henry Holt and Company, 1925. – 360 pp.
489. Johnson-Laird P.N. Mental Models: Towards a Cognitive Science of Language, Inference, and Consciousness/ Ed. E. Warner. – Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1983. – XIII, 513 pp.
490. Johnson-Laird P.N. The Computer and the Mind. An Introduction to Cognitive Science. – Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1988. – 444 pp.
491. Joia A. de, Stenton A. Terms in Systemic Linguistics. A Guide to Halliday. – London: Batsford Academic and Educational Ltd., 1980. – XVIII, 158 pp.
492. Just M.A., Carpenter P.A. Preface // Cognitive Processes in Comprehension / Eds. M.A. Just, P.A. Carpenter. – Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1977. – P. 9-11.
493. Katz A.N. On Interpreting Statements as Metaphor or Irony: Contextual Heuristics and Cognitive Consequences // Metaphor: Im-

- plications and Applications / Eds. J.S. Mio, A.N. Katz. – Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1996. – P. 1-22.
494. Kemmer S. Emphatic and reflexive -self: expectations, viewpoint, and subjectivity // Subjectivity and subjectivisation. Linguistic perspectives / Eds. D. Stein, S. Wright. – Cambridge: Cambridge University Press, 1995. – P. 55-82.
495. Kempson R. Ambiguity and the semantics-pragmatics distinction // Meaning and Interpretation / Ed. C. Travis. – New York: Basil Blackwell, 1986. – P. 77-103.
496. Kempson R. Grammar and conversational principles // Linguistics: The Cambridge Survey. Vol. 2. Linguistic Theory: Extensions and Implications / Ed. F.J. Newmeyer. – Cambridge, etc.: Cambridge University Press, 1988. – P. 139-163.
497. Kintch W. Learning, memory and conceptual processes / Ed. G Mandler. – New York, etc.: John Wiley & Sons, Inc., 1970. – XII, 498 pp.
498. Kirchner G. Gradadverbien. Restriktiva und Verwandtes im heutigen Englisch (britisch und amerikanisch). – Halle (Saale): VEB Max Niemeyer Verlag, 1955. – 126 S.
499. Klix F. On Structure and Function of Semantic Memory // Cognition and Memory / Eds. F. Klix, J. Hoffman. – Amsterdam, etc.: North-Holland Publishing Company, 1980. – P. 11-25.
500. Knowledge and Language. Vol. 3. Metaphor and Knowledge / Eds. F.R. Ankersmit, J.J.A. Mooij. – Dordrecht, etc.: Kluwer Academic Publishers, 1993. – X, 213 pp.
501. Kosslyn S M. Imagery and Internal Representation // Cognition and Categorization / Eds. E. Rosch, B.B. Lloyd. – Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1978. – P. 217-257.
502. Kreuz R.J. The Use of Verbal Irony: Cues and Constraints // Metaphor: Implications and Applications / Eds. J.S. Mio, A.N. Katz. – Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1996. – P. 23-38.
503. Kruisinga E. A Handbook of Present-Day English. Pt. 2. English Accidence and Syntax. Vol. 3: 5-th ed. – Groningen: P. Noordhoff, 1932. – XIV, 550 pp.
504. Laidel E., Schweiger A. On Lexical Semantic Organization in the Brain // Language Invariants and Mental Operations. International

- Interdisciplinary Conference held at Gummersbach/Cologne, Germany September 18-23, 1983 / Eds. H. Seiler, G. Brettschneider. – Tübingen: Günter Narr Verlag, 1985. – P. 181-199.
505. Lakoff G. Classifiers as a Reflection of Mind // Noun Classes and Categorization / Ed. C. Craig. – Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1986. – P. 13 – 15.
  506. Lakoff G. The Syntax of Metaphorical Semantic Roles // Semantics and the Lexicon / Ed. J. Pustejovsky. – Dordrecht, etc.: Kluwer Academic Publishers, 1993. – P. 27-36.
  507. Lakoff G. Irregularity in Syntax. – New York, etc.: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1970. – XVI, 207 pp.
  508. Lakoff G. Metaphor, Folk Theories, and the Possibilities of Dialogue // Dialogue. An Interdisciplinary Approach / Eds. M. Dascal, H. Cuyckens. – Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1985. – P. 57-72.
  509. Lakoff G. The Invariance Hypothesis: is abstract reasoning based on image schemas? // Cognitive Linguistics. – 1990. – Vol. 1-2. – P. 39-74.
  510. Langacker R. W. An Overview of Cognitive Grammar // Topics in Cognitive Linguistics / Ed. B. Rudzka-Ostyn. – Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1988 a. – P. 3-48.
  511. Langacker R.W. A Usage-Based Model // Topics in Cognitive Linguistics / Ed. B. Rudzka-Ostyn. – Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1988 b. – P. 127-161.
  512. Langacker R.W. A View of Linguistic Semantics // Topics in Cognitive Linguistics / Ed. B. Rudzka-Ostyn. – Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1988 c. – P. 49-90.
  513. Langacker R.W. Concept, Image, and Symbol: The Cognitive Basis of Grammar. – Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 1990 a. – X, 395 pp.
  514. Langacker R.W. Subjectification // Cognitive Linguistics. – 1990 b. – Vol. 1-1. – P. 5-38.
  515. Langacker R.W. Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 1. Theoretical Prerequisites. – Stanford: Stanford University Press, 1987. – 516 pp.

516. Langendoen D.T. *The Study of Syntax: The Generative-Transformational Approach to the Structure of American English*. – New York, etc.: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1969. – VII, 174 pp.
517. *Language and Communication* / Eds. J.C. Richards, R.W. Schmidt. – London; New York: Longman, 1983. – XII, 276 pp.
518. Leech G. N. *Principles of Pragmatics*. – London and New York: Longman, 1983. – XII, 250 pp.
519. Leech G. *Semantics*. – Aylesbury, Bucks: Hazell Watson & Viney Ltd, 1974. – 386 p.
520. Leech G.N. *Towards a Semantic Description of English*. – Bloomington & London: Indiana University Press, 1970. – XIII, 277 pp.
521. Levelt W.J.M. *Lexical Access in Speech Production // Knowledge and Language. Vol. I. From Orwell's Problem to Plato's Problem* / Eds. E. Reuland, W. Abraham. – Dordrecht, etc.: Kluwer Academic Publishers, 1993. – P. 241-251.
522. Levin I. *The Nature and Development of Time Concepts in Children: The Effects of Interfering Cues // The Developmental Psychology of Time* / Ed. W.J. Friedman. – New York, etc.: Academic Press, 1982. – XII, P. 47-85.
523. Liefvink F. *Semantico-Syntax*. – London: Longman Group Ltd., 1973. – X, 178 pp.
524. Limber J. *Syntax and Sentence. Interpretation // New Approaches to Language Mechanisms: A Collection of Psycholinguistic Studies* / Eds. R.J. Wales, E. Walker. – Amsterdam, etc.: North-Holland Publishing Company, 1976. – P. 151-181.
525. Linenbarger M.C. *Neuropsychological Evidence for Linguistic Modularity // Linguistic Structure in Language Processing* / Eds. G.N. Carlson, M.K. Tanenhaus. – Dordrecht, etc.: Kluwer Academic Publishers, 1989. – P. 197-238.
526. Lockwood D.G. *Introduction to Stratificational Linguistics*. – New York, etc.: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1972. – IX, 365 pp.
527. Longacre R.E. *Hierarchy in Language // Method and Theory in Linguistics* / Ed. P.L. Garvin. – The Hague – Paris: Mouton, 1970. – P. 173-195.
528. Luelsdorff P.A. *Introduction // The Prague School of Structural and Functional Linguistics: A Short Introduction* / Ed. P.A. Luelsdorff. – Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1994. – P. 1-12.

529. Lyons J. *Introduction to Theoretical Linguistics*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1968. – 519 pp.
530. Lyons J. *Language, Meaning, and Context*. – Bungay, Suffolk: Fontana Paperbacks, 1981. – 256 pp.
531. McKellar G.B. *The Language of Neurolinguistics: Principles and Perspectives in the Application of Linguistic Theory to the Neuropsychology of Language // Learning, Keeping and Using Language: selected papers from the 8th world congress of applied linguistics, Sydney, 16-21 August 1987 / Eds. M.A.K. Halliday, J. Gibbons, H. Nicholas*. – Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1990. – P. 331-351.
532. Meggle G. *To Hell with Speech Act Theory // Dialogue. An Interdisciplinary Approach / Eds. M. Dascal, H. Cuyckens*. – Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1985. – P. 205-211.
533. Miller G.A., Johnson-Laird P.N. *Language and Perception*. – Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, 1976. – 760 pp.
534. Miller J. *Semantics and Syntax. Parallels and Connections*. – Cambridge, etc.: Cambridge University Press, 1985. – VII, 262 pp.
535. Mišeska-Tomić O. *The Depth of Deep Structure // Language and Discourse: Test and Protest: A Festschrift for Petr Sgall / Ed. J. Mey*. – Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1986. – P. 75-93.
536. Mortensen C. *Mental Images: Should Cognitive Science Learn from Neurophysiology // Computers, Brains and Minds. Essays in Cognitive Science / Eds. P. Slezak, W.R. Albury*. – Dordrecht, etc.: Kluwer Academic Publishers, 1989. – P. 123-136.
537. Motsch W. *Situational Context and Illocutionary Force // Speech Act Theory and Pragmatics / Eds. J.R. Searle et al.* – Dordrecht, etc.: D. Reidel Publishing Company, 1980. – P. 155-168.
538. Nakamura W. *A cognitive approach to English adverbs // Linguistics*. – 1997. – Vol. 35. – P. 247-287.
539. Neisser U. I. *A Sense of Where You Are: Functions of the Spatial Module // Cognitive Processes and Spatial Orientation in Animal and Man. Vol. II. Neurophysiology and Developmental Aspects / Eds. P. Ellen, C. Thinus-Blanc*. – Dordrecht, etc.: Martinus Nijhoff Publishers, 1987. – P. 293-310.

540. Nesfield J.C. English Grammar: Past and Present. – London: Macmillan and Co., 1944. – 470 pp.
541. Newmeyer F.J. Extension and implications of linguistic theory: an overview // *Linguistics: The Cambridge Survey*. Vol. 2. *Linguistic Theory: Extensions and Implications* / Ed. F.J. Newmeyer. – Cambridge, etc.: Cambridge University Press, 1988. – P. 1-14.
542. Nilsson L.G., Shaps L.P. A Functional View of Memory // *Cognition and Memory* / Eds. F. Klix, J. Hoffmann. – Amsterdam, etc.: North-Holland Publishing Company, 1980. – P. 40-46.
543. Olson D.R., Bialystok E. Spatial cognition: the mental representations of objects and forms // *Knowledge and representation* / Ed. B. De Gelder. – London: Routledge & Kegan Paul, 1982. – P. 121-138.
544. Olson D.R. Introduction // *The Social Foundations of Language and Thought. Essays in Honor of Jerome S. Bruner*. – New York; London: W.W. Norton & Company, 1980. – P. 1-15.
545. Onions C T. An Advanced English Syntax. Based on the Principles and Requirements of the Grammatical Society. – London: Routledge and Kegan Paul, 1965. – VIII, 166 pp.
546. Palmer F. Grammar. – Aylesbury, Bucks: Hazell Watson & Viney Ltd, 1973. – 200 pp.
547. Penfield W., Roberts L. Speech and Brain Mechanisms. – Princeton, New Jersey: Princeton University Press; London: Oxford University Press, 1959. – XIII, 286 pp.
548. *The Philosophy of Language* / Ed. by J.R. Searle. – Glasgow, etc.: Oxford University Press, 1971. – 149 pp.
549. Pinker S. Language Learnability and Language Development. – Cambridge (Mass.); London: Harvard University Press, 1984. – XI, 435 pp.
550. Posner M.I. Empirical Studies of Prototypes // *Noun Classes and Categorization* / Ed. C. Craig. – Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1986. – P. 53 – 61.
551. Postal P.M. The Method of Universal Grammar // *Method and Theory in Linguistics* / Ed. P.L. Garvin. – The Hague – Paris: Mouton, 1970. – P. 113-131.
552. Poutsma H. A Grammar of Late Modern English. Pt. 1. The Sentence. First half: The Elements of the Sentence: 2-nd ed. – Groningen: P. Noordhoff, 1928. – XI, 540 pp.

553. Poutsma H. A Grammar of Late Modern English. Pt. 1. The Sentence. Second Half: The Composite Sentence: 2-nd ed. – Groningen: P. Noordhoff, 1929. – P. 541-1057.
554. Rapin I. Developmental Disabilities: Mental Deficiency, Autism, and Dysphasia // Cognitive Disorders. Pathophysiology and Treatment / Eds. L.J. Thal, W.H. Moos, E.R. Gamzu. – New York, etc.: Marcel Dekker, Inc., 1992. – P. 3-29.
555. Reuland E. Reflections on Knowledge and Language // Knowledge and Language. Vol. 1. From Orwell's Problem to Plato's Problem / Eds. E. Reuland, W. Abraham. – Dordrecht, etc.: Kluwer Academic Publishers, 1993. – P. 11-27.
556. Robins R.H. General Linguistics. An Introductory Survey. – London: Longman, 1976. – XX, 398 pp.
557. Roeper T. The "Least Effort" Principle in Child Grammar: Choosing a Marked Parameter // Knowledge and Language. Vol. 1. From Orwell's Problem to Plato's Problem / Eds. E. Reuland, W. Abraham. – Dordrecht, etc.: Kluwer Academic Publishers, 1993. – P. 71-104.
558. Rosch E. Principles of Categorization // Cognition and Categorization / Eds. E. Rosch, B.B. Lloyd. – Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 1978. – P. 27-48.
559. Sadock J.M. Speech act distinctions in grammar // Linguistics: The Cambridge Survey. Vol. 2. Linguistic Theory: Extensions and Implications / Ed. F.J. Newmeyer. – Cambridge, etc.: Cambridge University Press, 1988. – P. 183-197.
560. Schiffrin D. Discourse markers. – Cambridge, etc.: Cambridge University Press, 1987. – X, 364 pp.
561. Searle J.R. Intentionality: An essay in the philosophy of mind. – Cambridge, etc.: Cambridge University Press, 1983. – X, 278 pp.
562. Searle J.R. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. – Cambridge: At the University Press, 1970. – 203 pp.
563. Searle J.R., Kiefer F., Bierwisch M. Introduction // Speech Act Theory and Pragmatics / Eds. J.R. Searle, F. Kiefer, M. Bierwisch. – Dordrecht, etc.: D. Reidel Publishing Company, 1980. – P. I-XII.
564. Sgall P., Hajičová E., Panevová J. The Meaning of the Sentence in Its Semantic and Pragmatic aspects / Ed. J.L. Mey. – Dordrecht, etc.: D. Reidel Publishing Company, 1986. – IX, 353 pp.

565. Smith E.E., Medin D.L. *Categories and Concepts*. – Cambridge (Mass.); London: Harvard University Press, 1981. – VIII, 203 pp.
566. Smyth M.M., Morris P.E., Levy P., Ellis A.W. *Cognition in Action*. – London; Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1987. – XIII, 346 pp.
567. *Subjectivity and subjectivisation. Linguistic Perspectives* / Eds. D. Stein, S. Wright. – Cambridge: Cambridge University Press, 1995. – VIII, 230 pp.
568. Sunden K.F. *The Predicational Categories in English*. – Uppsala: A.-B. Akademiska Bokhandeln, 1918. – 542 pp.
569. Sweet H. *A New English Grammar, Logical and Historical*. Pt. 1: *Introduction, Phonology, and Accidence*. – Oxford: At the Clarendon Press, 1955. – XXIV, 500 pp.
570. Sweet H. *A New English Grammar, Logical and Historical*. Pt. 2: *Syntax*. – Oxford: At the Clarendon Press, 1958. – IX, 136 pp.
571. Talmy L. *The Relation of Grammar to Cognition // Topics in Cognitive Linguistics* / Ed. B. Rudzka-Ostyn. – Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1988. – P. 165-205.
572. Talmy L. *Lexicalization patterns: semantic structure in lexical forms // Language typology and syntactic description*. Vol. 3: *Grammatical categories and the lexicon* / Ed. T. Shopen. – Cambridge, etc.: Cambridge University Press, 1987. – P. 57-149.
573. Taylor T.J., Cameron D. *Analysing Conversation. Rules and Units in the Structure of Talk*. – Oxford, etc.: Pergamon Press, 1987. – VIII, 169 pp.
574. Tenny C.L. *Aspectual Roles and the Syntax-Semantics Interface*. – Dordrecht, etc.: Kluwer Academic Publishers, 1994. – X, 246 pp.
575. Tesnière L. *Elements de Syntaxe Structurale* / Preface J. Fourquet. – Paris: Libraire C. Klincksieck, 1959. – XXVI, 672 pp.
576. Traugott E.C. *Subjectification in grammaticalisation // Subjectivity and subjectivisation. Linguistic perspectives* / Eds. D. Stein, S. Wright. – Cambridge: Cambridge University Press, 1995. – P. 31-45.
577. Ungerer F., Schmid H.-J. *An Introduction to Cognitive Linguistics*. – London; New York: Longman, 1997. – 297 pp.
578. Vanderveken D. *What Is an Illocutionary Force? // Dialogue. An Interdisciplinary Approach* / Eds. M. Dascal, H. Cuyckens. – Am-

- sterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1985. – P. 181-204.
579. Wagman M. Cognitive Psychology and Artificial Intelligence. Theory and Research in Cognitive Science. – Westport, Connecticut; London: Praeger, 1993. – XIV, 177 pp.
580. West A.S. The Elements of English Grammar with a Chapter on Essay Writing. – Cambridge: At the University Press, 1910. – IX, 336 pp.
581. Wierzbicka A. Semantics. Primes and Universals. – Oxford; New York: Oxford University Press, 1996. – XII, 500 pp.
582. Winograd T. A Framework for Understanding Discourse // Cognitive Processes in Comprehension / Eds. M.A. Just, R.A. Carpenter. – Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1977. – P. 63-88.
583. Winograd T. Language as a Cognitive Process. Vol. 1: Syntax. – Reading (Mass.): Addison-Wesley Publishing Company, 1983. – XIV, 640 pp.
584. Winograd T. Understanding Natural Language. – New York, London: Academic Press, 1972. – VII, 191 pp.
585. Wittgenstein L. Philosophical investigations. – Oxford, 1953. – 332 pp.
586. Wunderlich D. Methodological Remarks on Speech Act Theory // Speech Act Theory and Pragmatics / Eds. J.R. Searle et al. – Dordrecht, etc.: D. Reidel Publishing Company, 1980. – P. 291-312
587. Ydewalle G. d'. Knowledge Acquisition and Knowledge Representation // Cognitive Modelling and Interactive Environments in Language Learning / Eds. F.L. Engel et al. – Berlin, etc.: Springer Verlag, 1992. – P. 3-8.

## СПИСОК СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. Второе, испр. и доп., изд-е / Отв. ред. Д.П. Горский. – М.: Наука, 1976. – 720 с.
2. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов / Под общ. ред. Е.С. Кубряковой. – М., 1976. – 245 с.
3. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – 685 с.: ил.

4. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Изд-е десятое, стереотип. / Под. ред. Н.Ю. Шведовой. – М.: Советская энциклопедия, 1973. – 847 с.
5. Hornby A.S. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. Fourth Impression. – Oxford: Oxford University Press, 1988. – XLI, 1041 pp.
6. Random House Webster's College Dictionary. – New York: Random House, 1991. – XXXI, 1567 pp.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	3
ГЛАВА 1	
Предложение как объект лингвистической теории .....	6
1.1. Теория предложения в английских грамматиках доструктурного периода (XVI-XX вв.) .....	6
1.2. Теория предложения в русской грамматической традиции доструктурного периода (XVIII-XIX вв.) .....	11
1.3. Теория предложения в структурной лингвистике .....	16
1.4. Теория предложения в трансформационно- порождающей грамматике .....	21
1.5. Теория предложения в отечественном языкознании во второй трети XX века .....	28
1.6. Теория предложения в тагмемике и лингвистической концепции М.А.К.Хэллидея .....	29
1.7. Теория предложения в семантическом синтаксисе .....	32
1.8. Резюме .....	36
ГЛАВА 2	
Семиозис предложения в языке (первичный семиозис).....	40
2.1. Исходный терминологический инструментарий .....	40
2.1.1. Ментализм и антиментализм .....	40
2.1.2. Ментальный субстрат. Модулярность .....	43
2.1.3. Понятие и концепт .....	52
2.1.4. Понятие и значение .....	57
2.1.5. Понятийные категории .....	64
2.2. Семиозис .....	77
2.2.1. Общие положения .....	77
2.2.2. Время и пространство в семиозисе предложения .....	90
2.2.2.1. Топология времени и пространства .....	91
2.2.2.2. Время и пространство: лингвистический аспект .....	94
2.2.3. Алгоритм ментальных операций .....	101

2.2.4. Онтология предзнака .....	105
2.2.4.1. Онтология протодесигната: ментальная модель .....	107
2.2.4.2. Онтология протодесигнатора: пропозициональная матрица .....	122
2.2.5. Онтология знака .....	127
2.2.5.1. Синтактика сентенционального знака ....	128
2.2.5.2. Семантика сентенционального знака .....	130
2.2.5.2.1. Семантика как объект логики .....	131
2.2.5.2.2. Семантика как объект лингвистики ....	145
2.2.5.3. Семантика предложения .....	151

### ГЛАВА 3

Семиозис речевого высказывания .....	154
3.1. Теория смысла .....	154
3.1.1. Смысл в логике .....	154
3.1.2. Смысл в психологии .....	158
3.1.3. Смысл в лингвистике .....	159
3.2. Лингвистическая прагматика и теория смысла .....	178
3.3. Речевой акт и речевой смысл .....	189
3.4. Механизмы экспликации узуальных смыслов. Смыслопорождающие операторы в английском языке .....	194
3.4.1. Лексические операторы .....	205
3.4.2. Морфологические операторы .....	208
3.4.3. Синтагматические операторы .....	209
3.4.4. Артиклевые операторы .....	210
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	215
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .....	221
СПИСОК СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .....	272
ОГЛАВЛЕНИЕ .....	273

Научное издание

Худяков Андрей Александрович

СЕМИОЗИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Монография

Зав. издательским центром В.М. Личутина

Редактор Л.Н. Рогова

Оригинал-макет выполнила Т.А. Клепикова

---

Изд.лиц. № 020050 от 23.12.96. Сдано в набор 01.11.2000.

Подписано в печать 23.11.2000. Формат 60x84 1/16.

Усл. печ. л. 15,81. Уч.-изд. л.15,0.

Тираж 500 экз. Заказ № 1592.

---

Издательский центр ПГУ. 163006, Архангельск, пр. Ломоносова, 6

---

Отпечатано с оригинал-макета в ОГУП

"Соломбальская типография". 163012, Архангельск,

ул. Добролюбова, 1, тел. 29-44-92

Лицензия ЛР 060823 от 25.07.97.